

■ УБИЙСТВО ИЗ ДОБРЫХ ПОБУЖДЕНИЙ

(Марк Гиршин — стр. 3)

■ ИЗМЕНА МЕНАХЕМА БЕГИНА

(Израэль Эльдад — стр. 114)

■ ЕСТЬ ЛИ У ИЗРАИЛЯ БУДУЩЕЕ?

(Ювал Неeman — стр. 125)

■ ПО ТЕЛЬ-АВИВУ — ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ!

(Дора Штурман — стр. 136)

■ УРОК МАРКСИЗМА ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА

(Ричард Пайнс — стр. 151)

16
22

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

16

ТЕЛЬ-АВИВ
ДЕКАБРЬ 1980

**ИЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА
"МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ЕВРЕЯМИ СССР**

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	секретарь редакции
А. Воронель	М. Бар-Ор
Н. Воронель	корректор
Э. Кузнецов	Н. Островская
Ю. Меклер	технический редактор
Р. Нудельман (гл. ред.)	Н. Рубина
Н. Рубинштейн	Оформление номера
Я. Цигельман	В. Богуславский
И. Чаплина	

Адрес редакции: ул. Снапир, 11, кв. 25, Тель-Авив
Тел. (03) – 394525
Корреспонденцию направлять по адресу: "22",
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Представители журнала за рубежом:

- Англия:** 1. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 IEW, England.
Франция, Швейцария: D. Fradkin, 23 rue Dancet 1205, Geneve, Suisse.
ФРГ: L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.
США: L. Khotin, 51 Lincoln Ave., Daly City, Ca. 94015, USA.
Y. Levin, U. of Texas at Austin, Dept. of Slavic Languages, Box 7217, Austin, Texas, 78712, USA.
J. Tuvim, c/o Waters Associates Inc., Maple str., Milford, Mass. 01757, USA.
Y. Kitaevich, 1297, Meadowbright Lane, Cincinnati, Ohio, 45230, USA.
A. Englin, 66-10 Thornton Place, apt. 6E Rego Park, N. Y. 11374, USA.

Отвергнутые рукописи не возвращаются

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- М. ГИРШИН. Секретарюк против главинжа (роман, окончание;
 послесловие Н. Воронель) 4
И. НЕМИРОВСКАЯ. В бандеровском селе 75

ПОЭЗИЯ

- А. ВОЛОХОНСКИЙ. Ручной лев (поэма) 99

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- И. ЭЛЬДАД. Так кто же наследники Жаботинского? 114

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- Ю. НЕЕМАН. Можем ли мы возродить Израиль? 125
Д. ШТУРМАН. И мы, и они? 136

У КАРТЫ МИРА

- Р. ПАЙПС. Советская глобальная стратегия 153

ПОЛЕМИКА

- В. БОГУСЛАВСКИЙ. В защиту Куняева 166
Ш. МАРКИШ. Еще раз о ненависти к самому себе 177
А. СУКОНИК. На рассвете 192

РУССКИЙ ВОПРОС

- М. МОЛОДЦОВ. Рифмованные мысли и житейские комментарии. . . 203

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- Н. ВОРОНЕЛЬ. "Когда умирает эпоха..." 212

ЛЮДИ И КНИГИ

- И. МАЛЕР. Коротко о книгах. 218
М. ЮРЬЕВ. Альманах "Часть речи" – морфология и синтаксис 221

Первым, кого я увидел в коридоре, был Секретарюк, мой друг. Не могу понять, почему его физиономия прежде всего бросилась мне в глаза, если он стоял в глубине передней, а первой подоспела к двери хлопотливая моя хозяйка, и к тому же из Ириной комнаты выбежали на мой звонок сразу несколько дам и приветствовали мое появление дружными выражениями восторга? Чутье меня никогда не подводило: оказанный мне восторженный прием был Секретарюку неприятен, и он скривился, как среда на пятницу, и ушел к себе, должно быть, спать. Черт его знает, как человек проводит время в Москве. Хоть бы музей какой-нибудь посетил! На семинар и к Татьяне Степановне, а от Татьяны Степановны снова на семинар. Если б я его не прихватил с собой в первую прогулку по городу, он бы и на улице Горького не побывал. Дома он тоже как получил свою двухкомнатную квартиру, так и киснет в ней со своей Кланечкой. Я никогда их на улице не встречал. Ну да ладно, только бы мне заботы, чтоб переживать за Секретарюка! Хотел я смертельно принять ванну, потом покушать не мешало бы, старушка, несомненно, сообразила что-нибудь на ужин, а я по дороге в дежурном гастрономе сто граммов балычка прихва-

Марк Гиршин

**СЕКРЕТАРЮК
ПРОТИВ
ГЛАВИНЖА**

*(роман,
журнальный вариант;
окончание,
начало в № 15)*

тил, но дамы подняли страшный хай, требуя немедленно к себе. Если б не Татьяна Степановна, (которой, подозреваю, хотелось поскорей накормить меня да завалиться храпака на своей раскладушке), мне бы пришлось безоговорочно капитулировать. Но у меня ж не Татьяна Степановна, а ядерный щит: "Вы хоть раз в жизни мужчину покормили?.. Да вы сами себе ленитесь сготовить. Жрете по кулинаркам, а потом животами страдаете!" Ой, мама. Я получил удовольствие. Дамы бросились в свою обитель, прокричав, что ждут меня, а я блаженненько так попарился и даже, кажется, задремал в ванне, и вот, думаю, кабы ждала меня с ужином не хозяйка, а Серафима, и принесла бы сухое полотенце, а то так парно здесь, что приготовленное Татьяной Степановной отсырело, и в новой квартире моей с Серафимой будут в прихожей цыновки лежать, чтоб можно было из ванны, скажем, босиком пройти к столу. И так, правду сказать, разморило меня, что даже не заметил, какими яствами меня ублажала старушка, и тихонько-тихонько, не дай Бог дамы услышат, пробрался к себе и уснул не хуже Секретарюка, который, кстати, совсем не спал и что-то даже сказал мне, но я его понимал не лучше, чем если бы он говорил по-еврейски, хотя у меня есть двое друзей-еврейчиков, и когда я бываю у них дома, а там имеются бабушки, то им очень нравится говорить со мной по-своему. Так вот, всякие "зайгезинд", и "фиш", и "фисалых" — это я хорошо понимаю.

Назавтра после семинара я посмотрел документальный фильм о Третьем рейхе. А чтоб уж совсем приятно провести время (я люблю такие фильмы), взял с собой в пакетике пожевать чего-то сладкого. У меня был бы такой вопрос к истории: каким образом эти немцы и немки, в общем-то, как я теперь вижу, самые обыкновенные люди, сумели внушить к себе такой интерес? Предвоенную моду я узнавал, и отцовскую кепку, и мачехино платье с квадратным декольте, и ее же прическу, короткую, оставляющую открытыми уши, а сверху берет. И вдруг из всех этих одежд, лиц, домов, мельтешащих кадров начинает вырисовываться край стола, яркое большой летнее окно, кто-то заслоняет свет из окна, отец или мачеха, я слышу шум с улицы, и мне хочется туда... Это был кусочек какого-то дня. И вот я вижу этот день в кино: какой-то немецкий мальчик бежит, виляя среди прохожих, по довоенной немецкой улице. И как бы Юрась ни критиковал на своем продавленном диване, наши, захватившие в Берлине трофейную

киноленту, заставили этого немчика бегать передо мной, а я могу в это время сидеть в удобном кресле и один за другим брать в рот из пакетика. А захочу, чтоб он еще попрыгал, куплю второй билет за десять копеек. И будет он прыгать передо мной столько раз, сколько мне не лень будет брать в кассе десятикопеечные билеты. Так я и сделал, взял новый билет и опять в зал. Ауфвидерзеен, майн альтер бекантестер, распрощался я наконец с пацаном, в столовой закусил и домой. Открываю дверь к Ирине, а там полно. Добрый вечер, девушки! Вынули карты, я послал Ирину за сладким, тут звонит телефон: Аве Мария. "Приезжайте!" — "Ой, это вы?.. Нет, сегодня я не приеду. Поздно". — "Я провожу". — "Нет, очень поздно, спасибо". — "Мы, кажется, с вами о чем-то договаривались", — это я ей. "Вы думаете, я помню? Подскажите, пожалуйста, о чем?" "Есть хороший анекдот, про консервную банку, — говорю я ей, — знаете?.." Я ей этот анекдот, то да се. "Ну, хорошо, я приеду, завтра суббота, отосплюсь. Но я не одна, ничего?"

И вдруг я догадываюсь, почему с таким жгучим интересом смотрю на довоенную немецкую уличную толпу, на этих прохожих мужчин и даже детей, они, как известно, убивали много и жестоко, пусть потом, после того как их засняли на эту пленку, но мне казалось, что, если бы я даже не знал дальнейшего, глядя на них, я мог бы его предположить. От этих людей, узких улиц их городов несло на меня с экрана духом убийства, заставлявшим смотреть на них с особым уважительным чувством, несмотря на то, что мы в конце концов заставили их попробовать нашего кулака. Во мне не было того, что может мужчине внушить это чувство, вызвать в нем смутное ощущение опасности, исходящей от меня, несмотря на мою внушительную фигуру.

Аве Мария привезла какого-то юриста и студента. Студент был уже совсем пьян, адвокат еще вполне держался. И еще раз я подумал: я везучий, ведь на консультацию могло бы меня занести и к нему. С тем большим расположением я отнесся к юристу, а когда испытал своим плечом прикосновение протеза, твердого, как полено, с удовольствием спел для него под аккомпанемент Ирининою инструмента, откуда на меня неслись тучи пыли, пару песенок и, конечно, про Марусю. Все были в восторге, никто из женщин, знавших меня не первый день, не говоря уже о юристе, не догадывался, что я и это умею. (В скобках скажу, что на следующее утро Татьяна Степановна со слезами на глазах благодарила меня, оказалось, она тоже из наших мест, и мои песни, ко-

нечно, могли ей что-то напомнить. “Мне сюда на раскладушку все было хорошо слышно”.) С юристом мы обменялись телефонами и стали на “ты”, хотя и выяснилось, что в одном вопросе, о положении на Ближнем Востоке, мы мыслили не одинаково. “В конце концов, — сказал юрист, — и те семиты, и эти семиты. Почему я кого-то из них должен любить больше?” Ирина кричала, что ей пришлют из Парижа портрет израильского генерала. Должен сказать, что, несмотря на довольно веселое состояние, спорил я люто. И может быть, хотя это и смешно немножко, но при ближайшей встрече с дамами я планировал снова затронуть этот вопрос. Что-то тут меня задевало.

Возвращаюсь к вечеру, поскольку на нем было кое-что еще, заслуживающее внимание. Шкаф — это само собой. Я расположился на тахте, как раз напротив него, и мне отлично был виден покрытый пылью пол под шкафом, со всякой гадостью вроде ключев волос, занесенных туда сквозняком. Я внимательно разглядывал этот пол и, должен признаться, с каким-то нерядовым чувством. Но я не обнаружил и следа пребывания под шкафом в недавнем прошлом какого-нибудь предмета, при этом надо учитывать, что предмет не просто должен был класться под шкаф, а как бы зашвыриваться и, следовательно, в этом последнем случае, непременно оставить за собой след на полу, покрытом пылью. Но следа никакого не было. А пыль, и эти клочки волос, с какими-то прицепившимися к ним бумажками, и даже остриженные ногти я видел еще в тот первый вечер у Ирины, то есть до, подчеркиваю, приезда Сашки. И вот — никакого признака или следа побывавшего здесь предмета. Можно призадуматься?.. И тем не менее в глубине души, как говорится, а я специально к себе прислушивался, что-то меня в себе занимало, в глубине души я не испытывал никакого сомнения в благополучном исходе задуманного, там было (как бы это выразиться?) разлито что-то светлое, белое, неторопливое, ощущаемое физически, ну с чем бы сравнить? Если вы смотрите в море, вниз, и нет волн, и вода освещена солнцем на всю глубину, тогда эта светлая вода во мне плескалась, немножко даже теплая. Это чувство меня не подводит. Могу рассказать такой случай, и я его буду связывать только с еще одним ощущением, и тоже, такое совпадение, вызванным контактом с водой. Когда я с семьей жил еще у отца с мачехой на старой квартире (там еще были стеклянные двери, помните, я рассказывал?), то я всегда ходил мыться в соседнюю баню, делал

это днем и не в субботу, конечно, народу никого, становлюсь под душ, вода плещет по кафелю, всюду солнечные зайчики, и так я стою, стою и легонько, легонько решаю все проблемы, и все у меня в голове так ясно, как в двухсветном банном зале, залитом солнцем и плеском воды из моего душа, и где-то в другом конце зала с одной-двумя фигурками посетителей. Выхожу оттуда как будто моложе вдвое, настроение, знаю, что все у меня будет хорошо. Так я себе устраивал банный день среди недели. И после переезда на новую квартиру я иногда хожу в эту баню (правда, теперь мне до нее стало далеко. Зато по дороге заскочу к старикам), мои думают, что я люблю париться. А я хожу совсем за другим: чтоб постоять в пустом зале, чтоб была уйма солнца и все для меня, стучал о пол душ и моя перспектива меня бы радовала. В моей ванной комнате с электрическим освещением я этой перспективы не вижу.

Так вот, там, где находится душа, у меня было светленько, как будто я стоял под душем, несмотря на отсутствие под шкафом каких-либо следов интересующего меня, и это всего за день-два до осуществления задуманного дела. Ну нет, так нет, там посмотрим. А если вообще быть там ничего не может, потому что Сашка ничего туда не кладет, только один раз, да и то в прошлом году, такая фантазия, в виде исключения, пришла ему в голову, что тогда? Тогда мне лучше в "Сельэлектро" не возвращаться, а почему — об этом надо у Секретарюка спросить, кому ж лучше знать, как не ему, он ведь как бы первоисточник всех ожидающих меня осложнений. Выхожу в коридор, открываю дверь в нашу келью, все так трезво, абсолютно здраво, и к Секретарюку: "Ты что, спишь?.. Может, присоединишься?"—"Неохота".—"Вспомнил я, как мы новоселье у тебя отмечали, ты тогда был веселый и меня любил. Припоминаешь?.." (Его хлебом не корми, а напхни какой-то факт.) "Конечно" — вздохнул мой друг. "Тогда укладывай чемодан и ищи себе другое место: Спроси Татьяну Степановну, она знает, где сдается угол".—"А почему?"—"Ну, а сколько ж можно? Я тебя забрал из коридора гостиницы на одну ночь, так?.. Собирай чемодан!" Я слегка поддел ногой чемодан, стоявший тут же, у стенки, и он, такой легкий, полетел прямо на постель Секретарюка, тот едва его успел схватить, не то мой друг и коллега мигом превратился бы в потерпевшего. Знаете, почему я ушел? Потому что Секретарюк упрямо не подымался с пола, то есть со своего ложа, лежал, анонимщик, и не делал даже малейшей попыт-

ки защититься, и руки демонстративно спрятал под одеяло. Поставил чемодан за изголовье, чтоб только не вставать или там рефлексивно не сделать никакого защитительного жеста, и снова, как герой-военнопленный, уставился на меня — делайте, мол, со мной что в ваших силах, я все стерплю. Только чтоб остаться со мной. Как клещ вцепился. Прощай, Серафима! С квартирой в современном кооперативе так уж и быть, а вот Серафима...

С самого начала я все знал, а когда пришлось убедиться в правильности подозрений, когда уже сомнений никаких не оставалось, и стало мне ясно, что придется отказаться от Серафимы, тогда не знаю, кто из нас герой-военнопленный, я или Секретарюк? Этот допрос Секретарюка (когда он лежал вроде бы беззащитный, а я пинал чемодан ногой) отрезвил меня по-настоящему, и я своими силами должен был сладить с новым настроением, без всякой помощи алкоголя, а я вернулся как ни в чем не бывало к Ирине, а потом пошел провожать Аве Марию, никто ничего не заметил по моему виду. Мы прихватили с собой юриста и студента. Но когда я остановил такси, студент вдруг вырвался и ушел. Проезжаем мимо Кировского метро, я его увидел, он стоял с милиционером у закрытой станции и в чем-то его убеждал. Я хотел забрать студента в машину, но он опять вырвался и обратился к милиционеру: "Вот этот вот. Я с такими никогда не примирюсь. Ведите нас в отделение, и я докажу. У-у..." Это он мне погрозил. Хорошо, значит, выпил.

Затем происходит следующее: машина срывается с места, Аве Мария из такси что-то кричит мне, и я остаюсь в обществе студента и милиционера. Ладно. Я сел на скамеечку. Студент поговорил еще с милиционером и поплелся куда-то по улице. Я подождал, чтоб он ушел подальше от милиционера, а затем быстро его догнал. "Что ты докажешь?" — спросил я. С такими всегда так, сначала они ой-ой-ой какие, а потом их не узнать, он это или другой. Вот так с вами надо, сказал я напоследок студенту, оставил его в подворотне и ушел к себе на Сретенку. Добавлю такую подробность: я забрал у студента из кармана бутылку экспортной водки, это был его вклад в Иринин девичник, но никто не решился открывать эту бутылку (как будто на ней было написано, что студент купил ее на стипендию!), и, когда студент захмелел, экспортную вложили ему в карман. С этой бутылкой я шел не торопясь мимо Кировской и только решил посидеть на бульваре, вдруг "шурх", останавливается такси: Аве Мария

и юрист. "Сделали круг, и он успокоился", — говорит Аве Мария. Я успокоился, кивает на Аве Марию юрист, и мне подмигивает, она в этом уверена. А где студент, спросила меня Аве Мария. Правильно, это она увидела бутылку у меня в руках, с него довольно. С тебя тоже довольно одного, а мало одного, вот другой, сказал юрист, приложил руку к сердцу и учтиво мне поклонился. "Только при чем тут еще студент?" — недоуменно спросил юрист. И тут таксист его перебил. "Все, — сказал он, — я до двух часов ночи. Куда вас отвезти, думайте по-быстрому". Пока мы с таксистом препирались, показался студент, и Аве Мария пришла в ужас: кто это тебя так да что это с тобой приключилось? "Очухался?" — спросил я. Он на меня смотрит, смотрит, уставился как баран на новые ворота и прямо на моих глазах распределяет оставшиеся силы, большую часть — чтобы удержаться на ногах, поменьше — чтоб припомнить подворотню, и уже совсем ничтожные силы остаются, чтобы привести в движение неповинующийся рот. "Ты-ы..." — мычит. А разбитые губы не хуже котлет выглядят, как он еще ими манипулирует, пусть поделится этим секретом со своим сыном, когда тот у него появится.

Так я снова продолжал свой путь по бульвару, бутылка со мной, ехать за компанию к Склифосовскому я категорически отказался, это их студент, я его один раз видел и надеюсь, больше никогда не увижу, я бы вообще таким за счет общества медицинской помощи не оказывал, горлопанам! Расположился на скамейке. Ночь была светлой, мог свободно читать заголовки с газетной витрины, была там витрина прямо напротив, тишина была такая, машин нет, трамваев нет, даже слышно было, как роса с деревьев капала. Да, Секретарюк зашел далеко. Вдвоем мы в "Сельэлектро" не вернемся, я приеду один. И все будут знать, вернее, догадываться, что произошло с Секретарюком, и будут бояться. И мой Юрась почувствует это во мне, как почувствовал студент.

Теперь я немножко о гармонии. Я отнес порожнюю бутылку в урну, раскинул руки по спинке скамьи, запрокинул голову и воспарил выше деревьев. Там бежали облака, и меня потянуло лечь, немножко голова закружилась. Часы я с себя снял и зажал в руке, не то кто-то другой снимет, и лег на тот бок, под которым ощущался бумажник. Подошел милиционер и поднял меня. Я нашел другую скамью за кустами, у самой ограды бульвара, так что видеть меня теперь можно было только с улицы, да и густая фигурная ограда не думаю, чтоб просматривалась.

Утром меня разбудил трамвай, он проходил совсем рядом, должно быть, первый трамвай, небо уже было белое, высокое, пошли прохожие, какой-то парень перелез через ограду и побежал, ломая кусты. И вдруг птицы защелкали со всех сторон. Если б не холод (скорее всего, я от холода проснулся, мне шум никогда не мешал), я бы не вставал, так любопытно было показывать себя на скамейке пассажирам трамвая. Пусть посмотрят на меня. Костюм на мне хороший, мужчина я видный, крупный, имею смелость лежать посреди города, как мне удобно. И все до одного смотрели. Некоторые улыбались (как раз против места, где я расположился, была техническая остановка), другие хмурились, а может быть, не выспались, но я уверен, что они эту сцену со мной топором не вырубят из памяти. Хорошо я придумал!

Вдруг смотрю, нет часов. Вскликаю, они на земле. Только эти несколько минут и были парением, давали ощущение гармонии с чем-то, об этом я уже подробно говорил в другом месте (но я не о счастливой находке часов, а о демонстрации себя пассажирам трамвая), а на Сретенку я уже шел совсем-совсем в другом настроении. И вдруг я вспоминаю, что завтра я встречаюсь с Серафимой, а послезавтра, это будет вторник, прилетает Сашка. И в связи с Сашкиным возвращением (теперь я уже из нескольких источников знал, один из них мой собственный опыт, что Сашка обычно возвращается на четвертые сутки и, как правило, утренним рейсом) у меня появилась куча дел, все технического характера. Предстояло произвести кое-какие покупки, найти место для их хранения до вторника, в ночь с понедельника на вторник (как это возможно, черт его знает!) кое-что проделать с замком на Ирининой двери. Минутку! Это будет день моего свидания с Серафимой, и я проведу его в Ирининой комнате, а Ирину отправлю ночевать к Люсе. Вот и выход.

Но весь день я провел дома, ничего не делая из намеченного. Есть такая пословица, присесть перед дорожкой. Я лежал и глядел в окно, хоть оно было пыльное, к тому же солнце палило (а окно я держал закрытым из-за машин). Лежал, дремал, соображал и читал газеты: утром, когда шел домой, накупил целый ворох в киоске, они мне тоже нужны были для того же дела. Только днем поднялся и, махнув рукой на все серьезные вещи, купил цветы и стал у Кировской, ожидая Аве Марию. Я помнил, что назначил ей вчера в такси свидание, и даже помню, как выразил-

ся: "Если интерес взаимный, приходите", но не помню, на какое время. "А я уже час вон на той скамеечке сижу, — неожиданно появилась Аве Мария, — я очень любопытная, решила, что дождусь...". И мы пошли покупать ей туфли, потому что ей они на завтра необходимы и деньги разойдутся, если не взять сегодня, и "вы не рассердитесь, что пришли на свидание, а я вас тащу по комиссионкам?.. Но вы такой видный мужчина, при вас меня побоятся надуть". Если можно, я несколько отвлекусь. В конце концов я сам не знаю, каким образом женщина обнаруживает, что ей желательно с кем-то поделиться подробностями своего времяпрепровождения. Скажу только, что многое было бы иным, если бы Аве Мария не почувствовала, что имеет дело с мужчиной во всех смыслах, я это достаточно убедительно продемонстрировал накануне, показав студенту его настоящее место, в буквальном смысле в подворотне (кстати, Аве Мария ни слова не произнесла о вчерашнем инциденте, а значит, далеко не безразличен был ей студент). Я могу остановиться на таких ничего вроде бы не говорящих о сути дела вещах, как необыкновенное восхищение, которое в моей спутнице вызвала какая-то прохожая, потому что не носила лифа под платьем. Когда это явление поравнялось с нами, Аве Мария в восторге схватила меня за руку: "Ой, какая смелая девчонка!" Или еще: познакомила она меня с мамой через окошко, специально подозвала из глубины комнаты, где меня с улицы вряд ли видно было, и познакомила, и уверен, опять-таки по той же причине. Кому не лестно представить такого мужчину!.. Все. Больше не буду задерживаться на подробностях, времени нет, я и без того вернулся от Аве Марии так поздно, что едва успел как следует выспаться, а на другой день мне предстояли важные дела, и я должен был находиться в форме. Я вообще считаю полезным перед каким-то мероприятием, предстоящим мне, более или менее ответственным, хорошенько выспаться. Утром я попросил Татьяну Степановну приготовить кофе, чего-то сильно захотелось выпить кофе настоящий, на молоке, конечно, а не остывшую бурду, которой меня поили в кафетериях, и из чашки, кофе надо пить из чашки, стакан отбивает вкус. Кофе, булочки и масло, такую я себе еду устроил. Татьяна Степановна тут же со мной, а из окна в палисадник на нас веяло травяной свежестью и доносился далекий гул огромного количества движущихся тел. К обеду я вышел из дому, потолкался по магазинам, и по мере приближения встречи с Серафимой состояние мое все более напоминало

такое, с каким я, скажем, отправлялся на доклад к начальнику треста по итогам работы "Сельэлектро", когда многое, как водится вообще в таких организациях, как наша, обслуживающих целую область, было не совсем слава Богу. Наконец я увидел Серафиму. "Пять", — показала она издали ладонь. Программу этого вечера я изменил, мы поехали сначала в театр, потом попытались попасть в ресторан, но было уже поздно, не пустили, и поднялись по лесенкам в какое-то кафе у Пушкинской площади. Вдруг, едим мы яичницу, больше ничего не оказалось, подходит к нашему столику заведующая, спрашивает, нет ли случайно среди нас электрика, и просит посмотреть, что это с трансформатором в подвале, уж очень как-то странно он гудит. Я тут же отправился с заведующей, посмотрел и дал гарантию, что трансформатор здоров. За этот техосмотр мне позволили заказать кое-что из зачеркнутого в меню, и мы хорошо поели, а потом я предложил поехать ко мне. И по тому, как с сомнением ответила Серафима, успеет ли она домой, уже поздно, все это в такси по пути ко мне, она даже попросила шофера побыстрее, я понял, что вообще театр и кафе, учитывая, что удалось встретиться всего один раз за неделю, были с ее точки зрения вовсе не обязательны и даже не злили. Как-то мне это бросилось в глаза, когда она отвечала на мой вопрос (этот самый: поедем ли ко мне?), что ей, оказывается, весь вечер было не по себе, но, когда выяснилось, что ее подозрения не оправдались и мы все-таки ко мне поедем, Серафима стала совсем другой, я тут только, потому что сравнил ее настроение до и после вопроса, понял, какой она может быть, когда довольна. А что она творила в Ириной комнате, как швырялась подушками, прыгала в туфлях на Иринину тахту и выплясывала на ней все, что угодно! (Не помню, говорил ли я, что отправил Ирину ночевать к подруге, Ирина только несколько раз мне повторила, чтоб я не забыл к утру, к Сашкиному приезду, освободить комнату.) Тут мне пришла в голову одна вещь, я прикатил из своей комнаты скаты, и Серафима устроила на свободной площади комнаты футбольное поле. Если бы скаты были полегче, Ирина вмиг осталась бы без стекол, но попасть скатом в окно Серафима была не в силах. А я подумал и бросил, Серафима скат не удержала, хоть он шел ей в руки, и я сделал то, что хотел, высадил стекло от полноты чувств (вообще мне хотелось что-то сотворить, пусть не окно, что-то другое), больше ничего подходящего не встретилось. Потом мы сели и проговорили по душам всю ночь. Кто-то заглядывал к нам в окно,

какие-то разные, посмотрят и уйдут, потом было слышно кого-то у двери Ириной комнаты, скорее всего это подошла Татьяна Степановна, разбуженная звоном стекол, но постучать не решилась. Вообще, когда кто-то у тебя есть, эта старушка страж не за страх, а на совесть. И вот что мы с Серафимой решили: она выходит за меня замуж, и мы сейчас позвоним маме, она наверно волнуется страшно, так поздно меня нет, и я или лучше ты ей все скажешь, но, по-моему, вдруг сказала Серафима очень тревожно, это должно было быть у нас как-то не так. С самого начала, я чувствую, что-то у нас не то, понимаешь? Ну, иначе все должно быть! Не знаю как, но иначе.

Стало светать, а Серафима все не звонила. У нее наверно сердце обрывается, сказала она, в нашей семье вообще все женщины страшно невезучие, и мама, и ее сестры, что-то еще она говорила и не двигалась с места. Я лежал, а она сидела на тахте, подперев голову рукой. Ты как философ, сказал я. Поневоле станешь философом, ответила Серафима. Вдруг на нее опять напало бурное веселье, она стала бешено трясти меня за плечи: "Ну говори, что делать!.." Я тебе уже раз сказал, что. Ладно, вздохнула Серафима, уже светло, я пойду домой. А по дороге позвоню из автомата, что меня никто не съел. У тебя есть двучечка? "Возьми в пиджаке", — вставать мне не хотелось. Ну, пока. "Дверь откроешь?.. У нас в парадной простой английский замок, хлопнешь дверью, и все". Она помахала мне рукой, вышла, захлопнула дверь и подергала. Я мог бы еще поспать до Сашкиного приезда, но занялся совсем необычным делом: вот его касались ее руки, думал я о скате на полу, а на краешке тахты, отогнув одеяло, она сидела, вот это место. И я чувствовал, как минуты со всем своим содержимым, даже теплом, как будто они живые существа, эти минуты ощутимо удаляются все назад и назад, совсем как настоящие живые существа, теряя по пути в твоём представлении какие-то неуловимые словом приметы и превращаясь в статичное, отвердевшее и обедненное изображение перед глазами, наподобие фотографий или еще чего-то, вроде скульптурки или Серафимы, как я ее себе после ее ухода представлял, которая мчалась сейчас по пустым улицам в пустом троллейбусе с необычной скоростью. Что касается гармонии, то скажу одно. До этого последнего свидания с Серафимой такого сильного, прямо могу сказать, физического ощущения слияния с чем-то витающим вокруг, как своеобразная выжимка самого существенного из сиюминутного времени, какое я испытал

на улице Горького с Секретарюком, в самом начале своего замысла, у меня не было. Эта прогулка с Секретарюком была как бы вершина кривой на диаграмме в кабинете Григория Павловича, изображающей выполнение плана по месяцам, самое большое выполнение перед премией, в третьих месяцах. Но интересно вот что: ведь по положению дел с Секретарюком мне ни о какой женитьбе и думать было нельзя, я просто стал говорить об этом Серафиме под влиянием обстановки, почему же теперь я так уверен, что вершина гармонии постигнута была мною не на улице Горького, а только что, здесь, может быть даже когда мы с Серафимой катали по комнате скаты, стараясь загнать в ворота (бюро с одной стороны, столик под телевизором с другой) ?

Когда Сашка позвонил у двери, было около семи, Татьяна Степановна ему открыла (как быстро научили ее квартиранты вскакивать с раскладушки!), и он, я слышал, прошел к ней, оставив чемодан у Ириной двери. А когда я приоткрыл дверь, чтоб позвать Сашку, в кухне уже сидели два его молчаливых друга и резали ломтями, как хлеб, вот такенные огурцы. Как они попали в квартиру, ума не приложу, ведь хозяйка впускала только одного человека, Сашку, я слышал его шаги и голос. "Заходи, — позвал я Сашку, — сейчас освобожу тебе комнату". "Здесь ночевал? — спросил Сашка, садясь на стул. — С девушка? Мне Аня вчера не звонил?" Видно было, что он недоволен моим хозяйничаньем в Ириной комнате, но даже когда Сашка смотрел, как я складываю свои простыни и одеяло, а смотрел он по-особому, с таким видом, как будто перед ним проделывалось что-то скучное и не вовремя, я по хорошо знакомым мне приметам определил, что с гармонией у него даже в этот момент согласие полное (только он в отличие от меня ничего этого не сознает!), такое глубокое доверие было разлито по всей его круглой фигуре. "Ты что, сейчас уходишь?" — спросил я его. "Надо подойти одно место". — "Хотел поговорить с тобой". "Ну, что?" — равнодушно согласился Сашка. "От меня девушка ушла". "От меня никогда не уходил, — оживился Сашка. — Еще так было: я с одним своим приятелем знакомился с подругами, а потом подруга, та, что приятель ходил, говорит мне, не хочу Гога, хочу с тобой. Это у тебя пустяки. Я скажу сегодня Аня, у него есть подруга одна, я знаю точно". "Это мне один человек устроил, что девушка от меня ушла", — сказал я, и едва я произнес эти слова, не совсем верные, как может показать-

ся, но абсолютно отражающие суть всего происшедшего этой ночью между мной и Серафимой, потому что верно сказала Серафима, не так все это должно было быть, не так я вел бы себя с ней, если бы на моем пути не стоял Секретарюк, едва я высказал Сашке затаенное свое убеждение, как тут же стала как бы сама собой нащупываться перспектива. Я здорово задел сына свободной коммерции своим требованием, и он бросался на меня как тигр (не буду говорить лучше, чего мне от него нужно было, подробности вам ни к чему), пока не убедился, что от меня ему не уйти, тогда Сашка позвал бронзовых телохранителей каким-то боевым, как я готов поклясться, кличем и бросил им через дверь приказание по-своему, и они тут же ушли из квартиры. Мы с Сашкой остались, я шепотом его убеждал (уверен, что Секретарюк лежал поперек моей кровати и прислушивался), Сашка во весь голос по-своему ругался, но потом согласился. Он не мог не согласиться, я в состоянии был сделать с ним все, а он со мной почти ничего. Потом я ушел к Татьяне Степановне, попил чай и в кухне читал газету. (Сашки к тому времени уже не было, он ушел, Татьяна Степановна как обычно отправилась в магазины, один Секретарюк кроме меня находился в квартире, спал или притворялся.) Потом я крикнул Секретарюку, что иду на семинар. "А я что-то нездоров", — тут же откликнулся Секретарюк. Ну и радуйся, кабак дурной. Накликал на свою голову. Я даже ничего не ответил ему.

После семинара я поел в столовой, а дома меня уже ждали Сашка с милиционером. Татьяна Степановна и Секретарюк (у него, по-моему, даже поднялась температура, если судить по его виду) были тут же. Дверь в комнату Ирины украшала великопечнейшая сургучная печать. А я не хотел идти в отделение для снятия допроса, хоть ты меня убей. Я поесть имею право или нет? Пожалуйста, ешьте, мы вас подождем, охотно соглашался милиционер-участковый, даже с надеждой: вот, мол, оказывается, почему гражданин идти не хочет, так это дело поправимое. Садитесь, товарищ участковый за компанию, предложил я. (Мне действительно после столовой есть захотелось.) Нет, нет, отвечал милиционер, ешьте, пожалуйста, приятного аппетита, только побыстрее, а я уже обедал. И сидел в сторонке и курил, а на Татьяну Степановну интересно было смотреть, как она переживала из-за моей грубости, наглости и как старалась загладить ее всем, чем могла, и голосом, и разными историями, и усиленными приглашениями курить сколько вздумается, и к чаю, в конце концов, когда я и после обеда

отказался идти, сказал, что с какой стати я буду куда-то ходить из дому, когда я устал, хочу отдохнуть и вообще никакого отношения к этому делу не имею, я сразу же после Сашки ушел, а может быть, даже еще до его ухода ушел утром, она стала на сторону участкового, и, покраснев от страшного волнения, вернее от подскока давления (у моей мачехи такое же, поспоришь с ней, она пунцовой становится, ах, какая была!), с возмущением мне сказала: "У нас в Москве так не ведут себя. Что значит вам не хочется?!" Только когда через час-полтора освободился вызванный участковым милицейский "бобик", тогда лишь я поехал, сопровождаемый уже тремя милиционерами. А Секретарюк буквально осатанел от нетерпения, ну глуп! Выхожу из кабинета следователя (держал следователь меня часа два, пока я все написал, рассказал, вернее, отрицал), а Секретарюк ждет в коридоре, и вид его, я бы сказал, обнаруживал страшную кровожадность. Пошли, предложил я. Да нет, я еще побуду. Уверен, что он за моим "бобиком" бежал вприпрыжку до самого отделения милиции, только бы не упустить, как меня будут приговаривать к сроку с конфискацией.

И все же даже это происшествие меня не развлекло. Дурак ты, Секретарюк, даешь показания, а они меня несколько не радуют, потому что не вовремя. И я сел на кровати, стал смотреть на флигелек, ни в одном окне не светилося, а дальше вдруг вижу Серафиму, она устроилась на скамейке у флигелька и смотрела в мою сторону. Минуты через две Татьяна Степановна схватила телефонную трубку и страшно недовольным голосом крикнула: "Идите, вас!" (А еще недавно: тебя.) Слышу Серафиму: "Ты что делал? Я тебя разбудила?" Я, конечно, очень вежливо, но смысл тот, что разбудила. "А, тогда извини". — "Откуда звонишь?" — "Из дому". "Положи трубку" — попросил я. "Зачем?" — таким испуганным тоном спрашивает Серафима. "Положи трубку", — повторяю. Я набрал номер Серафимы, она ответила: "Зачем ты меня просил положить трубку?" Значит, приснилось, я пришел к такому выводу, я спал после допроса как младенец и увидел сказку. Теперь скажу вам, чем она закончилась. Я не люблю, когда люди "смыкаются" — ни в шахматах, ни в жизни. (А смыканием у нас называют шараханье из стороны в сторону, "смык туда, смык сюда".) Сделал ход, конец. Я тебе что-то вчера говорил, мы не договорились, зачем начинать сначала? И потом до этого разговора по телефону Серафима мне казалась совсем другой, и вполне возможно, что

она действительно стала другой, потому что как ни крути, а за мужество для девушки дело серьезное. Пусть я переборщил, когда заговорил с ней о женитьбе, не имея на это материальных возможностей (из-за Секретарюка, как вы уже знаете), пусть меня несло, я парил, но если бы она согласилась, то все, так тому и быть, и пришлось бы в Москве все начинать сначала, скажем с должности рядового инженера в московском "Сельэнерго", и где-то снимать комнату, как я вначале предполагал снять у Татьяны Степановны, вы это знаете и соврать мне не дадите. Правильно я говорю? Но что поделаешь: та, довчерашняя, если можно так сказать, мне нравилась, а эта, перепуганная какая-то, может быть, она догадалась, что я тоже уже не тот, вчерашнюю Серафиму, говорю, с сегодняшней я не перепутаю. С этого момента, я считаю, гармония стала восстанавливаться, я об этом судил по такому надежному признаку, как отсутствие неудовлетворенного желания, всем я был доволен, и даже последние мои слова по телефону были сказаны человеком, снова обретшим желаемое, я даже рассмеялся чему-то и благодаря особенности своей конституции прослушал Серафиму, и именно ее последние слова. Потому что когда я вновь обрел способность слышать, то кроме шорохов (точь-в-точь деревья на бульваре так шуршали ночью!), кроме этих звуков в проводах ничего уже ко мне не поступало. Ну, и теперь уж я обрел способность контролировать ситуацию: Секретарюк, уверен, в крайнем возбуждении шатался по городу после своих сенсационных разоблачений, ночевать он не приходил, и я, открыв утром глаза, впервые за две недели не увидел высунутых из-под простыни ступней, напоминающих конечности доисторического млекопитающего, если, конечно, у них тоже не были острижены ногти. А Сашка, явившись с какого-то ночлега, стал грозиться, что сорвет пломбу, потому что, оказывается, "я ему мог положить еще одно место" (то есть узелок. Умора!). Что ж ты вчера молчал, дурья ты голова, в отчаянии воскликнула Татьяна Степановна. Кто тебе даст пломбу срывать?! Ты сесть хочешь? Спроси Ирину, что она имела однажды из-за такой пломбы! (Татьяна Степановна загородила собою дверь и растопырила руки, ну это ж и руки, было на что посмотреть.) Я тебе пломбу срывать не дам. Хочешь войти в комнату, искать свои деньги, звони в милицию Пухтееву, это участковый, пусть он с тобой смотрит, пусть не смотрит, сами себе с ума сходите, а меня недавно две неотложки еле откачали, мне эти волнения не нужны. И вдруг она опомни-

лась: Ирина получает деньги за комнату, а я должна надрываться, убеждать его! Какое мое дело?! Но от дверей не отходила, только руки опустила, но такие руки поддержать на весу, это адский труд. Ладно, позвоним, согласился Сашка. А я сел пить чай. Тут звонок в дверь, Секретарюк. Не успел он войти, снова звонок. На этот раз следователь, который меня вчера допрашивал, а на самом деле просто участковый Пухтеев, и милиционер. "Пьете чай?" "Ужинаю, — сказал я. — Я ведь не под стражей". "Ладно, пейте, пождем. А вы хозяйка?" Через минуту появляются дворник и соседка, понятые. Я пью чай, ем бублик. И вот интересно, Секретарюк расположился прямо против меня и смотрит, смотрит на меня, как будто дышит кислородом. Я расскажу только об одном случае (пусть милиция подождет, я вчера в отделении ждал дольше), как мы с Секретарюком поцапались когда-то из-за путевки, вернее, не поцапались, а было так. Я в "Сельэлектро" тогда был далеко не тем, кем сейчас, даже по состоянию здоровья, что-то я пару лет в то время дебюта в нашей организации болел, и врач поставил диагноз: гастрит под вопросом. Мне дали в конторе путевку в Моршань, возвращаюсь из санатория, ко мне подходит Секретарюк, интересуется, помогло ли. У меня, говорит, тоже что-то вроде язвы, надо будет на следующий год и мне подать заявление в местком. Прошел год, я уже в месткоме (работе я и тогда отдавался, и за меня голосовали все, ни одного вычеркнутого бюллетеня), он подходит насчет путевки. Обещают выделить нашей профорганизации? Обещают одну, говорю. Есть претенденты? Тогда я прямо в лоб: "Есть. Я". (А что я в самом деле, кончиться должен, если я уже раз был? Что с того, что я тратился на проезд, если с одного курса меня не вылечили.) А-а, это Секретарюк мне, так смущенно-смущенно. И чтоб уж закончить как-то разговор, я видел, что он сквозь землю готов провалиться, прячет глаза, так по-товарищески меня за рукав: "Ну ладно, будет местком, решайте, вам виднее". Не выдерживает прямого удара. И вот теперь он так смотрел на меня, что наверно нужно было собрать всю силу, чтобы так смотреть. Лучше выразиться следующим образом: это смотрел уже не Секретарюк, смотрел другой человек в его обличье, правда, изрядно изменившийся. Но я еще не закончил насчет путевки. Проходит несколько месяцев, может быть, полгода, я уже побывал вторично в санатории, уже забыть успел о болезни, вдруг мне говорят: иди посмотри, как тебя твой друг расписал в заметке. Требуется поместить в стенгазету. Осталь-

ное, надеюсь, ясно? Так что это товарищ, во-первых, скрытный, во-вторых, с запоздалой реакцией. Реагирует, когда уже поздно. Но на этот раз, конечно, все обстояло посложнее, человек решил ни больше ни меньше от меня избавиться. А я от него.

Ладно, поехали дальше. Я кончаю пить чай, мне говорят: “Мы должны произвести у вас обыск, вот распоряжение. Вы, может быть, сами нам скажете, куда вы положили перчатки”. “Какие перчатки?”—“Из магазина, конечно. Кожаные”. —“Что-то не припоминаю. Вообще я всякое барахло покупал, может быть, и перчатки тоже. Или только хотел купить”. Находят у меня в портфеле несколько копий чеков, в кармане отвертку. “А это зачем?”—“Просто понравилась из-за красивого оформления. Как электрик, я в таких вещах еще способен разобраться”. Составляется акт изъятия. Мои копии чеков тоже туда попадают, но написано на них так неразборчиво, что слово перчатки можно прочитать, только обладая развитым воображением. (Еще один факт: это Секретарюку я пару дней назад показывал перчатки, от него и милиция узнала.) А вообще наблюдать за ним было в высшей степени интересно, как он топчется вокруг милиции, как делится впечатлениями с дворником (с дворником!), я слышал его слова, сопровождавшиеся недоуменным пожатием плеч (такая наивная маскировка), потому что смысл слов: “Да вроде бы на чеке ясно написано — перчатки...”—противоречит состоянию, выражаемому таким жестом. Потом с теми же словами Секретарюк обернулся к Сашке (нашел к кому!), Сашке только забот, что какие-то перчатки, когда он ждет не дождется конца этой остроумнейшей операции, чтоб заняться коммерцией, и нетерпение, вот что написано на нем. И по его глазам, в которых уже ничего не остается, кроме бешенства, оттого, что его вовлекли в это дело и вдобавок задерживают, я вижу, что сейчас Сашку разорвет, и он, забыв о нашем уговоре, потребует раньше времени, раньше, чем я скажу: “Можно!”, потребует, чтоб открыли комнату, “я ему (“ему”, ну умру!), может быть, положил в другое место”. Это будет называться, нам говорили в школе, как называется, когда дальше некуда. Сейчас вспомню. “Слушай, товарищ лейтенант, давай посмотрим еще раз комната...”. Называется это кульминацией, а после нее должна идти развязка. И что интересно? В школе по литературе у меня далеко не был ажур. И до склероза мне вроде бы тоже не близко. Можно пожить. Поехали дальше. Сашка срывает пломбу и бросается под тахту, откуда милиционер его вытаскивает и выводит из ком-

наты. Милиционер по приказу участкового затем сам лезет под тахту (слишком уж в теле наш участковый), достает оттуда Ирнин запыленный ботинок, из ботинка рваный чулок. "Смотри другой ботинок! — крикнул Сашка. — Я клал без чулок!" И вот торжественно вытаскивается из ботинка узелок, и Сашка, такой счастливый, каким он должен был бы быть, если бы пропажа действительно обнаружилась, требует, чтобы ему тут же отдали деньги, и просто рвет свой узелок из рук милиционера, совсем так, как потерпевший действительно должен был бы рвать, потому что Сашка, во-первых, был счастлив, что дело наконец закончилось и он может заняться коммерцией, во-вторых, его тоже надо понять: а вдруг что-то как нарочно произошло с его деньгами. Говорю откровенно, это была стоящая сцена: как участковый, тоже довольный тем, что можно закрыть дело, подозвал Сашку и что-то шепнул ему на ухо (что именно, надеюсь, можно не уточнять) и потом стал считать деньги, сказав: "Учти, если больше или, наоборот, не хватает, это не твои", а Сашка как бешеный зверь весь дрожал, наблюдая, как лейтенант неумело листает бумажки: "Нет, это моя тысяча двести!" Вышло ровно "тысяча двести". "Я могу закончить завтрак?" — спросил я. "Вы и раньше могли. Мы, по-моему, вас не торопили. А вы (это уже Сашке) за деньгами придете в отделение". Участковый выписал повестку в отделение и Ирине. Когда милиция уехала, Секретарюк вошел в нашу комнату (он зачем-то ходил провожать участкового) и ко мне: "Разбил ночью окно, чтобы положить деньги? Я слышал". Я бы не сказал, чтобы этот гад выглядел таким уж удрученным, скорее очень уставшим. "Вон отсюда! — заорал я на весь дом, уверен, слышно меня было и на улице. Теперь уж его чемодан полетел из комнаты, я открыл дверь и зашвырнул чемодан к Татьяне Степановне (та стояла с соседками ни жива ни мертва в парадном, что это они, в квартиру опасались войти?). — Я тебе командировку схлопотал в Москву, так ты ею воспользуйся по-человечески, посмотри город!.. А ты чем занимался? На тебя ж весь коллектив "Сельэлектро" смотрит как на склочника, на кого ты еще не писал, хоть бы одного человека пощадил? Ты думаешь, как домой явишься?.." Это я через закрытую дверь ему выложил. Потом слышал, он о чем-то говорил в передней с Татьяной Степановной, наверное рассчитывался за квартиру. Потом постучал в комнату, попросил пиджак. "Может быть, ты и не думал взять Сашкины деньги, — сказал Секретарюк, когда я открыл ему дверь. — Но это

дело не меняет". Дверь он придерживал ногой, чтоб она не слишком раскрылась, что-то, а мой характер он знает.

Я видел, как Секретарюк прошел мимо окна куда-то вверх по улице, и даже тут он умудрился отличиться от людей, сразу было видно, что это за птица, длинный, в черном прорезиненном плаще, который он брал с собой в командировки по сельским РЭС, а все вокруг в безрукавках и платьях.

Я очутился на улице с обрывком ставшего уже ненужным телевизионного кабеля, до крови растершего мою руку, а эти бандерши Т. С. и И. Н. еще умудрились вычестить из моего жалованья стоимость перепачканных Сашкой и его девкой простынь и разорванной комбинации, и у меня даже денег не оказалось. Мерзавка И. Н. дала мне, правда, на прощанье несколько бутылочек из-под лекарств, сказав, что я за них выручу причитающуюся мне дополнительную оплату за уборку номеров, но меня это как-то даже не обрадовало. Я лишился смысла своего существования, о чем свидетельствовал не только обрывок кабеля, но с еще большей очевидностью мучительное ощущение вины, это очень, очень страшное дело, сюда втянуты посетители номеров, и уже все, все знают, я почти уверен, что проходим тоже обо мне все известно. Должно быть, я просто ползал по земле, оставляя кровавый след из раны, и он тянулся посредине проезжей части, куда меня занесло каким-то подсознательным влечением к опасности. "Разве вы не видите, что линия отбивается пунктиром? — набросился на меня инспектор ОРУДа. — Пройти еще раз дистанцию!" "Я вам не обязан, — ответил я, — а делаю это, чтоб хоть чем-то оказаться полезным". Я продолжал свою работу, но с каждым часом линия становилась все прерывистей, — очевидно, кровь поступала из раны на руке в недостаточном количестве, но орудовцы больше не делали мне замечаний, поскольку выяснилось, что я выполняю эту работу на общественных началах. К концу рабочего дня я получил выписку из приказа, в котором мне объявлялась благодарность, а также премию, электробритву. С этими вещами я поспешил к Аве Марии, надеясь засветло разобрать громоздкую печь, причинившую мне такие неудобства во время моего единственного визита к этой девушке. По пути я вспомнил, что не брит, и впервые в жизни побрился электробритвой прямо на улице, забросив оголенные концы шнура на троллейбусные провода. Вся процедура заняла у меня какие-то минуты, на которые при-

шлось прервать движение троллейбусов, собравшихся за мной длинной чередой и торопивших меня нетерпеливыми гудками. Наконец я стянул с проводов концы, открыв движение, и прицепился к одному из троллейбусов, который и доставил меня к Аве Марии. Прежде всего она освободила меня от мытья Ирининой посуды, выбросив бутылочки в мусорное ведро, и дала поест, на этот раз что-то оранжевое, приятно успокаивающее глаза. Вместо галстука она повязала мне на шею обрывок телевизионного шнура, и мы вышли прогуляться.

Во время прогулки Аве Мария посвятила меня в свою историю, которую я сейчас перескажу. Оказывается, несколько лет назад в нее влюбился иностранец. Он очень красиво за ней ухаживал, дарил цветы, но виделись они лишь в столовой во время обеденного перерыва. Это была такая изумительная любовь, что даже раздатчицы и официантки, на что уж наглые девчонки, и те оставляли к его приходу одно посадочное место и всячески не давали его занимать никому другому. Так продолжалось недели три, вдруг Аве Марию вызывают в отдел кадров: ты, мол, у нас, на номерном заводе, а сэр из капиталистической страны, и твоя мать тоже на номерном предприятии уборщицей. После этого разговора Аве Мария пришла в столовую в страшном состоянии и, чуть ли не рыдая, сказала своему возлюбленному, что больше не может с ним видаться. Но он вымолил у нее разрешение издали смотреть на нее, когда она будет ходить в столовую. Так оно и было, к тому же каждый раз на столике в столовой она обнаруживала маленький букетик цветов. Через несколько дней ее вызвали в одно учреждение и предупредили, вплоть, сказали ей, до высылки из столицы. Она перестала ходить в столовую. Но спустя некоторое время, проснувшись по непонятной причине ночью, она увидела чье-то прижатое к стеклу лицо. С тех пор почти каждую ночь летом и в оттепель она видит силуэт на своем окне. Она убеждена, что это он, хоть встречала его на улице Горького с официанткой из столовой, одной из тех, кто оставлял для него место. Аве Мария расценила это так: девчонка нужна ему просто для маскировки, а душой он с ней, с Аве Марией. "Если бы вы слышали, как он говорил мне "са-си-боо...". А она такая обыкновенная девчонка, даже без образования. Это день и ночь".

Тут мы снова вышли к чудесному каналу, на котором лежали длинные тени домов, а противоположный берег был так ярок от вечернего солнца, и над ним пробегал оранжевый дым. Вдруг

Аве Мария меня оставила. “Я больше не хочу быть доброй, — сказала она в каком-то возбуждении. — Я к Ирине так относилась, когда она болела, — даже отказалась от всякой личной жизни. И к Колинскому. Но теперь я знаю, зачем я им была нужна. Не хочу на вас время тратить! Я, может, за этот вечер смогла бы свою жизнь устроить”.

Очевидно, я долго оставался на одном месте, потому что, когда снова пришел в себя, канал уже почти не различить было в темноте и пошел дождь, ни одного прохожего, только машины обдавали меня водой из-под колес. Вдруг, откуда ни возьмись, подбегает ко мне Аве Мария, длинная, а космы как приклеены к лицу, в прилипшей одежде (я тут же понял, почему ее так прозвали). “Не сердитесь на меня, я дурно с вами поступила. Я сбежала из “Арагви”, и, как назло, ни одного такси. Идемте, идемте скорее, вы простудитесь!”

В комнате Аве Марии я вдруг обратил внимание на овал, очерченный мелом прямо на полу. “Ради Бога, ни о чем меня не спрашивайте, — взмолилась Аве Мария, — только не заступите за черту. Я тоже поклялась никогда больше на это место не становиться. Здесь стоял главинж. Пусть моя и без того небольшая жипплощадь станет еще меньше, лишь бы не дышать с ним больше одним воздухом, это была страшная ошибка”. Я понял, как необходимо было бы именно теперь убрать из комнаты нелепую печь, занимавшую столько места, но у меня уже не оставалось времени. Я попросил ручку и бумагу и, устроившись на той же печке (стол был в меловом круге), стал писать. К полуночи паста кончилась, но Аве Мария приготовила мне чернила из чая. К утру и они вышли, тогда я вскрыл рану и последние страницы дописал кровью. Записи я отдал Аве Марии, велел их отнести Пухтееву в том случае, если я сюда не вернусь. В душе я знал, что никогда больше у Аве Марии ноги моей не будет, и ужасное значение мела на полу отравило мое пребывание у нее настолько, что Аве Мария с ее поздним раскаянием была мне просто смешна, настолько, как я понимал, ее страдания не выдерживали сравнения с моими. Я даже поставил на радиолу классику в джазовом исполнении и, пока не свернул за угол, эти двусмысленные звуки провожали меня, выносясь из раскрытого окошка, словно кто-то кривлялся мне вслед. Оставалось одно, идти на Москву-реку, найти так поразивший меня треугольный сквер и тупичок, поднимающийся вверх. Там я смогу провести минут пяток и все обдумать. Мешкать было

нельзя. Я набрал в автомате номер извозчицкй пролетки, и спустя совсем немного времени колхозничек с бородой осадил передо мной лошадь. "Читал в газете-то?" — спросил я его. "А как же! — и он постучал кнутовищем о борта пролетки, залепленные "Вечерней Москвой" с моей благодарностью. — От командированных отбою нет. Прямо с самолета радиом в аэропорт вызывают". О прошлом инциденте ни он, ни я не вспоминали. Извозчик погнал лошадь галопом. Серебристый прутик антенны на пролетке гнулся, как березка в грозу. Но едва впереди показалась пристань, я закричал не своим голосом: "Поворачивай!..", потому что у реки, ожидая прогулочного катера, делали променады главинж с девкой в медвежьей шубе. Некуда, некуда мне от него деться!

Печально подымались мы вверх по чем-то милому моему сердцу тупичку. Вдруг колхозничек, а вернее сказать, заочник, натянул вожжи и обернулся ко мне: "А рассчитываться Эйнштейн будет?.. Где скинуть-то?" Не иначе, каким-то свойственным этим плутам чутьем он вынюхал, что у меня с собой ничего. (Горько вспоминать мне было об Ирининых бутылочках, выброшенных на помойку Аве Марией, но было уже поздно.) "Сдай меня в отделение Пухтееву, — в каком-то остервенении попросил я. — Сдай. Нечем мне платить!" "Возить тебя туда, я за это время больше заработаю на пассажирах, — задумался заочник. — Пстой, пстой! — вдруг ухватил он меня за обрывок кабеля, висевшей на моей шее в качестве галстука. — Мы с тобой его в гарантийной реставрировали, да? Квитанцию сохранил?.. Не беда, у них копия должна оставаться!" Извозчик включил все транзисторы, и, оглашая улицу передачей радиостанции "Юность", мы помчались. Это была езда! У меня обрывались все внутренности, но такого удовольствия я не испытывал давно (может быть, лишь когда трясся в автолаборатории, но — стоп, молчок!). Снова мы въехали на тротуар, и мой заочник заколотил, на этот раз сандалетом, прямо в витрину, за которой председательствующий склонился над расстрепанной телефонной книгой. Больше в мастерской не было ни души. "У тебя можно что-то получить за это?" — мой извозчик подергал обрывок телекабеля. "А что, порвался? — спросил председательствующий и заинтересованно потрогал кабель. — Да, в таких условиях работать приходится. Сплошные недопоставки в текущем квартале. Денежная компенсация запрещена министерством бытового обслуживания, но мы постараемся привести вам эту вещь в порядок". Он снял телефонную трубку и,

прежде чем я успел сообразить, что за этим последует, вызвал мастера, который спустя несколько минут вышел из троллейбуса как раз напротив мастерской, еще сонный, в мятой пижаме, и тут же, довольно грубо, сдернул с меня кабель. Это была абсолютно вздорная затея. Зачем мне кабель? “Завтра толкаю последний зачет, — между тем продолжал председательствующий беседу с моим заочником. — Поверишь, только перед твоим приходом раскрыл телефонный справочник. Дома вообще не могу готовиться, все в одной комнате”. Тут мастер уже более миролюбиво набросил мне на шею кабель. “Я его кое-где смазал, теперь будет хорошо”. Это был полнейший абсурд, но, чтоб не заводить с этим халтурщиком, я согласился, незаметно сунул в карман колхозничку электробриту в счет платы и вышел на улицу. Опять была ночь, и я чуть ли не елозил носом по тротуару, до того меня гнуло к земле, но я уж сам, пешком, не зная дороги, а полагаясь лишь на счастливую случайность, двигался на поиски сквера и тупичка. К утру я был там. Совсем недолго наслаждался я тишиной и этим необыкновенным видом на синюю с золотом церквушку, венчающую сонный, залитый асфальтом переулок. И сто, и двести лет назад подобный мне человек видел на этой церквушке непросохшее пятно под рындой. Время, я к тебе прикоснулся!

Но скоро оставаться здесь стало невозможно. Мамаши из всех примыкающих кварталов вынесли в сквер своих младенцев дышать воздухом. Отовсюду визг и плач. Вдруг я увидел главинжа, устремившегося ко мне изо всех сил. Я бросился от него по аллее, но, отбежав на приличное расстояние и не слыша за собой преследования, остановился и оглянулся. Главинж подходил к одной из матерей, держа в руке бутылочку молока. И тут же я узнал ее, это была девка в медвежьей шубе, посещавшая его в нумерах и только вчера гулявшая с ним на пристани. Ишь, проклятое семя, подумал я, их все больше и больше. Тем временем девка и главинж, толкая впереди себя колясочку, направились к выходу из сквера. Сам не знаю почему, я пошел за ними, сохраняя известную дистанцию, чтобы не быть замеченным. Спустя несколько минут пара впереди меня подошла к станции метро и вошла внутрь. Я за ними. С верхней ступеньки эскалатора мне хорошо была видна коляска, которую они поставили поперек направления движения лестницы. Вдруг я похолодел: в коляске никто не лежал, это была мистификация! Но тут же меня это

баснословно обрадовало. Больше главинж с девкой меня не интересовали, и я бросился наверх по лестнице, несущейся вниз. Весь в поту, я выбрался наконец на верхнюю площадку, но дежурная, такая злючка с песьим лицом, ни за что не пожелала меня выпускать. Вот на таких мне всю жизнь приходилось транжирить свои нервы, начать хотя бы с предместкома из "Сель-электро". Но молчок! Никто не должен знать, откуда я. Я спустился вниз и еще раз поднялся наверх, уже на поднимающемся эскалаторе. Проходя мимо мундирной дежурной с запоминающимся лицом, я ей ничего не сказал, но она меня хорошо поняла. Надеюсь, в другой раз она меня за квартал будет обходить.

О чем я забыл сказать, так это о совершенной перемене своего положения относительно тротуара и других людей. Я выглядел совсем, как все, в чем убедился, войдя в магазин, где было зеркало. Я объяснял это появлением новой для меня цели, заменившей утраченную. Нормально, как все прохожие, я двигался в толпе, которая внесла меня в билетную кассу вокзала. Вспомнив, что денег у меня нет, я вышел прямо на перрон, предварительно хорошенько изучив маршруты движения поездов. Все они привлекали меня в одинаковой степени, но постепенно в цифрах, обозначающих составы, я стал находить более приятные. Наконец остались две: 4 и 18. В конце концов я остановился на первой. Но то, что я увидел в кассовом зале, наполнило меня тоской. Огромные толпы стояли у каждой кассы, и везде крики, и шум, и давка, и такой воздух, какой-то особый воздух вокзалов, который сразу зажег мои щеки лихорадочным огнем. Я слышал, как все стоящие в очереди убеждали друг друга в необходимости получить билет, причем мне с большим трудом удавалось уловить отдельные слова, так было шумно. Тем более непостижимо, как могла их услышать кассирша, которая одна лишь решала, выдавать билет или нет, ведь окошко ведущее к ней, было плотно-плотно залеплено лицами столпившихся у кассы. Несмотря на очевидную мне бесперспективность стояния в этой очереди, я не видел ни одного лица, на котором отражалось бы отчаяние, наоборот, все выражали крайнюю степень оживления и настойчивости и энергично возмущались по каким-то совершенно дурацким поводам — ну, например, кто это распорядился так нелепо посредине очереди поставить урну для окурков. И притом, хочу добавить очень важную подробность, через билетный зал непрерывно следовали к перрону пассажиры, как мне объяснили, без вся-

ких билетов. Присоединившись к ним, я тоже беспрепятственно проник на перрон, но при посадке в вагон поезда № 4 был остановлен проводником. “Позвольте, — возмущился я, — почему вы только у меня одного требуете билет?” “Где ваш ребенок? — налетел на меня этот ржавый служака. — Отойдите от вагона! Не загораживайте проход!” Тут только мне бросились в глаза коляски для детей, которые толкали перед собой пассажиры, но, наученный опытом, я тотчас приподнял верх на одной из них, и конечно же — там и в помине никого не было. “Занимаетесь очко-втирательством, — возвратился я к проводнику. — Потрудитесь объяснить, почему вы способствуете обману государства?” “Отойти назад! — рявкнул он. — Вот ядрена-маслена! Я тебе кто, акушерка, чтоб заглядывать в коляски?” Отсутствовал я недолго, но, вернувшись в кассовый зал, нашел за человеком, бывшим в очереди впереди меня и помеченным мною мелом, чтобы мне не потерять, нашел, повторяю, целый хвост. Но все в этом хвосте безропотно пропустили меня вперед, поскольку я каждому из них мог показать такой же знак у себя на руке. “Оказывается, — обратился я, не в силах сдержать возмущение, к очереди, — достаточно иметь какую-то пустую детскую коляску, чтобы попасть на поезд”. “Что ж, купите”, — равнодушно откликнулись рядом стоявшие. “Может быть, для приобретения коляски необходимо иметь справку о ребенке”, — спросил я. “Не знаем, — сказали мне эти ослы, — нас это не интересует”. Нельзя было не почувствовать, что тон окружающих стал определенно насмешлив и даже недоброжелателен. И все же место в очереди они обещали за мной сохранить, и я поспешил в магазин.

Что сказать: коляски были, самые разнообразные и сколько угодно и продавались свободно. Не скажу даже, чтобы цены были слишком высокие, в любом случае билет стоил куда дороже. Кроме того, коляски давались и в рассрочку. Одну из них я было намерился уже подкатить к прилавку, как вдруг обнаружил, что колеса всех колясок связаны. “Будьте добры, мне вот эту колясочку мне, попробовать, как она бежит”, — обратился я к продавщице. Продавщицы, их было две за прилавком, переглянулись, и одна из них сказала: “Она не бежит, она катится”. “Да, — согласился я, — конечно, катится. Пожалуйста, я хочу поглядеть, как она катится”. “Так бы с самого начала и сказали. Только заведующего нет”, — объяснили мне эти девушки, занятые подсчетом чеков, снятых с колов. “Ножницы у вас найдутся?” — подошел я к при-

лавку, — дайте-ка, я мигом освобожу колеса”. “Ножницы, наверно, где-то есть, но мы практиканты, мы ничего не продаем”. “Понял, — сказал я, — а заведующий сейчас будет?” “Он в отпуске, на юге”. “Тогда, может, заместитель?” “Света, — обратилась одна девушка к другой, — не помнишь, часом, заместитель не ведает колясками?” “Без понятия”, — очень искренне улыбнулась другая. “А вот он идет”, — сказала первая, и я направился к заму и повторил ему свою просьбу. Вместо того чтобы ответить мне, он как-то странно и гневно поглядел на продавщицу: “Почему у вас покупатели расхаживают по торговому залу?” Девочки на этот раз переглянулись, уже растерянно, и одна из них попыталась оправдаться: “Так ведь гида с утра не было. Ты его видела сегодня, Света?..” “Нет”, — покачала головой вторая продавщица. “Я вообще сомневаюсь в том, что вы что-то видите, — в крайнем возбуждении обрушился на продавщицу зам. — Вы третий день считаете эту стопку чеков, а я вынужден задерживать в магазине инкассаторов”.

Теперь я понял, что покупатели, прогуливающиеся по магазину, были вовсе не покупатели, у каждого из них отопыривалось на боку, где, по всей вероятности, находился пистолет. “На меня будет произведен начет”, — продолжал зам. Несчастные продавщицы выглядели так жалко, что мне ничего иного не оставалось, как уйти, ибо я был уверен, что присутствие постороннего человека (к инкассаторам они привыкли) лишь увеличивает их смущение. К тому же я каким-то образом почувствовал, что гнев зама, хоть он и обрушился на учениц, вызван был именно мною. На меня он намеренно не глядел, будто я представлял собой некое неслыханное неудобство, в котором он не мог вслух передо мной признаться, но перед продавщицами стесняться ему было нечего, когда я вышел, зам торопливо захлопнул за мной дверь магазина и с лязгом засунул засов изнутри, как бы для того, чтобы я не вздумал возвратиться. Но откуда он мог знать, что у меня нет денег и я здесь просто так, кое-что выяснить, вот чему удивлялся я на обратном пути к вокзалу, и чем дальше я отходил от магазина, тем больше закипал злобой и в конце концов вернулся к этому негодяю, только чтоб излить эту злобу на него. (А времени до отхода поезда оставалось совсем немного.) Так и есть. Магазин был открыт снова, шла торговля, ни инкассаторов, ни зама в зале не было, но и колясок тоже не было! “Разобрали”, — сказали мне девочки. “Но я ведь только что был, они стояли на-

валом". "Какой вы странный, — сказали продавщицы, — нам-то они не нужны". "Но ведь только что", — чуть ли не взмолился я, так мне было почему-то обидно. "Там была одна поломанная, ее забрали, не помнишь, Света?" "Не помню, — задумалась на миг Света, видно, ей захотелось сделать мне приятное. — Нет, ее тоже забрали. Этот старик, который ругался". И обе продавщицы одновременно улыбнулись — не иначе, своим воспоминаниям о старике. "Я тоже ругался", — возразил я. "Нет, это были не вы". И вдруг ни с того ни с сего обе продавщицы возмущились. "Почему мы должны оправдываться перед вами? Вот странно. Мы вам отвечаем, что колясок больше нет. Говорите с замом!" Но, отходя от прилавка, я явственно слышал шепот спохватившейся продавщицы: "А где он, Света? Он же уехал в торг". — "Ой, да, правда!.. Но ведь мы тоже с тобой ни при чем". Кто виноват? Я затруднился бы ответить на этот вопрос. К тому же я вспомнил, что коляски передавались из окон вагонов стоящим на перроне, а те с возмутительным нахальством при помощи (может быть, и не раз) использованных колясок проникали в вагон. Снова через кассовый зал, а народу там еще больше, я прошел на перрон. Да, действительно, при мне коляски совершенно свободно передавали из окон вагонов. Проводник же стоял рядом с таким видом, как будто это его не касалось. Я заглянул в вагонное окно и попросил коляску. "Наглецы какие! — откликнулся один пассажир. — Час назад объявили посадку, и уже из вагона исчезли две коляски. Делай им одолжение, а потом ищи по всей Москве!" И он с возмущением поднял окно. "Сквозит!" Я заглянул в другое окно, но там уже негодование этого выжившего дурня, как снежный ком с горы, покатилось с полки на полку, и всюду я слышал возмущение бессовестными людьми, играющими на чувствах порядочности и крадущими коляски. Я бежал от этого вагона, превратившегося в какой-то растревоженный курятник, очередь же моя ни с места. Притом, что интересно? Стоящий впереди меня, только чтоб я не нашел своего места, вытер мел с рукава, несомненно, желая мне отомстить за то, что я польстился на легкий хлеб безбилетной посадки. Найти я его нашел, но так мне в очереди противно как-то стало. "Ладно, стойте", — сказал я и ушел. Совсем ушел из очереди. Взял какую-то женщину, стоявшую в самом хвосте, привел ее на свое место и сказал, что она будет стоять вместо меня, а сам позвонил заочнику. И надо было видеть, как я назвал всем этим ослам и скотам подкатил пролетку (заочник

с выпряженной лошастью остался в кассовом зале) к вагону. "Могу садиться?" – спросил я у проводника. "А, – осклабился он, – пожалуйста!" И даже отодвинул провожающих, чтобы создать все условия для моей нормальной посадки. "Плевать я хотел на эту поездку! – взорвало меня. – Чхать на твой вагон, понимаешь? Высморгаться". Взявшись за оглобли, я покатил пролетку по перрону обратно к заочнику. Он запряг лошадь, и мы вместе доехали до какой-то знакомой площади. Я узнал ее, это было у Кировского метро. Я слез с пролетки и заполз под колесо. "А теперь возьми и переедь меня", – попросил я колхозничка. "Как это, переедь?" – он постучал себя кнутовищем по лбу. "А вот так, – сказал я. – Тронь лошадку". И прежде чем он успел опомниться, я обратился к лошади: "Н-но!.." И послушное животное сделало шаг.

Теперь самое время было бы сходить в баню и помыться, как я понимаю: пустой зал, плещется вода из душа и вместе с солнцем течет по кафелю. А если упадет шайка, оглохнешь, такой гул пойдет по залу. Но я никуда не ходил, наоборот, ко мне постучалась Татьяна Степановна, через час к ней присоединилась Ирина Николаевна, та прибежала с работы, вызванная Татьяной, потом стала обзванивать подруг, потом ушла в милицию, страшно испуганная: а вдруг там спросят, почему у нее живет Сашка без прописки? А в баню я не пошел вот почему: я люблю туда ходить, когда дело совсем закончено, чтоб на душе было свободно, как в зале, а у меня такого ощущения не было. Я прошу меня понять правильно. То, что Секретарюк отныне исчез из "Сельэлектро" и вообще превратился в ничто, так он себя обгадил в глазах коллектива, было ясно как день. Даже комната, из которой Татьяна Степановна убрала его матрас, напоминала о его позоре каждую минуту. Но пустота на полу, где лежал матрас, обнаружила и таящую во мне надежду, связанную с Секретарюком, которую я затрудняюсь выразить словами не потому, что считал бы ее для себя какой-то постыдной, а просто по той причине, что, названная словами, она лишилась бы всегда свойственной ей и такой привлекательной в моих глазах таинственности и значительности. Если помните, Секретарюк мне рассказывал в свое время о случае на площади, когда по носку его ботинка проехала машина, в каком он был перед наездом состоянии и как вообще смотрит на эти вещи. Надеюсь, понятно, какого рода были мои ожидания? И ду-

маю, что цена, заплаченная мною за то, чтобы они осуществились, то есть Серафима и жизнь в столице, позволяет мне открыто их питать, не таясь в этом хотя бы перед собой, потому что, если только моя надежда осуществится, я смогу производить впечатление, которое заслуживаю, раздраконив этого анонимщика. И с гораздо меньшей охотой признался бы я в неудаче, постигшей меня в этой надежде, потому что неудачник — это уже не мужчина. Лучше что угодно, чем чтоб на тебя смотрели, как на тютю.

Тут приходит Люся, возвращается Ирина из милиции, появляется Ида, потом еще звонок: Аве Мария. “Вернули Сашке деньги?” — кричит Татьяна Степановна. “Вернули, вернули...” — очень недовольно, я бы сказал, пробормотала Ирина. “Слава Богу! Она такая, что могла бы сказать, будто это ее деньги, — шепнула мне Татьяна Степановна, и снова громко, — очень рада за него”. “А я вам безразлична? — чуть не плача, откликнулась Ирина. — Он мне здесь такого натворил, вы посмотрите! Сорвал с вешалки мое пальто и повесил рубашку”. “Почему же вы, такая разумница, сами не освободили ему вешалку? Вы хотите, чтоб он вам деньги за квартиру платил и в мятой рубашке ходил! А Татьяна Степановна чтоб открывала двери вашим квартирантам и еще морила клопов в вашей комнате!” (Правда, сам видел, как охала, чуть не ползала, но морила, когда Ирина на работе была, чтоб они в мою комнату не переползли. И седая Ирина, как нашалившая девчонка, ни слова, только с убитым видом при всеобщем молчании выбрасывала вещи из шкафа на тахту, а поверх вещей вытряхивала содержимое ящиков, а в них такая желтая заплесневелая дрянь, что не могу не добавить — мою бы жену сюда, хоть я слово дал не вспоминать о ней в Москве, — где бы оказалась Ирина вместе с баночками, со своими стекляшками, кружевцами, желтыми фотографиями, какими-то бумажками в помаде!..) “Проклятая карга! — вдруг ни с того ни с сего закричала Ирина Николаевна. — Это она искалечила мою жизнь. Ведь он же здесь был, сидел вот на этом месте, он же хотел остаться. Как я ее ненавижу! И его. Ее и его”. Да, тут было что послушать. Я умирал, так она разошлась. “Слушайте! — оглушительно кричала Татьяна Степановна. — Да послушайте! Какое вам дело до чужого мужика?..” “Он же здесь был, — надрывалась Ирина. — Он мне говорил “козявочка”. Мы с ним должны были назавтра в загс идти!” “Ну и что? — не унималась Татьяна Степановна. — Что с того, что он в этой комнате с вами переспал? Он мужик на то. А жена у него есть закон-

ная". — "На двадцать лет старше его! Карга. Старая, противная, невозможная". — "А ему она нравится!" — "Нет, он ее ненавидит!" — "У него есть сын". "Ой! — вскрикнула Ирина и схватила меня за пижаму. — Это ублюдок. Вот такой вот рот и такие зубы. Карга его прижила с кем-то, это не его. И я напишу. У меня есть его письма, и я их предъявлю, его могут заставить. Как, по-вашему, могут? — обратилась она ко мне. — Я обязательно должна с вами сегодня поговорить. Вы никуда не уходите?" "Сходите с ума сами, — вся налившись кровью, сказала Татьяна Степановна. — Сходитесь, расходитесь, судитесь. Черт вас не возьмет, вы здоровы, как лошади. А мне зачем ваши суды-пересуды?.." И скоро стало слышно, как в ее комнате затрещала раскладушка под тучным телом.

Пучеглазая Ида стала звать к себе сидеть на балконе и дышать воздухом с Чистых прудов, Люся взялась достать билеты в кино, а присмиревшая Ирина освободила место на тахте, побросав к стенке вещи, и вытащила из сумки карты. "Ну, — сказала она, — что мне теперь делать с Сашкой? И такой скупой. Я из-за него столько пережила сегодня, вы думаете, он догадается принести вино?" Тут зазвонил телефон, и я, и Аве Мария, с которой сегодня что-то такое творилось, во всяком случае, я не видел, чтоб она была как-то расположена ко мне, мы оба бросились к телефону, я, конечно, первый схватил трубку, но, даже не поднося к уху, тут же ей отдал. И вот знакомым жестом, наклонив голову с прижатой трубкой, Аве Мария послушала миг-другой, вдруг лицо ее выразило испуг, но она тут же улыбнулась: "Нет, это Борис три... Пожалуйста". "Из скорой помощи?" — спросил я. "Почти, — согласилась Аве Мария. — Вы слышали?" — "Нет. Я догадался". И интересно, что, возвращаясь в комнату Ирины, она обошла меня по окружности с радиусом примерно тысяча миллиметров, но я успел подставить ногу под дверь. "Ну и что вы хотели этим сказать? — равнодушно подняла на меня взгляд Аве Мария. — Или у вас дома это самый распространенный прием с девушкой?" "Ничего особенного сказать я не хочу", — прислонился я к двери. Она взялась за ручку и подергала ее для видимости. "Что ж, не надо, — пожалла плечами Аве Мария. — Я могу и уйти". "Я таких девушек не отпускаю". "Нет, серьезно, — обратилась ко мне Аве Мария, — не надо со мной таким тоном разговаривать. Хорошо?" "Подумаю, — сказал я. — Показать вам один фокус?" "Какой?" — "Мы сейчас незаметно исчезнем в "Валдай". — "А почему фокус?" — "А потому что

только что вы меня презирали, и вдруг все переменялось”. — “Во все я вас не презирала, во всяком случае не вас (уверен, что она говорила правду), и ничего не переменялось”. — “Доказать?” “Попробуйте... Нет, не надо! — ухватила за ручку двери Аве Мария. — Я хочу здесь остаться. Пожалуйста. Я верю, что может и перемениться. Но я не хочу. Пусть я останусь в своих глазах тем, кто я есть на самом деле. Скажите, имею я на это право?” — “А зачем оно вам вообще, все это дело? В своих глазах, в чужих глазах?” — “Вы ничего не знаете”. (Это я не знаю, слышали?) — “Допустим. Только начните опыт с завтрашнего дня. А сегодня считайте, что эта работа уже закончена”. Аве Мария закрыла глаза и с улыбкой покачала головой. “Я хочу, — сказала она медленно, по складам, — хоть раз настоять на своем”. “С завтрашнего утра”. У меня очень крепкие руки, а она боялась вертеть головой, чтобы не сломать хрупкие очки на проволочках. “Ну и что вы доказали? — сказала Аве Мария задыхаясь, и на один лишь миг я увидел очень злое выражение ее глаз. Но оно тут же исчезло. — Давайте так: ни по-вашему, ни по-моему. Сколько сейчас? Семи еще нет. Идемте быстренько в радиомагазин на Колхозную, я хочу подобрать ножки к моей радиоле. Поможете мне?”

Едва мы вышли на улицу, Аве Мария так хитро сбоку посмотрела на меня. “А ваш друг сегодня просился ко мне на квартиру”. Вот это была новость! А как она на меня подействовала, можно представить: если человек пытается подружиться с такой девочкой, он явно далек от состояния, когда подставляют себя машине. Ай да Секретарюк! “Я его повела к соседке и побежала на работу. Он как раз попал ко мне в обеденный перерыв”. — “А он устроился у соседки?” — “Вот не знаю! Я прямо с работы сюда. Ирина меня вызвала, очень волнуется”. Мы купили в магазине ножки для радиолы. “Поедем, наладим?” — предложил я. Аве Мария покачала головой: “Нет”. — “Ладно. Сегодня я исполнил ваше желание, запомните. Поедем заглянем к соседке. Заодно забросим покупку домой”. И вот что мы узнали: соседка комнаты Секретарюку не сдала, он оставил у нее свой чемодан и пошел искать квартиру в другое место. “Он еще не приходил”, — сказала соседка, было уже часов девять. Мы спустились по лестнице, и в этот момент я испытал необыкновенный прилив, меня залило радостью, я вспарился, и, как всегда, когда я чувствую гармонию с чем-то высшим, я оказываюсь наделенным сверхъестественной способностью знать и видеть то, что еще не произошло. В этом состоянии я сказал

Аве Марии, что мы сейчас снова подыдемся к соседке и заберем чемодан, потому что Секретарюк за ним не придет, и я стал ей вдруг все рассказывать, как будто находился в состоянии опьянения, но не совсем обычного. Я бы сказал так: только очень крупные исторические личности, даже холодок по коже, когда мысленно произносишь их имена, могли, да и то в состоянии удара, могли говорить вещи, какие услышала от меня в тот вечер Аве Мария на нижней площадке своего парадного. Ее всю трясло от возбуждения, так на нее подействовало мое состояние, а также услышанное, но я отлично помню, что в то время, как она безраздельно оказалась во власти исходящей от меня энергии, я сохранял, как это обычно со мной бывает, чувство реального, я бы сказал приземленного, низшего реального наряду с тем высшим и грандиозным, и не менее, а еще более реальным, которое и составляет объект предвидения. "Тогда немедленно едем к Ирине, туда позвонят!" — воскликнула Аве Мария. "Нет, — возразил я, — мы сейчас занесем чемодан к вам, а к полуночи сюда приедет Ирина и нас навестит". А теперь слушайте: так все оно и было. Ирина Николаевна ночью подбежала к окну и как сумасшедшая закричала, что только что позвонили из Склифосовского: Секретюк там. Секретюк его фамилия?.. Вот единственное, чего я не угадал, Ирина Николаевна нетвердо знала фамилию анонимщика.

Здесь я прервусь, чтобы перейти к одной истории со мной, в которой способности предвидеть я обязан тем, что живу и даже могу с вами, как говорят у нас на периферии, потрепаться от нечего делать о том, о сем. Дело было так. В сорок четвертом меня призвали и направили в летнюю школу в Сызрань под Куйбышевом. Этот город интересен тем, что там за пивом стоят с ведрами, целая очередь с ведрами, молочниками, чуть ли не с поливальниками выстраивается к вечеру у палаток в ожидании пива. Нам, госпитальным (в летной школе я вдруг заболел брюшным тифом, а потом меня вообще демобилизовали, война закончилась), давали без очереди, а два пятьдесят за литр в то время были не деньги (мы продавали свои пайки), и я скоро научился пить пиво сызранскими дозами. Моим партнером был Валентин из Куйбышева, красивый такой блондинистый парень, сын врача. Все это я помню, чего не помню, о том не говорю, и потому не могу спустя столько лет сказать, что в нем меня так сильно привлекало, наверно, как я сейчас себе представляю, те качества, которые толкну-

ли его на один нерядовой поступок. У него была тетка, которая часто приезжала к нему в госпиталь из Куйбышева. Врать не буду, я не помню, какая она, и какие были между ними отношения, и почему она приезжала, а не его родители. Незадолго до выписки он мне предлагает съездить в Куйбышев на воскресенье, у тетки переночевать, воскресенье провести в городе и рабочим поездом ночью вернуться в Сызрань, чтоб до обхода быть в госпитале. Тетка ему даже накануне одежду привезла, чтоб Валентин смог сбежать из госпиталя. Мне тоже одна сестричка добыла какую-то одежду (смутно, смутно все это помню, и, конечно, не помню, как ее звали), и мы сбежали. Дорогой Валентин поделился со мной непонятным планом: он в госпиталь не вернется, а поедет куда-нибудь на юг, в Крым, или же в Москву, или другое место, он еще не решил, и там будет жить. А деньги, спросил я. А он так неопределенно улыбнулся. И все. Но я сейчас закрою глаза и вижу, как он улыбается. Значит, что-то было, если это выражение лица запомнилось, может быть, я даже и раньше чувствовал в нем это, когда оно еще не обнаруживалось на его лице так явно, и оно привлекало меня. Очень возможно. Мы переночевали у тетки, потом навещали школьных знакомых Валентина, ходили по улицам, с кем-то познакомились, наверное были в кино. Вечером мы пошли гулять в парк, там у нас было свидание, мы разошлись, каждый со своей, и я вернулся в дом к его тетке один, без Валентина. Стучу, никто не откликается. (Тетка жила одна.) Толкаю дверь, не заперто. Я вошел в темную переднюю, оттуда дверь вела в комнату. В комнате тоже было темно, я приоткрыл дверь и почувствовал, что где-то рядом со мной стоит Валентин. Закрыл дверь, вышел, сел в поезд и вернулся в госпиталь. И с тех пор никогда больше не видел Валентина. Но я знаю так же, как то, что сейчас с вами разговариваю, что если бы замешкался, то получил бы от него чем-то по голове, скорее всего тем же, чем он до моего появления уксоскошил тетку. Почему я в этом уверен, спросите вы. Прямо ответить на этот вопрос нельзя, я приведу еще один пример, он все объяснит и, кстати, продолжит мой рассказ, прерванный появлением растрепанной Ирины в синем ночном Авемариинном окне. Разбуженный ею, я конечно далеко не находился в состоянии душевного подъема и весьма инертно слушал то Аве Марию, то Ирину, то обеих вместе, но испытывал несоизмеримое ни с чем облегчение, каждую мою минуту превращавшее в сплошное блаженство, оттого что исчезла угроза, которую нес с

собой Секретарюк, я могу сравнить свое состояние лишь с тем, какое испытываешь, если поплаваешь, а потом вылезешь на свою лодку и разляжешься под солнцем на корме, предварительно позавтракав. Закроешь глаза, и слышно, как скрипят чайки, подбирающие с воды остатки твоего завтрака, и (но это чудо, на таком расстоянии!) временами вроде смутный гул огромного пляжа. Естественно, что мне не хотелось из этого состояния выходить, такая меня лень вдруг разобрала. Но женщины торопили, и мы наконец поехали к Склифосовскому.

Сначала я долго блуждал по лабиринту каких-то плохо или совсем не освещенных коридоров, лестничных переходов, тупичков и вдруг остановился как вкопанный на месте, хотя только что двигался крупным шагом по лестнице, даже переступая через ступеньку, чтобы поскорее разыскать дежурного врача, узнать, в каком состоянии Секретарюк, рассказать ожидающим на улице Аве Марии и Ирине (их не пустили со мной) обо всем и наконец завалиться в постель. И вдруг стоп, и ни с места. Стал осматриваться по сторонам. Ничего особенного, просто я попал на какой-то черный или служебный ход, к тому же его ремонтировали, лестница и площадки на втором и третьем этажах были завалены кирпичом, досками, мешками с цементом, стояли прислоненные к стенке брезентовые носилки, а площадка, от которой меня отделяла одна ступенька, была загромождена чем-то, чего я не разглядел, потому что здесь уж почти совсем было темно, поскольку слабый свет из коридора третьего этажа сюда, на четвертый, уж совсем не проникал. Если я скажу, что остановился, почуввав какой-то подвох в неосвещенной последней площадке, то это будет неправдой. Я не пошел дальше потому, что вдруг всем своим существом почувствовал логичность такой связи, когда вслед за несчастьем с Секретарюком происходит нелепый случай с главным инженером той же областной конторы "Сельэлектро". Эта последовательность представлялась мне настолько естественной и даже необходимой, что я был бы удивлен, если бы не нашел ее подтверждение сейчас же, как говорится, не сходя с места, и в этот же миг я ее увидел. Верхней площадки, на которую я собирался ступить, просто не существовало, и спустившись на один этаж вниз, я разглядел над собой несколько торчащих из стены швеллеров, к которым был приварен лестничный марш. И все. Надеюсь, ясно?

О Секретарюке мне дали справку: он был сбит самосвалом у Киевского вокзала, состояние тяжелое, но для особых опасений оснований пока нет, подробней узнаете завтра в клинике у врача. Мы вышли на улицу и стали ловить такси у пульта вызова. Я посадил Аве Марию и Ирину в такси (кстати, они тоже, когда узнали о швеллерах вместо площадки, считали, что я непременно должен был ступить на эту площадку и свалиться вниз), Ирина ехала ночевать к Аве Марии, потому что Сашка снова выселил ее из комнаты. Мне открыла дверь приятельница Татьяны Степановны. Выяснилось, что с моей хозяйкой ночью стало плохо и некому было даже подать ей стакан воды запить лекарство, Сашка заперся с кем-то и знать ничего не хочет, слава Богу, что Таня кое-как докарабкалась до телефона и вызвала меня, лепетала старушка. И вдруг я спросил себя: что мне здесь делать? Выходило, что лучше всего было бы вернуться в гостиницу. И даже флигелек против окна не произвел на меня обычного действия, захотелось почему-то отсюда подальше. Но утром незаметно все снова вошло в свою колею. Татьяна Степановна пришла в себя и даже умудрилась приготовить завтрак, а я заказал разговор с управляющим, потом поехал на семинар, в общем дела меня гоняли по городу весь день в самую жару, а я был в костюме, при галстукке, все как полагается, и, вернувшись домой, первым делом принял ванну, а потом уже пошел к Ирине, у нее были Люся, Аве Мария и Ида пучеглазая, и все они набросились на меня: что с Секретарюком? Будет жить, успокоил я дам, но я бы сказал, что не меньшее впечатление произвело на всех собравшихся мое чудесное спасение на лестнице приемного покоя (или, пожалуй, это было на скорой помощи?), Ирина тут же заявила, что она тоже верит, верит в чудо, и у нее еще с Затынским все может наладиться. Если бы только я смог прийти к нему под видом какого-нибудь знакомого, мы еще с вами это продумаем, ухватилась за меня Ирина, и, главное, "карга" не догадается, откуда вы, никогда ей в голову не придет, а вы, я уверена, сможете на него повлиять. А если он не согласится, так вы скажите, что произойдет большой скандал, потому что о предстоящей свадьбе была уже извещена тетка в Париже ("ведь это ее свадебный подарок, — беспомощно посмотрела на меня Ирина, — простыни и комбинация, которые испоганила Сашкина девка") и все знакомые, у меня есть очень видные знакомые, Сережка, например ("Вы его не знаете, это такая умница, работает в министерстве иностранных дел"), может быть даже диплома-

тический скандал из-за тетки, пусть не дипломатический, я не могу найти подходящего слова, но, во всяком случае, это для нас будет не очень красиво, если там газеты напишут о моей страшной судьбе. Ведь я же, знаете, чья племянница?.. Вам Татьяна Степановна ничего не говорила?.. Я еле от Ирины отвязался. Главное, даже подружки весьма скептически смотрят на ее попытки вернуть Затынского, потому что, бывая здесь, Затынский убедился, какая из Ирины хозяйка. А он привык, чтобы за ним присматривали, и чтоб было чисто, и вовремя обед. Даже речи не может быть, сказала мне Люся в коридоре. Постарайтесь ее как-нибудь переубедить, еще одного разочарования она не перенесет. Ох, эти дамочки! Я боюсь, что они просто завидовали подруге. Но ножки у этой Люси были действительно впечатляющие, ради таких ножек я готов был убедить Ирину в чем угодно, если это могло что-то изменить. Но я чувствовал, что эта гонористая дамочка не может мне простить, во-первых, Аве Марии, а во-вторых, я тоже не люблю, когда ставят себя выше кого-то, мол, только у них на производстве проводится реформа по-настоящему. Но в особенности завидовала Ирине Ида, она даже пыталась мне подморгнуть из-за спины Ирины Николаевны и всячески пожимала плечами, демонстрируя свое отношение к усиленным Ирининым просьбам поговорить с Затынским.

Тут раздался звонок междугороднего и состоялся мой разговор с Григорием Павловичем. Управляющий воспринял случившееся с Секретарюком без удивления, но довольно нерешительно спросил: "Что ж, будем сообщать жене, чтоб ехала?.." Зачем мне была Кланя в Москве? Обязательно она будет просить устроить ее где-нибудь, достать лекарства, привести консультанта. Клиника Склифосовского такая, что там дадут все сами. Я высказался за то, чтоб еще немножко подождать, пока положение больного не прояснится.

После разговора я спасаюсь от Ирины бегством в свою комнату, вдруг слышу неуверенный стук в дверь, и Аве Мария появляется с такой вестью: "Я вам вчера не сказала, Секретарюк оставил у меня общую тетрадку, когда пришел просить, чтоб я устроила его на квартиру. И теперь, после всего, что произошло, я просто считаю, что это счастье, что я не отдала ее вам. Троньте, как у меня сердце колотится!.." И глаза блестят. "Что это, дневник его? — удивился я. — Или конспекты семинара? Что он там настрочил?" И только я это сказал, как сразу же подумал, — что-то

такое у него обязательно должно было быть. “Давай сюда, — стал я на нее нажимать. — Зачем он тебе?” И тут эта стервочка, складывающая на квартиру с кого сколько придется, начинает прикидываться совсем не такой. Она закатывает глаза, блаженно улыбается и молча отрицательно качает головой. “Зачем он тебе отдал?” — повторяю. “Он мне ничего не давал. Просто тетрадка торчала из кармана плаща, который он оставил у соседки вместе с чемоданом, пока не найдет квартиру. Сказал, что на улице жарко и он запарился. Но я уверена, что и эта тетрадка, и несчастный случай с ним...” — “Ты читала, что там написано?” — “Нет”. — “Так что ты бормочешь?” “Ни за что не отдам”, — вздохнула она. “Ну и береги, как писаную торбу. Через две недели он сам у тебя заберет”. И что-то такое произошло со мной, что я на эту Аве Марию с того момента просто смотреть уже не мог. После того, что было у нас вчера, и она мне даже не заикнулась об этой тетради (на которую мне, по правде говоря, плевать с высокого забора, как на самого Секретарюка). Как же так, ты со мной лежишь, и ты же мне готова подставлять подножку и отлично это сознаешь, потому что иначе не пришла бы ко мне признаваться, да еще с таким видом, как будто подвиг совершила, спрятав тетрадь. Вот люди! И захотелось мне выпить стакан вина. Можно меня понять? Но прежде, чем уйти, я пригласил Аве Марию в переднюю, вложил ей в руку телефонную трубку и попросил произнести несколько слов. “Что ты смотришь на меня? Скажи, что придет в голову, все равно тебя никто не слышит, номер я не набирал”. Хотел еще раз увидеть, как она говорит по телефону. Когда она наклоняет голову (такая ее привычка говорить по телефону), волосы закрывают ее лицо от посторонних, как будто она создает для себя портативную телефонную кабину. Эта ее привычка мне еще когда пришла по душе. “Я тебя не обидел?” — спросил я Аве Марию. “Нет”, — сказала она очень звонким голосом. “Ну, и в расчете”.

Я пошел на Горького, там поужинал и взял билет на последний сеанс в “Метрополь”. Прихожу я домой, там те же: Аве Мария, Люся, еще прибавился мой друг юрист, у которого я отбил очкастенькую. Но вот какой он человек: подходит ко мне и спрашивает, что это я затеял с Секретарюком? И тут вдруг появляется знаете кто? Студент. И Аве Мария бросается к нему прямо как немножко того, как будто ей без студента и часу не прожить. “А вы знаете, зачем она студента позвала к Ирине?” — спросил юрист. “Не знаю”. “Попробуйте мыслить”, — говорит юрист. “Органи-

зовать общественную чистку тетради Секретарюка, да?" — спрашиваю. У юриста глаза стали круглые-круглые, еще круглее, чем были, как вставные, и аккуратно остриженный чубчик на лбу, ни дать ни взять школьник в момент постижения удивительного закона по какому-то предмету, до того я ошеломил его своей способностью мыслить. "И все-таки вы оптимист, — сказал он, — потому что одним из слушателей будет угадайте кто?" "Пухтеев", — выпалил я и расхохотался, как только я умею.

За время нашего разговора Аве Мария со своим студентом торопливо удалились из комнаты, и, конечно, я даже не услышал, как за ними захлопнулась парадная дверь. "Все ясно наконец?" — услышал я вопрос юриста. "И раньше было". — "Будете догонять их?"—"С какой стати? Я этому Секретарюку кто, ответственный за культурно-бытовой сектор месткома? Зачем он мне сдался?" И вот юрист долго смотрит на меня, протягивает на прощанье руку и на цыпочках, в знак величайшего уважения, удаляется. Уважения. — расшифровываю я для тех, кто еще не понял адвоката, — к моей смелости. Может быть, мне и не следовало бы объяснять причину такого отношения к очевидной опасности, грозящей мне со стороны тех, кто куда-то потащил писаную торбу Секретарюка (а что, если на самом деле к Пухтееву?), но я обосновываю его тем, что уже видал этих горлопанов и по их анонимкам не раз писал объяснения в соответствующие учреждения. У меня есть опыт. Но дело даже не в опыте. А меня зло разбирает, когда приходится сталкиваться с непомерными претензиями таких, как Секретарюк или кто-либо другой, потому что, когда я читаю пересланную к нам в "Сельэлектро" жалобу, я вижу его насквозь. Не на то ты жалуешься, что составляют якобы фиктивный акт на сорванные ледяной бурей провода длиной столько-то сот или тысяч метров, а на то, что эти акты составляют помимо тебя. Поймите меня правильно: я никогда не считал, что, скажем, Секретарюк хочет получить долю за электропроводку, смонтированную якобы взамен сорванной, а на самом деле проданной, как он утверждает, колхозу, которому она по-зарез нужна. Так я не считаю. Секретарюк не возьмет. Тогда зачем он пишет, спросите вы. Хочет играть роль. Не беда, если для этого у человека нет нужных данных, он пытается их отсутствие возместить наглостью, вот такими штучками, анонимками, а теперь каким-то дневником, представляющим, как я уверен, те же анонимки, только теперь автор не прячется за пустое место,

оставляемое для подписи. Не прячется потому, что хочет перед своим логическим концом опять же прославиться, играть роль при помощи никакого там к чертям, как их называют по-модному, дневника, а правильнее будет назвать его, как называю я, Большой Анонимки. И все. Больше нечего тут искать, и потому я, рискуя даже уронить свой авторитет, признаю, что никакой смелости не требовалось от меня для того, чтобы отмахнуться от Большой Анонимки и завалиться спать. А отдых я у себя заслужил, хоть и не пытался представить воочию моего коллегу в бинтах на больничной койке. В палату меня к нему не пустили, не такое у пострадавшего состояние, говорят, чтоб разрешать посещения, но вообразить Секретарюка в его состоянии мне ничего не стоило, достаточно было к любому из нескольких пострадавших при авариях монтеров, которых мне по долгу службы приходилось навещать в больницах, к любому из них приставить голову Секретарюка, даже не голову, а нечто из бинтов, ваты и щелей для глаз и чтоб дышать, и получится мой коллега. А я этого не хотел делать, тут нужно было маленькое усилие, самое что ни на есть незначительное, и я увидел бы Секретарюка в новом положении, и вот мне удалось не сделать этого усилия, и Секретарюк являлся передо мной, каким он был еще недавно, нормальной внешности, а монтер — на больничной койке, при смерти, и мне удалось не соединить эти два образа вместе. А потом я постарался переключиться на другой объект и очень рад, что хоть в своем воображении не обрек этого дурня на адские муки. Более того, я испытывал довольно приятное, хотя и явно невеселое чувство, когда подводится итог хорошему шматку жизни. Итог весомый, ничего не скажешь, стоило стараться, а все же не так уж весело, как можно было бы ожидать. Все потому, как говорил батя, что едешь уже с ярмарки, а не на ярмарку. А на ярмарку мы ехали с Секретарюком вместе, можно сказать, я вез его на своей телеге. А он чем мне ответил!.. Переходил бы себе на инвалидность без лишнего шума, так он под конец Большую Анонимку запустил в меня. И я предстал перед следователем. Не в ту ночь, о которой только что рассказал, тогда я преспокойно заснул без задних ног, так мне было хорошо на душе (на причине этого моего состояния я уже останавливался), а дня через три.

На повестке было указано, чтоб я явился и когда, повестку мне передала Татьяна Степановна, но самое интересное, что срок явки был накануне. "Хозяйка не передала, и все!" — так я решил

ответить следователю. Но я еще не все сказал. В тот же вечер Татьяна Степановна с таким явным сочувствием ко мне передавала мою историю какой-то своей подруге, с которой сидела перед окошком в палисаднике и пила чай (я никуда по вызову не пошел и все в своей комнате слышал), что меня просто-таки разморило, как будто я в бане стоял под горячим душем. Ирина Николаевна, когда я попозже зашел к ней, мне объявила, что после всего этого она не может видеть Аве Марию, Ида звала к себе на балкон с видом на Чистые пруды посидеть, подышать свежим воздухом, вообще поскорее успокоиться и прийти в себя после "этих людей". (Ничего не выдумываю, ее слова.) Одна Люся не могла мне простить Аве Марию и потому по-старому прохладно отнеслась к моим бедам. (А мне, скажу откровенно, от этого не холодно, не жарко!) Мне кое-что предстояло проделать по своим делам, я два вечера был занят, приходил далеко за полночь, наутро обнаруживаю на телефонном столике новую повестку. И на этот раз не пошел. Почему? Даже затрудняюсь ответить, просто как-то не захотелось, мысленно, по настроению, я в тот день был очень далек от всей этой истории. А вот когда пришла третья повестка, я с готовностью отправился, сейчас объясню почему. Я должен был узнать, как повел себя у следователя Сашка (его тоже звали, вот что). Сашку я стал подозревать в нелояльности, даже не знаю конкретно почему, тут у меня есть чутье, и я чутью верю, оно меня не подводило. Было вот как. Сашка прибыл, как всегда, утром, замок на двери к Ирине Николаевне так и стоял поломанный, комната теперь закрывалась на внутренний, к которому подходил любой ключ, даже если постучать по нему, он тоже открывался. Так оно и было, ключ Ирина куда-то дела, и я, чтоб впустить Сашку, стукнул кулаком как следует, и Сашка вошел. Иначе он уже разошелся и хотел дверь высаживать. "Вечно у него замок не в порядке!" Но это произошло чуть попозже Сашкиного появления в квартире, а прибыл он в сопровождении стражей, те сразу ушли в кухню грызть огурцы. И вот когда я встретился с Сашкой в коридоре и помогал попасть в комнату, я заметил, что Сашка со мной какой-то не такой, каким был, почувствовал, что он злится. Все это было очень недолго, потому что Сашка тут же ушел, он только спросил, звонил ли ему Аня, и расцвел, как майская роза, и как будто бы все хорошо. "Как дела? — даже спросил он меня. — Ну, я пошел!" Так что вроде совсем хорошо. На другое утро Ирина мне звонит. "Вы знаете, что Аве Мария вчера говорила

с Сашкой? Я не знаю о чем. Я как раз вечером заехала домой за халатом, я живу у Люси, вы знаете, Сашка был дома, приезжает Аве Мария, Сашка принес вина, и она о чем-то с ним толковала, я ушла, а они остались". "А вы не могли узнать? — спрашиваю я с упреком. (Смех меня разбирает, все дело не стоит выеденного яйца, но делаю вид, что Ириныны известия меня страшно тревожат.) — Не могли подслушать?" И вот, замечаю, Ирина начинает волноваться, потому что опасается, как бы я не перерешил идти к Затынскому по ее делу. И когда у нее уж совсем чуть ли глаза на лоб не полезли в тщетной попытке убедить меня в своей преданности и старании (такой, конечно, я воображал себе ее, ведь разговор шел по телефону), я Ирину огорошил: "После следователя пойду к вашему хахалю!" Она до смерти обрадовалась, а мне почему не сходить, это интересно, к тому же все равно делать нечего, в театр у меня билет лишь на завтра. И потом у меня была еще одна идея с этим Затынским. Но идея уже так, на всякий случай, если будет подходящее настроение, без настроения такие вещи не получаются. Это я для непосвященных говорю "настроение", на самом деле речь идет о той же гармонии. Надо хоть раз испытать необыкновенное ощущение парения над обстоятельствами, над людьми, чтобы совершать такие поступки, как добровольный привод к следователю, а ведь я и на это пошел. Добровольный привод — не обмолвка, не погрешность моей речи, а намеренный термин, который, может быть, отсутствует в юриспруденции, но как нельзя лучше подходит к обрисовке моего намерения отдать себя в руки работников Пухтеева лишь после максимального приложения сил с их стороны. Уходить от них я не собирался, но должен признаться, мне не чужда потребность время от времени получать материальное подтверждение в заинтересованности окружающих во мне, в той или иной форме и по любому поводу, для меня повод не имеет значения, важно, что я им нужен.

Добровольный привод состоялся так: я сидел вечером дома и ждал (я знал, что после третьей повестки обычно приезжают), действительно, звонок, входят Пухтеев и молодой милиционер. Я начинаю возмущаться бесконечными повестками, нервотрепкой, говорю, чтобы с меня снимали допрос здесь, если эта абсурдная история еще кому-то кажется незаконченной (это я в Пухтеева, хорошего такого хлопца, Татьяна Степановна мне говорила, что он на их участке давно, но хочет куда-то перевестись), Пухтеев же камнем стоит на своем, и так час, если не больше, идет торг. Потом

я категорически отказываюсь садиться в коляску мотоцикла, Пухтеев отправляет мотоцикл в отделение за машиной, еще час уходит на ожидание, все машины в разгоне, наконец даже я теряю терпение и предлагаю ехать в трамвае. Так мы попали в 66-е. Я не буду останавливаться на всех деталях допроса, о котором я Пухтееву так и сказал: "Велька хмара — малый дождь", а причину допроса Пухтеев мне сообщил, едва уселся за свой стол: заявление Аве Марии, уверяющей, будто я преднамеренно довел Секретарюка до покушения на самоубийство. Она писала, что не в состоянии молчать после того, как прочитала тетрадь, то есть Большую Анонимку (а мне соврала, не читала, мол), и требует тщательного расследования. (Ручаюсь, заявление писал мой враг студент!) Вопрос такой, обратился я к Пухтееву, мало ли что она может утверждать или Секретарюк писать. Может быть, его тетрадь — это литературный дневник? И вообще, может быть, она же сама это написала, вы уверены, что это почерк Секретарюка? Или это вообще клевета, вся его тетрадь, если даже подтвердится авторство Секретарюка, у нас были с ним стычки по работе. Каждый из вопросов делал для моего участкового службу в милиции еще более мутной, но он добросовестно старался выполнить свой долг, это я могу подтвердить при свидетелях. Судя по вопросам, которые интересовали Пухтеева, я мог сделать для себя заключение, что они мне все вместе взятые соли на хвост насыпят, даже если Сашка не будет лоялен, а лояльность со всех сторон в его интересах. Но пусть так, мало ли что бывает, допускаю, что он станет топить самого себя. Вот и пусть топит и окажется в дурнях, а доказать ничего нельзя, в особенности нельзя доказать, что я Секретарюка довел преднамеренно, наоборот, ему тошно стало из-за своего характера. Я подписал протокол допроса и пошел к Затынскому. Может быть, мне показалось, но, когда я выходил из отделения, у дома стоял студент, однако тотчас вбежал внутрь. Допустим, я ошибся, а лучше бы нет. Пошли дальше. Я звоню, открывает мне дверь очень высокий старый человек в пижаме. Едва я произнес имя Ирины Николаевны, как он с раздражением меня перебил. Дед, буду его так называть, оказывается, много раз просил оставить его в покое, он пенсионер, у него семья, я об этой шантажистке слышать не хочу, возмущается он. Тут на шум появляется очень аккуратная старушка с изумительными зубами, мило кивает мне, это "карга" — мысленно напоминаю я себе, а дед разошелся еще больше. Тут выскакивает какой-то хлопец, а

это "ублюдок" — приходит мне в голову. Я как дурак извиняюсь, говорю, что человек я совсем посторонний, просто меня попросили повидать вас, я и позвонил. "Так для этого существует телефон!" — рявкнул дед, страшно дряхлый, видимо, потому что "карга" и "ублюдок", возмущенные моим вторжением, вместо того, чтобы обрушиться на меня, принялись успокаивать деда ("карга" полезла к нему в карман пижамы за лекарством, повторяя: "Успокойся, успокойся, где он у тебя, здесь?.."), а хлопец, по виду на Юрася смахивает, хлопнул дверью перед самым моим носом, он мог бы и полезть на меня с кулаками, но не хотел волновать деда. О чем я размышлял, когда возвращался домой? А о том, как эти люди, над которыми я парю, взять хотя бы Ирину, ох, и непроходимы же они! Ну подумать только, месяцами, да что месяцами, если верить Татьяне Степановне, — годами живет Ирина надеждой на эту мумию, изводит на это мечты, переживания, гадалок (кстати, не забыть, в воскресенье едем в Загорск гадать), уйму нервов, денег, слез, да и это не все, я сам видел, в каком иступлении Ирина кляла "каргу" и "ублюдка", а ведь все чепуха, все сама выдумала, как Аве Мария писаную торбу Секретарюка. И носится с его письмами, как Аве Мария, точь-в-точь. И втягивает в это пустое никудышное дело десятки людей, а они идут на это. Вот я же пошел к Затынскому, хоть с самого начала знал, что Ирина все сконструировала, и возятся, и возятся, а дела никакого нет и не было, не только дела, вообще ничего нет, все они выдумали, потому что такие люди не в состоянии чего-то добиться.

Так я считал, вношу поправочку, пока не поехал в Загорск с дамами, где мне пришлось пересмотреть свое мнение. На этой поездке и впечатлении, произведенном ею, я несколько задержусь, все равно делать мне в субботу и воскресенье нечего, в театре "Современник" я уже был, смотрел одну вещь (об этом потом, если к месту придется), довольно интересную, и думаю, что я был одним из немногих в зале, оценивших ее совсем с другой, незаметной вроде бы стороны, а очень хитрой и мне хорошо известной, даже близкой. Это потом, а сейчас "Загорск, Загорск, Загорск!" — шпарит электричка, весело становится, так посвистывает, и мои дамы, которых я рассадил на двух скамьях, лицом к лицу, все передо мной: Люся, Ида, Ирина Николаевна, еще их знакомые, завмаг "Гастронома", та вообще сияние, одна из Большого театра, и все для меня, потому что я единственный мужчина в этом обществе, и в своей нейлоновой белой плетенке, а загорел

я прилично, соображаете, как выглядел среди белесых москвичей. К тому же учтите, что я стоял, а не сидел, и виден был с любого конца вагона. Но я не о том. В общем, я не жалею, что съездил в Загорск, хотя коллективное посещение гадалки не состоялось, к ней вошли Ирина и Люся, через минуту они выходят, о чем-то шушукуются с дамами, а мне объявляют, что сеанс переносится на следующее воскресенье. Мы пошли в монастырь и попали на службу, я выстоял ее всю, от, как говорится, и до, а это часа три, мои спутницы уходили отдыхать, гулять, потом снова пришли, а я все стоял, слушал, смотрел и мечтал: если бы со мной была Серафима! В течение всей службы одно ее лицо видел я, куда бы ни поглядел: на монахов, на владыку, на стены и потолки, испитые сценами, на вспотевшие от пения лица монахов, изо всех сил вытягивающих ноту, — я думал о том, что Серафима должна была бы это увидеть, стоя здесь, рядом со мной, и надо было сюда ее привезти, и тогда все было бы по-другому. Она бы не забыла этих часов никогда. Мы уже с вами немножко знакомы, правда, так вот всю дорогу в электричке от Загорска до Москвы я молчал, только делал вид, что слушаю дам, похоже это на меня? Вот что означает для меня Серафима, а узнал я об этом только во время службы, и с этим выводом вернулся на Сретенку к Татьяне Степановне. Теперь я снова возвращаюсь к делу Секретарюка. Тут такие новости. Во-первых, Аве Мария дежурит у него, взяла отпуск и сидит у Склифосовского, а самому Секретарюку лучше, и он передал мне через Аве Марию, чтоб я ни в коем случае ничего не писал Клане. Больше он ничего не велел передать, спросил я Аве Марию. Нет, ему трудно говорить, вы думаете, он может так болтать, как мы с вами. Хорошо, перебил я ее, а то она слишком что-то уж разошлась, я вас понял, спрошу иначе. Он знает, что ты (так я и стал ей "тыкать", такой стерве) сделала с его тетрадь? Ну, так имей в виду, если это без его ведома, тебе придется вместе со своим другом отвечать по соответствующей статье, и я назвал эту статью, специально поинтересовался. Тебе рисковать особенно нечем, только сроком, а вот ему придется распрощаться и с институтом, институт его я тоже буду знать, не волнуйся. А вообще, сказал я, ты уже понимала, что собираешься делать, когда мы забрали чемодан Секретарюка у твоей соседки и пришли к тебе? И поскольку Аве Мария долго не отвечала, я спросил, слышит ли она меня. Да, слышу, подтвердила она неохотно, вы, конечно, можете меня считать кем угодно. А ваш сотрудник об

этом знает, я ему все сказала. Теперь уже я ничего не отвечал и наконец услышал, как она повесила трубку.

Я растянулся на кровати, а в голову опять лезут монахи, снимающие с потных лбов черные клобуки (так, кажется, называются высокие их шапки с накидкой) и передающие их друг другу, когда наступала очередь выходить к аналою, и тоненькие свечки (бизнес!), как кукурузные сладкие палочки, и вся эта чепуховина на стенах, и студенты в пиджаках на клиросе (тоже подрабатывают к стипендии), а все-таки очень хорошо и приятно. Снаружи монастырские строения чистые-чистые, беленькие такие, скамьи зеленые, на асфальтовых дорожках ни соринки, это тебе не наши улицы с окурками и обертками. И тихо так всюду, тихо-тихо, только шаги где-то за деревьями и едва слышные теряющиеся голоса. И вот я вижу деда Затынского, высокого, как палка, одного, в белом костюме, с газетой. Ирина Николаевна, узнаете, говорю. "Ой!.." — срывается Ирина с места, и с ходу ему на шею, видели бы сцену. Затынский едва удержался на ногах. Дамы вокруг заклокотали, как квочки. "Ну, — торжественно обратилась ко мне балерина из Большого театра, — есть судьба или нет?!" И мы вернулись в Москву без Ирины. А среди ночи она врывается ко мне, говорит, что едва успела на последнюю электричку, и еще два слова: "Был интим". "И всем этим, всем моим счастьем я обязана вам! — чуть не на колени становится Ирина перед моей кроватью. — Вы столько для меня сделали! И как умно, как тонко и деликатно вы устроили это свидание. А я уж после вашего разговора с Затынским думала, что все кончено и надо ему мстить, мстить, мстить. Я ваша должница по гроб, я все для вас готова сделать. Я поговорю с Аве Марией, а Сашку, если хотите, я отправлю из комнаты, я и так из-за него больше теряю. Вы знаете, что они хотят вам сделать? Да? Ну, какие люди! Но Аве Марию я отговорю, клянусь вам. Я на нее еще имею влияние, когда-то эта девочка вообще делала все, что я захочу. Теперь она на меня обижена, но я постараюсь". "Не надо, — сказал я. — А сделайте лучше вот что...". И я дал ей одно задание, которое лучше Ирины не мог бы выполнить никто, даже я. Она должна была повидать одну девушку и поговорить с ней, я сказал о чем, в общем, постараться повлиять на нее в мою пользу. "Конечно, конечно! — воскликнула Ирина. — Ой, я все завтра же сделаю. Уйду пораньше с работы, черт с ней, как она меня измучила, эта работа, вечно выговоры, скажу, что срочно нужно к врачу, и поеду в Марьину рощу. Но вы не сердитесь на меня за то, что я вас раз-

будила?.. Я только умоляю вас, еще одну минутку, погадайте мне, я сейчас принесу карты, как у меня дальше, что у меня дальше будет с Затынским, ладно?.. Ой, вы гений, спасибо, бегу за картами!..” Татьяна Степановна утром только руками развела (она уже все знала, Ирина и ей, оказывается, спать не дала). “Это черт, говорю вам, а не Ирина! Слушайте, ведь она его в могилу сведет. Она его не оставит в покое, пока с ним что-нибудь не случится. Вот черт!” “Татьяна Степановна, — сказал тут я, — Ирина Николаевна еще не рассчиталась с вами за вентканал? Так вот вам трешка, это чтоб вы не расстраивались, я не хочу, чтоб вы волновались из-за неоплаченного долга соседки, об этом нашем секрете мы ей не скажем, а с нее вы постарайтесь получить само собой. Но уже без волнений, потому что вы ничего не теряете, даже если Ирина и не отдаст”. Я сделал это просто потому, что такая фантазия пришла мне в голову, но потом уже пожалел, так разошлась моя хозяйка при напоминании о скарденности Ирины. Вмиг она забыла, что трешка за вентканал уже у нее в кармашке передника, и пошла, и пошла, а я себе налил кофе в это время, ветчинки положил, огурчик, как я привык, ем и слушаю, а сам подумал знаете о чем? Что и цирк со стороны хозяйки, и Иринины хлопоты, и даже перспектива суда не больше, как развлечение для меня, хочу — буду смотреть дальше, захочу — организую какое-то другое занятие, еще интереснее, все это, как у нас говорят, мне “до пуговицы”. И я потому пошел вечером снова к Пухтееву, а оттуда (было еще светло) по Горького до Белорусского, зашел уже было в ресторан, но тут вспоминаю, что давно не заглядывал на главпочтамт, взял такси и газанул на Кировскую, и точно — два письма. Одно от Клани, это шедевр. Чтоб я не принимал близко к сердцу, если Секретарюк будет говорить не то. Ты же знаешь его, писала жена Секретарюка, у него очень неровный характер, и даже нам с сыном с ним нелегко, хоть он безусловно нам предан. Ты по каким-то случайным вещам не суди о его отношении к тебе, что бы у вас ни случилось по работе, у него это быстро проходит. Потом Клания писала, что была у нас, жена дала ей совет написать до востребования, тогда письмо не попадет Секретарюку в руки, “он мой почерк сразу узнает”. Сын твой просто Геркулес, я не видела его лет пять, если не больше, и никогда не сказала бы, что это тот самый Юрочка, которого когда-то брала с собой на пляж, так он преобразился. В общем, стареем, стареем. И приписка: будь умнее моего дурня и не обижайся. Письмо Клани я мог бы отнести Секретарюку

в клинику, даже еще лучше, передать ему это письмо через Аве Марию. И все, Большой Анонимке конец, он ее заберет у Пухтеева. Мне хотелось так поступить, потому что, как ни говори, а следствие это не сахар. И тогда я сказал себе, даже не сказал, а почувствовал: нет, это невозможно. И больше скажу. Мне ничего не стоило вызвать сейчас Кланю в Москву, и у очкастенькой наверняка бы все расстроилось, Кланя бы ее к мужу и близко не подпустила. Но нет, подождем суда.

За перегородкой Сашка бесновался со своей Аней, я только попросил его на минутку в коридор и спросил, не вызывал ли его Пухтеев. "Нет, — удивился Сашка, — больше не вызывал". "Ага", — согласился я, и он ушел, но вдруг вернулся и взял меня за руку. "Но я тебе вот что скажу. Если б я знал, что такое получится с этим твоим другом, я бы ны за что не согласился. Нэужэли тебе человэка нэ жалко? Это жэ все-такы нэ муха, а человек. С рукамы, с ногамы. Ему жэ больно". "А мухэ, по-твоему, не больно?" — спросил я Сашку и ушел к себе. А он тык, мык и так ничего и не мог ответить. Утром перед семинаром только заставил себя (хай ему!) зайти в Склифосовского, чтоб уж все по-джентльменски, и сказал Аве Марии, что писать Секретарюку домой ничего не буду, пусть не беспокоится, так и передай.

Эти холуи главинжа решили, видимо, меня доконать, и прежде всего так называемая Аве Мария, которой я отказываю в праве носить в качестве имени такое приятное словосочетание, неизменно воскрешающее перед внутренней памятью нечто невыразимо чистое, высокое, нежное, струящийся в сладких звуках символ добродетели. Исчадие, оно хитрее и тоньше всех меня мучит. Я велел привести ко мне главинжа, просто велел, но она отказалась, пользуясь моей беспомощностью, и тогда я сказал, что не открою глаза до тех пор, пока она не уйдет. "Мне нужно его видеть!" — закричал я. Пусть он снимет с меня пластмассу, под которой плавятся от страшной московской жары мое мясо и кожа и превращаются в слипшийся ком. И я буду молчать, как молчал три века назад на аутодафе генерала Игнация. Но она ему ничего не передала, да еще соврала, сказала, будто он отказался, опаздывает на семинар. Когда пришли врачи (так называемые врачи, я ведь знаю, что они тут же побегут ему доносить, но я молчу, пусть думают, что я не понимаю, что нахожусь в кладовке главинжа), я демонстративно молчал в ответ на их расспросы. Завтрак, и обед, конечно,

и ужин, эти недоедки со стола главинжа я категорически отказываюсь принимать внутрь, и горд тем, что ни крошкой у него не одолжился за все время заточения в этой кладовой, освещенной окошком, пробитым на большой высоте и, уверен, накануне моего появления здесь. Одного я не пойму: как он сумел выхватить меня из-под колеса извозчика и припрятать? Ведь должна же была действовать скорая помощь, наконец, милиция обязана была составить акт. И вот среди белого дня жулик главинж похищает в центре города беспомощного человека, прячет в свою кладовую и пропускает через валки стиральной машины. Мысленно, когда расстояние между валками холуи главинжа чуточку увеличивали и так называемая процедура заканчивалась, я, едва переведя дыхание, мысленно составлял заявление на имя начальника милиции и министра здравоохранения, которых ставил в известность о грубом нарушении их подчиненными существующих правил и норм подбора пострадавших с улицы, а может быть (такую линию я избрал, подпускать намек), а может быть, имело место нечто другое, может быть, не желая обременять себя лишними заботами, подчиненные с радостью переложили эти заботы на весьма представительного прохожего, как бы случайно оказавшегося на месте происшествия и с рвением, изблещившим всяческую заинтересованность в помощи пострадавшему, подлинный альтруизм, встречающийся ныне, надо признаться, не на каждой улице, принявшего за дело. Второй вопрос, мучивший меня не менее валков, это даже не вопрос, а вопль истомившейся в ожидании законного возмездия моему врагу души: как он пронюхал о моих намерениях? И наконец, как ему удалось толкнуть на такое мерзкое дело Аве Марию?

Но вот уже загудела эта адская стирмашина, холуи главинжа шепотом договариваются о расстоянии между валками, пар и едкий стиральный порошок заволакивают кладовую, и я забываю обо всем на свете, когда с моих ног (меня подают в валки ногами) начинают сматывать расплавленную кожу. Я ору, но ни звука, я поклялся себе, ни звука они не услышат, я ору про себя, и главинж, обедающий в настоящее время вместе с семьей за дверью в столовую, худеет от злости, несмотря на заглатываемые куски. И эта скотина, что вы думаете, велит сократить расстояние между валками, я слышу встревоженные голоса холуев вокруг меня — еще бы, главинж недоволен! И они добавляют едкий стиральный порошок, и я забываю об Аве Марии, заявлению в минздрав и начмилу, о главинже и кладовой, даже о том, как они, не увеличивая

расстояние между валками, пропустят мою голову? Я весь во власти последней отчаянной надежды: дай Бог мне выздороветь, стать на мои покалеченные ноги, хоть на полчаса обрести силу в руках, и я устрою из всех закруток, сотнями банок (простите, склянок с лекарствами!) заставившими полки в кладовой главинжа (прошу извинить, в больничной палате!), грандиозный компот. Но терпение, терпение...

Когда меня снова положили на кровать, я обратился к представленной ко мне Аве Марии с единственной просьбой. Просьба такая: посмотреть, какой марки стиральная машина. Машина была "Рига-8". Тут же в моей голове, пропущенной через валки без всякого вреда, если судить по тому, что целостность идей сохранилась полностью, приобретаю, я бы сказал, только несколько большую отточенность и остроту, вырисовался выход. Еще с прежних времен я знал, что стиральная машина этой марки выпускается в двух вариантах: с алюминиевой и медной обмотками, кому какая попадет. Медная обмотка – это гарантия надежной работы, даже в случае попадания влаги на мотор. А алюминиевая не то, барахлит, я знаю по собственному опыту, потому что она больше у меня стоит, чем работает. Что я решил? Заменить медный мотор в стирмашине главинжа (я не сомневался, что такой дока с алюминиевым не возьмет) на алюминиевый, этим способом вывести машину из строя и устроить себе на пару дней курорт, а закруткам главинжа Варфаломеевскую ночь, а там что будет! Юрась, это я знаю точно, неплохой парень, на главинжа непохож, и вот на него была вся надежда. Услышав Юрася в коридоре у кладовой, я окликнул его, и рраз! – дверь распахнулась, Аве Мария с визгом забилась в угол (парень – верзила, испугаешься, когда такой ворвется с разъяренным видом), а он: "В чем дело, что случилось с вами? Говорите, батя мой, да?.." Он меня понял и убежал, страшно обрадованный доверием, а Аве Мария, не знаю когда, но, уверен, должна была донести главинжу, однако получилось чудо: она ничего не донесла. Но это не мое дело. Тут возвращается Юра с какой-то коробкой под мышкой и делает, но я затрудняюсь назвать, делает характерный жест мужчины. Аве Мария в ужасе отворачивается, и мой хлопец снимает за один миг мотор с "Риги-8", прячет его ко мне под подушку, вынимает из коробки электробритву и ставит ее моторчик в стирмашину. Когда Аве Мария рискнула осторожно посмотреть через плечо, Юры уже не было в кладовочке, но зато я слышал его голос из коридора,

главинж и Юра кричат друг на друга: нет бритвы. Наконец после непродолжительного молчания раздается вой, гуд мощного мотора и восхищенный хохот главинжа: "По мне! По мне! Всегда мечтал о такой. Ты где достал? Где достал, говорю?!" Вдруг бац! — Юрась спрашивает: "Батя, а где уши?.." "Сбрил! — раздается отчаянный крик главинжа. — Я их сбрил! А, чтоб его, этот твой генератор! Сбрил собственные уши. Ну, Юрась, помни, ты мне не сын!" "Вот теперь ты похож на себя, — говорит Юра, — теперь ты такой, как в жизни. Прислушиваешься только к себе. Мы ушли на целое столетие, а ты остался с собой. Зачем тебе уши? Чтобы вводить людей в заблуждение? Нет, батя, пусть каждый при встрече с тобой знает: этот человек глух". Тем временем наступил сеанс протаскивания через стирмашину, пришли холуи. Я лежу, меня поднимают, несут, вставляют в машину, включают, дурни такие, мотор, и мамочка родная, это щекотка, мне хорошо! Это даже вроде массаж, и руки мои ожили, хотя и с ограниченным радиусом действия и лишь по вертикали. Когда холуи, пошуршав халатами, ушли, я посылаю Аве Марию за уткой, а сам принимаюсь за закрутки, луплю по ним чем попало, не вставая с кровати, ноги не позволяют. Звон разбитого стекла, шум хлещущего с полок варенья — сразу у раскрытой двери объявились холуи в халатах, а в кладовочку войти не могут, такой густой, липкий, мощный поток выносится наружу. Вижу, как они отступают все дальше и дальше, чтоб вязкая масса не увлекла их с собой по коридору, а она так и хлещет — на лестничную клетку и водопадом вниз в чаны для первичной обработки. Забыл сказать: я ведь предупредил Мосгорисполком, чтоб он принял меры. То, что главинжем взято у общества нечестным путем (помните сваленные якобы метелью столбы и списанные провода?), должно быть обществу возвращено. Я луплю по закруткам полные сутки без перерыва на обед и ужин, по коридору со скоростью 1 м/сек. несется полуфабрикат, который затем на площадке первого этажа расщепляют на элементы и тщательно стерилизуют, а внизу, прямо на тротуаре, разливочная машина (установленная временно, до сооружения пульпопровода к ближайшему пищекомбинату) наполняет банки, наклеивает этикетки и пускает в торговую сеть. На третьи сутки, когда производительность моя несколько упала, в "Вечерней газете" появилась тревожная статья "Новое производство нуждается в помощи". Конечно, тут же были приняты меры, руководство Мосплодоовоца пошло даже на то, чтобы временно

приостановить производство в целях предоставления возможности Минздраву эвакуировать меня в нормальные больничные условия. Но об этом после. Ко мне пришел главинж, вот какая новость. Вернее, не пришел в палату, а передал через Аве Марию просьбу: писать на него во все инстанции. Зачем? Значит, ему для чего-то надо, он никогда не делает просто так. Кстати, я все-таки отплатил ему: во-первых, глух, как пень, и опаленная бровь так и не отросла. В общем, жених. Во время посещения больницы он мог убедиться, что люди ко мне тянутся. Пришел проведать заочник-колхозничек с бородой от “Метрополя” и прихватил своего дружка из реммастерской, помните? Света примчалась из магазина, проводник, тот, кто не пускал меня в вагон, какие-то люди, вовсе мне незнакомые. Пришли просто так, прочитали обо мне в газете и потянулись ко мне. Из Мосгорисполкома (за заслуги перед обществом), из общества рационализаторов (помните, как я побрился на улице?), из разных организаций, в том числе от общества ревнителей древности, в частности, секции объединенных бывших дворян, красавица завгастронома и юрист. Каждый из них расписался на куске бумаги (такой обычай), которую Аве Мария тут же, в вестибюле, оторвала от обертки чьей-то передачи. А я положил его на свою тумбочку вместо скорбного листка, а последний проглотил. (Хотел, чтоб поскорее выписали!) На другое утро обход, профессор обрадованно берет в руки этот клочок, покрытый маслянистыми пятнами, и дает указание готовить к выписке. Поддерживаемый на первых порах Аве Марией, я дошел до пролетки, ожидавшей нас на тротуаре. Животное встретило меня восторженным ржанием. Я понял, что тот единственный шаг (помните?) изранил его большое сердце. Мы поехали шагом, чтобы избежать тряски. Приехали туда, где я накануне рокового решения хотел снять комнату, это как раз над Аве Марией. Я поднялся наверх и выглянул в окно. Канал, вдоль которого мы когда-то прогуливались с Аве Марией, весь залитый солнцем, лежал передо мной. Мне стало хорошо и покойно. И тогда я простер руки, как бы прося прощения у людей, сновавших по близлежащим улицам, в том, что таился от них, посылая свои письма без подписи...

Ночью в мою дверь заколотила Татьяна Степановна. “Идите, вас к телефону! Оглохли?.. Ваш друг умер”. Известие (о нем звонила из клиники Аве Мария) наполнило меня возвышающей скорбью, к которой примешивалось разочарование, очевидно,

потому, что все значительные издали события, когда оказываешься к ним причастным, становятся почти обыденными. Но спать я уже не мог. Мы просидели с хозяйкой до утра, и та наревелась вволю, вспомнила своих, а я подумал о своей беде, о сыне, и что слишком уж быстро прошли годы в "Сельэлектро", осталось, наверное, если и больше даже, но уж не таких. Сашке я сказал о случившемся с Секретарюком, когда он утром выпускал из квартиры Аню. Если он в чем-то и признался Аве Марии, так теперь уж у него слова не вырвешь, хорошо понимает, что произошло. Молча ушел, даже "до свиданья" не сказал. Ирина Николаевна уже все знала и прибежала после работы сама не своя, но (жизнь ведь не останавливается) с добрыми для меня вестями. По ее словам, она справилась с поручением, и тот человек, с которым ей поручено было повидаться, ей очень понравился.

Я должен был подумать о некоторых вещах, прежде всего мне не хотелось бы встречаться с Кланей, затем я чувствовал, что не должен ходить на похороны. Захватив паспорт, я поехал в большую гостиницу на Горького, потом я узнал, что она называется "Минск", и заручился обещанием администраторши подумать обо мне при первой возможности, во всяком случае, не позднее двадцати четырех ноль-ноль. Оттуда отправился к Пухтееву. "Ваш сослуживец вот говорит, что вы знали о ценностях..." — сказал мне Пухтеев. "О каких ценностях?" — перебил я его. "О деньгах под шкафом, — поправился Пухтеев. — Какая разница! Что в прошлом году во время вашего временного проживания на той же квартире вам хозяйка ваша сказала, что лицо по имени Сашка однажды попросил ее не вынести случайно из-под шкафа узелок, он, мол, оставил его на пару часов, вернется и заберет. Было такое?" — "Я теперь уже не помню, но, возможно, и было. Ну, и что?" "А вот то..." — сказал Пухтеев очень неуверенно, но, видно, мысль от него ускользнула, а тут еще его позвали к кому-то, и Пухтеев уже одной ногой был там. "Вот, пока почитайте, что о вас говорят ваши знакомые", — сказал он на ходу и вытащил для меня из стопки на столе лист машинописи. "Я сейчас, — предупредил он находясь с ним в одном кабинете, но за другим, конечно, столом, тоже участкового, скорее всего. — Это у меня второе дежурство вне очереди. И посмотришь, он меня вызывает насчет третьего. Это после всех рапортов!.."

Все, что писал обо мне этот дурень (я тут же понял, что у Пухтеева на столе — машинописная копия Большой Анонимки), я

мог бы хоть сейчас повторить от начала до конца, потому что, само собой, прочитал эту копию от начала до конца, только последний лист не успел: Пухтеев вошел, и я едва успел затолкнуть в стопку предпоследний. Но я почему не считаю нужным всю эту чепуховину тут перед вами повторять: ничего нового в сравнении с тем, что вам уже известно, она не содержала. За исключением одного момента, мне даже не по себе стало. "Ну, ладно, — сказал Пухтеев (пришел веселый), — извините, что так долго. Прочитали? Слышишь, Мурзачев, — обратился он к другому участковому, — слышишь: есть резолюция". Я подумал, что мне немножко не повезло, имеется, как я понял, в виду резолюция на рапорте Пухтеева об увольнении или о переводе. Теперь он с подъемом закончит висящие на нем дела, одно из них мое.

Теперь, переступая через мелочи, я начну изложение последнего и самого существенного периода, у меня даже создалось впечатление, не только моего пребывания в столице, с которым я, ничего почти не утаивая, вас знакомил, а вообще всего, что представляла собой моя жизнь до сих пор. Прежде всего это касается способа, какой был избран не судьбой, как я чуть было по инерции не выразился, а логикой обстоятельств, для того, чтобы придать этому этапу форму, не умаляющую значительности содержания. Формой этой был суд. Если делать выводы из внешних обстоятельств, как бы лежащих на поверхности и видимых каждому, кто находился рядом, скажем, Ирине, Люсе, Татьяне Степановне и т. д., то все произошло очень просто: Аве Мария и студент подняли склоку, писали, давили на соответствующие органы и потому меня судили. Так вроде бы и произошло. А на самом деле? На этот вопрос могу ответить лишь я один, потому что я один знаю: стоило бы мне захотеть, ни суда не было бы, ни даже Пухтеев не стал бы заниматься такой чепухой. Для этого у меня было много способов, прежде всего главный: я мог разговаривать с Сашкой совсем по-другому, может быть, даже показать ему кулак, и он бы смолк с самого начала, как молчит сейчас, когда с Секретарюком такое вышло не без его участия. А я не хотел говорить с Сашкой в таком аспекте, я знал, что у него Аве Мария что-то выпытывает, ну и на здоровье, подумал, меня ваша склока не печет. Вы уверены, что это вы меня тащите, а я сам туда иду, только виду, конечно, не показываю. Даже не иду, а парю в том направлении, где помещается народный суд Бауманского района, проникаю в зал № 2, где будет слушаться дело по обвине-

нию одного товарища в одном проступке, и опускаюсь на место справа от судейского стола, напротив прокурора, точно определил свое место, хотя до сих пор никогда не судился, и приступаю, вы думаете, к чему? К проверке достоверности испытываемого мною ощущения гармонии с окружающим меня. Это для них, для всех собравшихся, происходит суд надо мной, а для меня это совсем другое, и потому я снова ощущаю гармонию, согласие с чем-то высшим, разлитым вокруг, и меня не смущает ни стиль судейской мебели, ни лица, ни статьи закона, потому что на меня нашло это высшее, гармония, создавшая меня таким, как я есть, и это она сейчас проверяется на надежность, я хочу убедиться, что она существует, как реальность, помазать ее руками, пощупать, понюхать, и вот я выношу на суд себя, свои поступки, совершенные на протяжении моей жизни по ее, гармонии, велению, вот и выходит, что я выношу на суд гармонию. И я парю над всеми, собравшимися в зале, над всеми вами, над всеми нами, если в данном единственном случае причислить и себя к окружающим. Вот что я сделал: посадил свою гармонию на скамью подсудимых (не совсем, правда, на скамью, а у барьера возле, я ведь не подсудимый, ответчик), а сам с лукавым видом незаметно уселся в публике и погрузился в сладостное волнение: сумеете ли вы ее осудить или же тайные ее веления, вдохновение и радость, которые она дает отдельным личностям, неподсудны и недосягаемы для ваших законов. Я даже выбрал себе такое местечко у окна, откуда веет на меня слабый сквознячок с улицы, а рядом со мной сидит сухонькая старушка в болонье. И вот эта старушка смотрит на меня через двойные стекла очков (вторые, наружные, темные), вперед на меня, не догадываясь, что я сижу рядом. Оттуда, со скамьи у окна, то есть в самом конце зала, я вижу судью с папкой, которую он на минутку берет в руки, чтобы объявить мое дело. Потом он начинает проверку всех вызванных, потом перечень предметов, приобщенных к делу, а всех предметов — одна Большая Анонимка, на этот раз подлинник, и все. Ну, а затем началось то, что один мой друг, еврей, я о нем раньше говорил, называет "хохмой", по-нашему это значит "очень большая неожиданность". Я, как вы помните, сижу в зале рядом со старушкой, которой уже давно пора ставить на плиту бульон, и слушаю судью. "Признаете ли вы себя виновным в том, — говорит судья, — что такого-то числа, войдя в соглашение с лицом, именуемым "Сашкой", вы уговорили его симулировать кражу денег из комнаты, в которой

он временно проживал, в сумме тысяча двести рублей?" "А зачем мне это нужно, заниматься такой чепухой?" — отвечает с легким недоумением гармония в моем облике, я ее из зала хорошо вижу: нормальный современный облик, костюм, галстук, стандартный, я бы даже сказал, чуть выше стандартного товарищ средних лет. "Вы не торопитесь, — говорит судья, — дойдем в свое время и до этого. Вы отвечайте, был такой разговор между вами и Сашкой?" И вытаскивает из папки новый лист. "Не было, конечно". "Хорошо, — соглашается судья. — Не было. Зачитываю показания лица, именуемого Сашкой, данные им в ходе следствия: "...этот товарищ, я не знаю его фамилии, знаю только, что он главный инженер, попросил меня спрятать куда-нибудь деньги до вечера и заявить в милицию, что их у меня украли из комнаты. Я спросил его, зачем ему это надо? Он сказал: спрячь, увидишь потом. Я спрятал и позвонил в милицию. Они искали и не нашли. А потом мне нужно было уезжать домой, надо было делать покупки, я не мог больше ждать, я вошел в комнату в присутствии милиции и забрал свои деньги полностью, тысяча двести рублей..." Правильно говорит ваш сосед по квартире?" "Скажите, пожалуйста, — прошу я, — зачем мне были все эти детские забавы? Я что, гулять приехал в Москву?" — "Вы прежде всего отвечайте на вопрос. Был такой разговор или не был?" — "Такого не было". "Не было, — согласился судья, — хорошо. Зачитываю свидетельство Секретарюка: "Однажды хозяйка мне говорит: этот спекулянт как-то прилетел, вошел к себе в комнату, минут через пять зовет ее и говорит: "Я тут бросил под шкаф узелок, так вы не выметите случайно". И ушел по своим делам. А хозяйке ведь интересно, что за узелок, она разворачивает шелковый шейный платок, завязанный узлом. Деньги. Знаете сколько? Двенадцать тысяч. "Случайно не выметите", — повторяет мой главинж, и тут все стали хохотать". Прощу вас ответить на такой вопрос: был этот разговор, о котором пишет Секретарюк?" "Ну и холера этот Секретарюк, — подумал я, — охота ему была всякую ерунду в свою торбу складывать". (Вы помните, конечно, что я все еще на скамейке у окна и ничуть не беспокоюсь, что ответит за меня представительный товарищ у скамьи подсудимых. И тут я подумал: "Надо бы этому товарищу подсказать, что галстук у него съехал набок, пусть поправит". Я эту мысль пускаю по рядам, пусть, говорю, подсудимый поправит галстук, подскажите ему, кто ближе.) А товарищ отвечает так: "Я вам могу ответить то же, что говорил и следователю, я не

помню, может быть, этот разговор и был. Сомневаюсь, правда, чтобы речь шла о такой сумме, что-то слишком много нафантазировал мой сотрудник, но в целом такой факт мог иметь место. Отрицать не буду. Но и утверждать не берусь. Это меня очень мало интересовало, чтоб запоминать". "Так, — говорит судья, — ну, ладно...". (В тот день сильная жара была, в зале совсем душно, солнце, а тут еще машины газуют под окнами, в общем, вести заседание суда дело нелегкое. Я ему сочувствовал.) "Это, между прочим, ответ на ваш вопрос, зачем вам нужно было заниматься таким делом", — опять нашел судья нить допроса и стал ждать, пока проедет автобус. Тут вдруг распахивается скрипучая дверь, и в зал, как будто они на кроссе, вбегают Аве Мария и студент. "Можно? Ее не отпускали с работы", — это, конечно, студент-горлохват. "Извините нас, — говорит Аве Мария, — не отпускал начальник, пока не сдала чертеж. Можно сесть?" Добавлю, что попозже, после обеда, пришла Ирина Николаевна, потом допустили в зал Иду и Люсю, я попросил их вызвать в качестве свидетелей. Татьяна Степановна появилась только на второй день, да и то лишь затем, чтобы дать показания, и тут же ушла, плохо себя чувствовала.

Поехали дальше. Аве Мария и студент занимают свои места свидетелей, я их вижу отлично, и они меня, а судья, прочитав за опоздание нотацию, приступает к их опросу. Но не успел закончить фразу, как вскакивает студент и требует ни больше ни меньше, как чтобы ответчик, то есть я, дал объяснение, которое имеет социальное значение. Но в этом месте судья его посадил в лужу, и мой оппонент, хорошо обескураженный, на время успокоился. Однако только на время. Он без конца порывался что-то сказать, ерзал на месте, и даже Аве Мария уговаривала его взять себя в руки. В мою сторону она не смотрела и вообще была очень жалка, все лицо в пятнах. Закрыла бы его волосами, но она совсем коротко постриглась, это, видно, вкус студента. И вдруг она взглянула на меня, и я устроил игру, под названием "кто первый отведет глаза", что-то в ее испуганном, но ах, каком отчаянном выражении подбило меня на такой спорт, а она хоть бы что, вся пунцовая, глаза блестят, а смотрит, как будто проигрывает жизнь. (Есть пословица: в... я, а не сдамся.) Такая отчаянная очкастая. Суд идет дальше, а я из-за Аве Марии прослушал вопрос прокурора, и вот что отсюда вышло. Я ответил наобум "да", просто ради спорта, а также из желания как-то разнообразить свои ответы. "Я знал,

что вы так скажете”, — неожиданно откликнулся судья с очень недовольным видом. Отсюда я, не переспрашивая, понял, что, несмотря на утверждение, по смыслу вопроса дал отрицательный ответ. На следующий вопрос я уже ответил “нет”. Но на этот раз вопрос был поставлен так, что мой ответ тоже означал отрицание. Тогда я решил снова ответить положительно на третий вопрос, каким бы он ни был. Я сказал “да”, но смысл получился опять отрицательным. Первый вопрос, как потом выяснилось, был такой: “А вы знали, что потерпевшему известен случай с узелком под шкафом? Я вас спрашиваю конкретно: когда вы согласились взять к себе вашего сослуживца из гостиницы, тогда знали?” Второй был поставлен иначе: “Что вы можете сказать о Секретарюке? Мог ли он догадываться, что вы пригласили его к себе, зная о его намерениях?” И, наконец, третий, самый подковыристый, на который я не ответил бы лучше, если бы даже раздумывал сутки, был: “Не предполагаете ли вы, что потерпевший был сбит машиной ради собственного удовольствия?” Я ответил положительно, а смысл опять получился тот, что я все равно отрицаю предъявленное мне обвинение. Тут я увидел, что старушка рядом вытаскивает из хозяйственной сумки по кусочку, а судья объявил перерыв, и я ушел, бросив последний взгляд на скамейку в загоне для подсудимого, отполированную многими елозившими по ней задами, даже с растрескавшимся сучком.

Перерыв был объявлен на час, и это время я провел, как ни неожиданно, у Иды. Главный ее довод, который на меня подействовал, что это совсем близко, а в холодильнике ледяной компот из свежих фруктов. А уж сам я вспомнил, что балкон у нее с видом на Чистопрудный бульвар. Скажу сразу, чтоб не тянуть: настоящего компота, как мы на юге понимаем, не найдешь во всей Москве. И тем более у пучеглазой Иды, которая все соврала. Живет она не на бульваре, как оказалось, а в переулке, и с ее балкона можно увидеть что угодно, но бульвар никак не видно, потому что переулок страшно длинный и кривой. А когда она влезла на тахту, уютно поставленную в дальнем от окна углу, да еще зажгла торшер, мне все стало ясно. Женщина рассудила: в таком положении, в каком с ее точки зрения я должен был находиться, человек не заметит расстояние от балкона до бульвара, примет какой-то раскисший компот за мамкин или пусть даже мачехин, к которому привык дома, в электрическом свете не заметит пенсионного возраста и ухватится за любую руку, протянутую ему, даже за

Идину, с облезшим маникюром. Тут соседка постучала в дверь и позвала ее к телефону. Ручаюсь чем угодно, что Ида сначала хотела ответить, будто ее нет дома, и только мой вид, откровенно кислый, заставил ее пойти. "Это Ирина, — объяснила Ида, — она сейчас будет тут, хочет вам что-то сказать". И принялась меня убеждать вернуться домой, если все окончится благополучно. "Мы с вами не в таком возрасте, чтобы строить жизнь на авось. ("Мы с вами!.." Один конь, один рябчик.) Молодая за вас не пойдет. (Я думал, Ида такая тихоня, а она смотри, как себе цену набивает!) А не очень молодые, мы все перед вами. Люся живет с родителями, и ее отец — очень крутой человек, я должна вас предупредить: это он развел ее с первым мужем. Что такое Ирина, это, я думаю, вы увидели сами. Ирина — моя подруга, но я ей в глаза могу сказать, и она просто обладает удивительной наивностью, что сама этого не понимает: она страшно неуравновешенный человек, и у нее пиерия, я не помню, чтобы кто-то возле нее держался больше двух месяцев. А теперь она вообще помешалась на этом старике. Впрочем, — тут Ида посмотрела на меня, — может быть, это только для виду. Насчет этой девицы Аве Марии, не знаю, что в ней нашла Ирина, но нам с Люсей она крайне не симпатична. Ее бывший муж, говорят, талантливый журналист, человек очень непритязательный, как водится в их среде, и тот ушел. А я вам скажу откровенно, если бы у меня был муж, я бы, честно признаюсь, была бы, конечно, рада. Но выходить замуж теперь? Спасибо большое! Я прекрасно живу, смотрите, чего мне не хватает? Пускать сюда чужого, несимпатичного человека, нет уж, не выйдет!" — и тут она чуть ли не погрозила пальцем перед моим лицом, вот что с ней стало, когда увидела, что ее план относительно меня построен на песке. Чуть не прогнала из своей коммуналки с балконом, откуда ничего не видно, такая брехуха! Даже компот был теплый. А вот Ирина, это действительно преданная особа. Прибежала, только чтоб предупредить, что Колинский, бывший муж Аве Марии, будет писать обо мне для "Вечерней газеты" в разделе "Из зала суда". Все устроили Аве Мария и студент. Я только что узнала об этом, сказала Ирина, от самой Аве Марии. А мы так хорошо закусили в кафе на бульваре, никакой очереди, тут же перескочила она на другую тему, так на нее подействовал мой почти нетронутый стакан компота, и даже взгляд ее стал какой-то многозначительный и бегающий — от меня к Иде и наоборот. Но когда Ида отвернулась, я мигнул Ири-

не, недвусмысленно намекая на напрасные хлопоты ее подружки, и Ирина тут же таким довольным голосом: "Как, Идуля, ты не пойдешь с нами?.. Что за капризы!" Ну и дамочки у меня, с ними не соскучишься. Наконец мы вышли и поспели тютелька в тютельку к началу заседания. Я опять занял свое место у окна, публики заметно поубавилось, было время обеда, и старушки не было, и я сидел в ряду один. А гармония заняла свое место у ограды скамьи подсудимых.

Допрос продолжался. Да, забыл, что прокурор у меня была женщина. "Как по-вашему, товарищ прокурор, — спросил я, — уничтожил бы я эту несчастную тетрадочку, если бы боялся чего-то в ней? Что мне стоило это сделать, она лежала в чемодане, который потерпевший никогда не запирает, замок поломан, это можно проверить, и я прекрасно знал, что она там лежит". Вы не знали, заявила прокурор. (Это первая дама, которая меня сразу за что-то невзлюбила.) А то, что вам известны факты, имеющиеся в тетради и избобличающие вашу контору, это вы сами объяснили знакомством с анонимными письмами. "А как я ковырялся ночью с замком на двери в комнату Ирины Николаевны, это было в анонимных письмах на контору? — спросил я. — Посмотрите, пожалуйста, одну из последних записей, во всяком случае, в то время, когда я держал в руках Большую Анонимку, она была последней". Прокурорша или судья легко могли бы уличить меня в обмане, если бы попросили припомнить какие-нибудь особенности, хотя бы цвет чернил в тетради, ведь я читал не подлинник, а машинописную копию. Что случилось бы со мной, будь они чуть пронизательней, меня не интересовало. Ведь отвечал не я, а за меня гармония, а я только слушал, сидя в зале, снова полным, — не иначе старушки управились дома с обедом и прибежали как бобики, и моя соседка тоже.

Затем прокурорша спросила, куда Секретарюк посылал свои письма. "Не знаю, — ответил я. — Во всяком случае, объяснения у меня требовал наш республиканский трест". — "Значит, вас проверяла ведомственная ревизия?" — "Да. Но возможно, что он посылал анонимки и в другие организации, а те в свою очередь переправляли их в наш трест для проверки и принятия мер". — "И, конечно, ничего не подтверждалось?" — "Подтверждалось. Но, как правило, имело совсем не то значение, какое придавал этим фактам Секретарюк". "У меня больше вопросов нет, — обратилась прокурорша к судье. — Для меня важно было установить,

что проверкой по сигналам занималось то же ведомство". "Так он хотел известить своего сотрудника?" — вдруг в этом месте повернулась ко мне моя соседка-старушка. "Да, мамаша", — ответил я с воодушевлением. "Ну! Такой приличный молодой человек...". Какой же вывод подсказала мне старушка? Народ мне не верит, вот какой. И пусть. Куда бы ни увлекла меня гармония, я ни о чем не пожалую. Даже больше скажу: я испытал бы горькое разочарование, если бы суд так легко дал себя обмануть и, прервав мое парение в самом его начале, тем самым лишил бы меня наслаждения, которое дает лишь завершенность подобного акта и на которое я вправе был рассчитывать, сознательно подвергнув себя риску судебного разбирательства.

После заседания суда я позвонил в "Вечернюю газету", и мне сказали, что Колинский где-то здесь, если еще не ушел. Я схватил такси, и мне повезло, этого гаврика я застал. Ну, что можно сказать? Я только спросил его, действительно ли такое уж общественное звучание должно приобрести это заурядное недоразумение, в котором суд уже почти разобрался, или ваш интерес к этому делу объясняется родственными отношениями с одной из лиц, которая по неопытности дала себя втянуть? Колинский на меня долго глядел и наконец растерянно и очень хорошо улыбнулся. Ей-Богу, сказал он, я не могу взять в толк, о чем вы. "Прежде всего кто вы будете, товарищ?" — воскликнул он с любопытством. Я, конечно, объяснил, показал документы. "Ну, и очень хорошо, что вы главный инженер, — вернул он мне мою командировку, но я бы сказал, что сделал это уже раздраженно. — Я о вас писать пока что не собираюсь, думаю, что эта тема не заинтересует редакцию. И я очень занят, к сожалению". И ушел. Сорентировался тут же.

Но я его снова настиг. Повернул обратно с улицы, вошел в ту же дверь, поднялся наверх и опять встретился с ним в коридоре. Разговор будет личный, сказал я, и пусть он лучше произойдет здесь, чем в редакционной комнате, согласны? И вот мы с ним толковали в коридоре, чтобы не соврать, полчаса. Теперь уж он меня не отпускал, все расспрашивал, и я увидел, что хлопец зажегся. Я вам не могу обещать ничего точного, сказал он, такие вопросы у нас решаются на редакции, но в том, что вы сказали, есть много любопытного. Позвоните мне завтра что-то около одиннадцати. Да, вы ж будете в суде, спохватился Колинский. Не годится. Тогда так, сказал он решительно, я приду на заседание

в любом случае. Я спустился вниз, в вестибюле редакции позвонил юристу из компании Аве Марии. (Я не говорил? Он мне дал домашний телефон, да еще с такими извинениями, я, мол, по ошибке в первый раз оставил вам служебный. Звоните. Еще раз в скобках скажу, что во время разговора с юристом мимо автомата пробежал к выходу Колинский, и что меня удивило: совсем другой человек. Как будто он меня первый раз в жизни видит, и я ему даже чем-то не понравился, такое было выражение. Боюсь, что на этого смыкалку подействовала телефонная трубка в моей руке и завтра он не придет. Не придет, и не надо, я ни в ком не нуждаюсь. Я сам король!) Трубку снял хозяин телефона, я юриста узнал по голосу. А теперь приглашаю желающих, которым так же, как и мне, ничего лучшего не предлагает сегодняшний вечер, на наш разговор, будет, что послушать. "Привет, — сказал я, — мы дома сегодня?" — "Да так как-то, никуда не собрался.. С кем это я? Это Володя?" "Не", — ответил я. "А кто? Тишков?" "Это я, — и назвался. — Идемте в кино". "Ну, что вы?" — удивился он. "А я люблю кино. Вы не уважаете?" — "Я уважаю только одного человека. Свою жену. Но она сейчас на даче. Так что мне покамест уважать просто некого". "Вот и хорошо, — сказал я. — Тогда уважьте просьбу: мы встречаемся с вами в центре, скажем, где-то через полчаса...". "Нет, — перебил меня юрист, — боюсь, что где-то через полчаса мы с вами не встретимся в центре. Мне не хочется. Наверное, потому, что я как-то ошарашен вашим звонком". — "Почему?" — "Признаюсь, не ждал". — "И еще вам, к сожалению, некогда, да?" — "Угадали. Передо мной лежит раскрытый журнал, и мне бы хотелось поскорее к нему вернуться". "Такие вы, значит, люди москвичи, — сказал я. — Ну, ладно. А у меня сейчас просто хорошее настроение. И скучно. Я думал, вы составите компанию". — "Да нет уж, видно, не составляю. Извините". И положил трубку. Тогда я пошел к знакомому официанту из ресторана у Белорусского. "Дайте мне все, — сказал я. — Все. Такого, такого и такого. Раз я говорю можно, значит, можно. Когда-то я сюда приходил вместе с одним человеком, был такой период. Теперь я один и буду играть для себя любимую музыку, позволите?" "Если вы играете, — согласился мой знакомый официант. — Пожалуйста. Пока не пришли музыканты". "У вас здесь есть телефон?" — спросил я. "Есть. В вестибюле". — "Очень хорошо". Я взял у него из рук блокнотик, записал Иренин телефон, вложил между листиками рубль и сказал следующее: "По этому телефону вы

попросите Ирину Николаевну и скажите ей, что один ее хороший знакомый и настоящий друг ждет ее не дожидаясь за этим столиком. На вас можно положиться?" — "Конечно!" И он направился к телефону. А я поднялся с места и задал громогласный вопрос присутствующим: "Уважаемые товарищи, вы вальс "Каприз" Шопена уважаете? У меня такое настроение, что хочется поиграть. Никто не против? Благодарю за внимание". Я играл лучше профессионалов в этот вечер. Во всяком случае, музыканты, явившиеся на работу, не могли занять свои места на эстраде, потому что обступившие меня любители отмахивались от них, как от мух. Я сыграл все, что знал, и кое-что спел. Я даже каким-то чудом вспомнил песенку, которую когда-то, в детстве, часто напевала мне мамка. Я вспомнил не только мотив песенки, малоизвестной даже в мамкины времена, но по какой-то причине полюбившейся ей, но и все слова, причем впечатление было такое, как будто кто-то подсказывает мне их по одному. Судите сами: когда я произносил слово, то никак не представлял себе, каким будет следующее, но только наступала его очередь, как слово появлялось у меня на языке само собой, и так до самого последнего в песенке. Скоро появилась Ирина, одна, сказала, что отделалась от подруг под каким-то убедительным предлогом, и "вот я уже здесь", и со счастливым видом стала оглядывать зал. Я уже сто лет не бывала в таких местах, призналась Ирина, прошло мое время. "Ближе к делу", — попросил ее я и попросил подробно рассказать о разговоре с той, к кому она ходила по моему поручению, со всеми подробностями, что говорила Ирина и отвечала ей та. Тут технике безопасности я уделил максимум внимания: кушать все что угодно, но пить абсолютно ничего, кроме бокала сухого вина, единственного, иначе получился бы монолог со всхлипыванием, проклятиями и чуть ли не молитвой, обращенной к Затынскому. Эта опустившаяся женщина, пораженная забытой обстановкой ресторана, не смела просить у меня вина, и вечер оставил во мне самое трогательное впечатление, как будто я провел его вместе с той, о ком мы все время толковали. И представьте, нам хватило этой темы до закрытия ресторана. Ирина привирала, это без сомнения, я даже мог бы сказать, в каком месте, но ее тоже можно было понять: надо же было как-то расплачиваться за угощение, и она старалась изо всех сил. И вот интересно, я знал, что врет, а перебивать не хотелось, и Ирина такая оказалась артистка, что благодаря ее таланту я испытал колоссальное удовольствие от беседы за столиком. Все

время, правда, Ирина сбивалась на Затынского, и мне приходилось быть начеку, чтобы вовремя ее подправлять, зато перед самым уходом я налил ей по ее желанию и привез домой, а сам лег спать. Татьяна Степановна сменила мне постельное белье, я с удовольствием поворочался на холодных простынях, предвкушая, не преувеличиваю ничуть, предвкушая завтрашний день.

И вот он пришел. "Встать, суд идет!" — объявляет секретарь, и под эту увертюру я прохожу на свое место на глазах у десятков людей; свидетели, Аве Мария, и студент, и вчерашняя старушка стояли как бобики, вытянувшись по стойке "смирно", когда я шел на свое место, словно к столу президиума. Теперь я уже не отдавал на суд гармонию, удобно устроившись в зале и как бы испытывая ее надежность. Сегодня я слился со своим чувством в чудесном парении, наивными показались мне мои предыдущие эксперименты, поставленные для того, чтобы убедиться, что я обладаю несомненным правом быть тем, кто я есть. Я плохо слышал, что говорилось в зале, я поднялся так высоко, что человеческие голоса не достигали моего слуха, и, лишь желая испытать опьяняющее меня чувство превосходства над остальными, я спускался ненадолго вниз, парил над залом, где они мололи чепуху. Горлопан-студент конкретно ничего не мог сказать, кроме того, что я дал ему по морде, но об этом я и сам рассказал суду. Единственный факт он привел: Сашка в его присутствии признался Аве Марии, будто я его уговорил припрятать деньги. Спрашивают Аве Марию, какое ее впечатление, искренен ли был Сашка, когда утверждал это. Она думала, думала, наконец ответила, чувствовалось, от души, очень тихо: "Да, я ему сразу поверила". И вот судья задает вопрос: "Свидетельница, расскажите поподробнее об этом разговоре с Сашкой, когда он состоялся, при каких обстоятельствах, до смерти потерпевшего или после". Аве Мария ответила: сразу после наезда, на другое утро, я прочитала тетрадь и была, как помешанная, прибежала к нему (она показала на горлопана) прямо на лекции, на работу, конечно, не пошла, и спросила, что мне теперь делать. Он говорит, пойдём к Сашке, пока Сашка еще не смылся, это все подстроено, главинж хотел от Секретарюка избавиться. Мы рассказали Сашке, что с Секретарюком, и он признался. И села как побитая кошка. Но самое интересное дальше. В четыре часа дня, после перерыва, в зале появляется Колинский, и тогда я поднимаю руку и говорю: "Разрешите сделать суду заявление. От своих предыдущих показаний я отказываюсь. Я подговорил

Сашку спрятать деньги". Такими словами я встретил появление Колинского на суде, тянул время, пока он не пришел.

А теперь р-равнение нале-во! (То есть на меня, я ведь нахожусь впереди слева.) И слушайте, не пропускайте ни слова, узнаете, что такое гармония. "Я хотел бы, если суд не будет, конечно, против, объяснить мотивы своего поступка, — так я продолжал сенсационное (не преувеличиваю, все его так расценили, весь суд, у всех рты раскрылись) выступление. — Я Секретарюка знаю, наверное, вы не обижайтесь, лучше любого здесь присутствующего. Последние годы человек стал неузнаваем. Мрачный, раздражительный, вечно кого-то в чем-то подозревает. Со всем коллективом отношения ненормальные. Потом он вообще стал на неправильный путь, стал писать в вышестоящие организации всякую гадость на контору, скажу конкретнее, на меня. Пишет, пусть пишет, меня это не волновало, я решил так: ты мне был друг, теперь все, точка, теперь ты для меня такой, как все. Но дело не в этом. Последние год-два он затих, письма прекратились. В чем же было дело? Прочитайте, пожалуйста, тот самый отрывок, чуть дальше по тексту. Вот: "...передо мной было два пути, молчать и терзаться — или мстить. И я, как всегда в таких случаях, выбрал второй, благо материалов накопилась целая гора". Я выдержал паузу. "А теперь прошу прочитать как раз то место, которое студент хотел услышать, вероятно, он думал, что оно меня испугает". "Ну, что вы там увидели такого? — перебил меня судья. — Вот это, про управляющего?.. "Встречаемся мы с ним в коридоре и вдруг — о, чудо! — он меня останавливает: "Ну, как живешь?" От него пахнет вином, глазки лукавые-лукавые, и неправильные ударения, а у меня весь день хорошее настроение: еще бы, управляющий был со мной приветлив! А потом расплачивался целую неделю: стыдно было вспомнить, как улыбался в ответ на его слова". Ну, — спросил судья, — что вы такого здесь увидели?" "А у него всегда было паршиво на душе. И я это знал без всяких записок, они для вас новость, а мне достаточно было, проходя в свой кабинет, мельком увидеть Секретарюка за тем же столом, за который он сел сто лет назад. Что я тогда решил? Ты переживаешь, ты мучаешься сначала оттого, что пишешь доносы, а потом оттого, что они не подтверждаются? Так пусть хоть раз подтвердятся. На тебе! Я украл Сашкины деньги, ты доволен? Меня за это посадят, тебе будет хорошо? Пусть хоть раз за столько лет человек получит то, о чем мечтает. Не скажу надолго, на два, на три часа. Пускай на все сутки, так и быть. Вот

что меня вдохновляло: ни одна душа на свете эти сутки ему не дала бы. Только один человек из трех с половиной миллиардов, я. Но я не был бы искренен до конца, — продолжал я, — если бы не признался, что это было мое единственное желание, дать человеку как бы озарение, и никакие другие расчеты сюда не примешивались. Пусть он узнает, надеялся я, каково мне, а мне почти всегда хорошо, потому что почти все мои желания сбываются. Все". И я сел на место. "Значит, вы хотите сказать..." — довольным голосом произнес судья, но я не дал ему закончить. "Я знаю, о чем вы спросите: этим ли желанием я руководствовался, когда согласился взять к себе Секретарюка на московскую квартиру? Отвечаю: этим. Оно созрело у меня давно, жаль было смотреть на этого дурня". "Тогда такой вопрос, — сказала прокурорша, — вы до этого благородного поступка с потерпевшим совершили хотя бы еще один такой же по отношению к нему?" "Сколько угодно, — ответил я. — После трех выговоров можно было его уволить? В контексте этот факт Секретарюк сам приводит. Прочитайте и убедитесь. И еще было, я так сразу не могу вспомнить". "Тогда чем вы объясните, — спросил судья, — его особое желание отомстить за все то, что, как он считал, делается в вашей конторе, именно вам?" "Пожалуйста, — охотно отвечал я. — Недавно я у вас в Москве смотрел пьесу. Там один товарищ утверждал, что его учреждение держится накалом страстей. Заморозьте, говорит, страсти, и на другой же день секретарши, операторши, уборщицы, все низкооплачиваемые побегут увольняться...". "Так же не судят! — крикнул студент. — Мало ли что он будет сочинять? Там же ясно сказано: потому что это невероятный пошляк!..." — и это были последние слова горлопана на суде. "Если можно, я сам вам укажу место, которое имел в виду свидетель", — предложил я после того, как судья выгнал студента из зала. Я даже направился к прокурорше, чтобы помочь ей найти в общей тетради нужную страницу, и, что мне понравилось, судья не сразу велел мне вернуться, а лишь после того, как я почти подошел к столу этой дамы, не иначе, судья вспомнил, что форма должна соблюдаться до конца заседания, даже если суду все ясно, и этим он себя выдал. Вообще-то дальше говорить, пожалуй, нечего, я, кроме рассказанного, ничего не запомнил, значит, больше ничего привлекающего внимания не оказалось. Прочитали еще что-то пустяковое из той же общей тетради, это раз, потом прокурорша что-то выкопала по своей инициативе и в заключение потребовала признать меня виновным,

прежде всего потому, что я, будучи знаком с Большой Анонимкой, не мог не предположить действительно случившееся с потерпевшим впоследствии. С одной стороны, я правильно сказал, что читал тетрадь, с другой — это обернулось против меня, потому что там была (диву даюсь, каким чудом она там оказалась!) такая фраза: "Проклятый, какой-то чуть ли не тотальный стыд перед бесчестьем. Никогда мне его не пересилить. Злодейка она все-таки, русская литература. Но я ни о чем не жалею". Я боялся только одного, судебной ошибки, и так устал, что, хоть и не совсем к лицу признаваться, думал даже так: "Посадят, и пускай к бесу сажают, надо когда-то человеку отдохнуть от забот!" Думаю, мое состояние понятно и меня поймут правильно, если я, не распространяясь, скажу только, что, заставив меня прождать целую вечность, суд занял свои места и объявил, что дело прекращается, поскольку не имел место умысел довести до самоубийства, а частное определение я не слышал, меня, по всей вероятности на нервной почве, обуял приступ смеха, с которым я никак не мог совладать, я оглох, как обычно, и мое лицо было мокро от слез, как я обнаружил, пытаюсь чуть ли не заткнуть себе рот, чтобы прекратить эту безобразную сцену. Думаю все же, что мне удалось ввести окружающих в заблуждение насчет истинной причины, заставившей такого представительного мужчину, как я, длительное время оставаться на месте, уткнувшись лицом в стенку, пока наконец подавляемый в себе смех перестал сотрясать меня. И наверное, будет лучше, если я поставлю на этой теме точку.

Дома я вызвал Ирину в коридор, оттуда прямоком на улицу, останавливаю такси, и мы едем в Марьину рощу. "Вы ее сейчас позовете, — сказал я, — а я постою внизу в парадной и послушаю". Входим мы в парадную, Ирина подымается наверх, ей открывают дверь, и я слышу, как она просит позвать на минутку одну девушку, пусть, мол, ее извинят, она очень спешит и не будет входить, и потом эта артистка принялась выдумывать такое, что я испугался: как бы не переборщила. А та, кого Ирина вызвала на лестницу из квартиры, все выслушала без звука как замороженная, я видел снизу ее руку на перилах, она даже позы не переменяла, и вдруг раздался ее голос, такой удивленный и немножко испуганный. И тогда я останавливаю этот цирк, бросаюсь наверх, прошу Ирину подождать в такси, и мы с этой девушкой остаемся вдвоем на площадке. "Я думала, тебя, бедного, посадили", — сказала она. "Меня?" — ответил я. "Слушай, — вдруг обратилась она ко мне

шепотом, — ты что, правда, его убил? Это тот высокий, который вышел в коридор, когда ты меня провожал?” У меня зашумело в ушах, так хлынула кровь к голове, и я почувствовал, что дрожу, дрожу, как кто? Почему у нее пресекается голос, а глаза блестят от слез, кого она видит перед собой? И оказалось, что я, совсем об этом не догадываясь, нашел наилучшую форму, в которую должен был облечь свой ответ, если хотел утвердить ее в счастье для меня заблуждении. Я глядел на нее так долго, как только нужно было, чтобы постичь смысл случившегося на моих глазах чуда. В эти долгие секунды я понял, кого она видит перед собой и что я ей внушаю и буду внушать отныне (если только захочу) всю жизнь, иными словами, на чем будет основываться наш союз (опять-таки если я его пожелаю). Я решил, что это достаточно надежная основа, способная выдержать все испытания, подстерегающие столь нестандартный брак. И тогда лишь я выдавил из себя “признание”. “Да, это был он”, — сказал я неохотно, вообще молчание, которому она внимала с заметным волнением, я, наконец, нарушил еще и потому, что действовал по проверенной поговорке: “Хорошего-понемножку”, нельзя весь эффект расходовать на один раз, надо что-то оставить и на потом. Тут она подымается на носки и чмокает меня в щеку, вся красная, как из парной, и мы опять молчим, не можем слова произнести. “Ну, ладно, — сказал я, — пойду, а то Ирину Николаевну гости ждут, я ее увез от гостей”.

Я вернулся домой и пошел в баню. Я уже описывал совершенно особенное действие на меня таких вещей, как пустой кафельный зал и плеск воды из душа, и там другое еще есть, я сначала подробно об этом говорил, кто забыл, пусть еще раз прочтет. Эту способность так реагировать на обстановку обычной бани я считаю присущей только мне. Сколько мне ни приходилось сталкиваться с людьми, не помню, чтобы кто-то еще испытывал подобное. Короче, я пошел днем и не в субботу, конечно. Прихожу, почти пусто. В раздевалке на ящиках выстроены шайки, бери любую. Банщик слушает радио, делать ему нечего. Я пустил душ, сел напротив на лавку и принялся смотреть на бегущую воду. И что это такое: как только люди начинают появляться в зале, теряется всякий интерес, уже не то. Или мне нужно, чтобы весь зал был в моем распоряжении, а звуки воды подчеркивали его размеры? Так я сидел и смотрел, пока, замечая, удовольствие не начало притупляться, тогда стал под душ и скоро забыл, что я моюсь, машинально дви-

гаю руками, а сам решаю свои проблемы и первую из них, возвращаться ли домой, такая там теперь пустота без Секретарюка, который (теперь я уже это хорошо понимал) позволил мне увидеть собственные мои масштабы. И не по большим праздникам, а каждый день, хоть каждый час, стоит только открыть дверь из моего кабинета в общую комнату техотдела. Никакой рост в системе "Сельэлектро" не принесет мне отныне и половины удовольствия, а значит, и ощущения гармонии с чем-то, витающим над нами, парением над остальными, поскольку его теперь уже не будет оттенять своим вечно недовольным видом Секретарюк. И вот утром в полупустой бане, как я люблю, я перешагнул через перспективу управляющего областной конторой "Сельэлектро", через налаженные условия работы, которые я себе создавал в конторе не один год, и быта, влекомый куда-то гармонией, честно говорю, не знаю, куда, но мне все равно куда, лишь бы и в дальнейшем испытывать это ощущение парения над людьми, которое одно способно принести мне высшую степень удовольствия и, если хотите, даже смысл существования...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть имена и слова, живущие в нашем сознании парами — то ли близнецы, то ли супруги, — но всегда неразлучные, спаянные интимной подсознательной связью. Скажешь "яблоко", и тут же за ним выкатывается "груша", скажешь "день", а за ним уже спешит "ночь", скажешь "Пушкин", а "Лермонтов" уже тут как тут.

Столь же дружно и согласно уживаются на полках наших привычных представлений "светлый вдохновенный Моцарт" и его коварный отравитель "завистливый Сальери". Как утрамбованно знакомо это звучит: "Моцарт и Сальери"! А ведь не всемогущей природой впряжены они в свое двуединое сосуществование, ведь не сменяют они друг друга с устойчивой неизменностью "ночи" и "дня", не дополняют взаимно с уверенностью "севера" и "юга"! Напротив: их съединил и спаял человеческий вымысел, поэтическая легенда, рукотворный миф, в который равноправным членом входит другая словесная пара: "гений и злодейство". И потому на первый взгляд может показаться, что именно к нерасторжимому противостоянию гения и злодейства сводится накатанная многократным употреблением нерасторжимость Моцарта и Сальери. Но вдумается: а так ли часто в потоке повседневных встреч и событий попадают нам гений и злодейство? А может, дело вовсе не в гении и злодействе, а в чем-то ином — менее экзотическом, чем грешны и мы, простые смертные, не гении и не злодеи?

Откуда вообще взялась у нас уверенность, что в этой паре “моцарт” (с маленькой буквы) — не подлинный автор “Реквиема” и “Волшебной флейты”, а обобщенный вечный спутник обобщенного сальери — должен быть обязательно гениален? Или, по крайней мере, как-то особенно, крылато талантлив? Ведь только из-за того, что мы припиливаем истинного, действительного талантливого, Моцарта к его снедаемому зависти напарнику. То есть мы с ходу даем зависти подлинную пищу в виде подлинного таланта, даже гениальности обожаемо-ненавистного соперника. Но ведь суть зависти в том именно и состоит, что она не нуждается в подлинной пище, ей довольно и суррогата, ибо зависть самодостаточна, она питает себя сама: легендой, воображением, сознанием собственной неполноценности. И ей вовсе необязательно подниматься до очищенных смертью вершин, она вполне уместна и среди захламленных мелочами закоулков ежедневногo быта.

На эти мысли наводит меня роман Марка Гиршина — доселе неизвестного автора, сейчас представленного читателям журналом “Двадцать два”. Кажется бы, все те же Моцарт и Сальери продолжают на его страницах свой безрадостный поединок, вся разница в том, что на этот раз оба они низведены с высот духа в убогие болота повседневности. Но тут-то и выясняется, что в действительности не “гений” и “злодейство” определяют разность потенциалов, поддерживающую силовое напряжение этого поединка, а куда более обыденное и ординарное противостояние, с которым всем нам не раз пришлось встречаться. Я не случайно и не по ошибке назвала отношения между партнерами моцарт-сальериевского тандема поединком, хоть всякий читавший Пушкина мог бы мне возразить. И он был бы прав, ибо пушкинский Моцарт не только не помышляет о единоборстве с завистником, он и зависти его не замечает. Но ведь это было там, на вершинах, где гений приводил завистника к единственно возможному решению, а именно: к решению окончательному — к злодейству. Для этого нужен был пушкинский или моцартовский масштаб. В обычных же житейских передрягах все случается мельче, гаже, прозаичней. И моцарт Гиршина настолько же мельче истинного классического Моцарта, насколько анонимный донос мельче и трусливей бжкала с ядом. Все измелъчено, все заземлено, но все тот же потенциал зависти нерасторжимо соединяет Моцарта-главинжа и Сальери-Секретарюка.

Наивно было бы предполагать за главинжем какие-нибудь особые таланты: этот соответствующим образом воспитанный советской школой, надежно отшлифованный социалистической реальностью, отлично смазанный и подогнанный винтик бюрократической системы не пишет музыки и не слагает стихи. Но эта художественная бесталанность отнюдь не умаляет его главной моцартовской черты: он живет в необычайном согласии с собой. Ибо я присоединяюсь к мнению Гершензона о том, что главное в Моцарте — его внутренне насыщенная собой сила, его гармоничное согласие с собой. Этой силой и гармонией полон главинж, и здесь он Моцарт, независимо от реалистических обстоятельств его жизни. Вместе с Секретарюком приехал он из южного провинциального города в Москву на семинар по повышению квалификации — казалось бы, что за занятие для Моцарта быть главным инженером заштатной конторы “Сельэлектро”, где главное дело — нагреть руки на каком-нибудь жульническом злоупотреблении своим служебным положением? Однако ни убогая контора в родном убогом городишке,

ни убогая комнатенка в убогом районе Москвы, которую снимает главинж у убогой старушки Татьяны Степановны, не омрачают возвышенного состояния его духа. "...учтите, что я недавно взвешивался после парилки, — во мне 92 кило, а меня несло как бы по воздуху. Это была полнейшая согласованность, как бы слияние с чем-то, разлитым вокруг, какая-то абсолютная гармония со всем, что меня окружало: тротуаром, зданиями, прохожими, троллейбусными проводами и рекламой".

Именно эта его гармоническая уверенность в себе, выглядящая порой ординарным самодовольством, навеки припаяла к нему неудачливого Секретарюка, посвятившего свою захудалую жизнь неустрашимой зависти к главинжу, доведшего эту зависть до вершин поэтической страсти, сделавшего эту зависть источником творческого вдохновения. Главинж в полноте своей самосогласованности и не стремится ни к чему возвышенному, ощущая каждой клеточкой своего шестипудового тела, что он и так хорош. А несчастный Секретарюк мечется в тисках своей зависти, стремительностью своих метаний создавая громадную подъемную силу, уносящую его далеко от мелких подробностей невзыскательного бытия. Можно было бы даже сказать, сознавая, конечно, всю кощунственность такого утверждения, что в повести Гиршина Моцарт и Сальери поменялись местами. Впрочем, кощунственность такого поворота темы давно уже оправдана тем же Гершензоном, сказавшим в "Мудрости Пушкина", что "ад ущербного существования состоит в том, что душа безнадежно жаждет наполниться ...и страсть вулканическим взрывом наполняет душу".

В ущербном сознании Секретарюка его всегда удачливый сотоварищ вырастает в существо демонического, пугающее своим мистическим влиянием на окружающую жизнь. Когда Аве Мария показывает ему на полу своей комнаты овал, очерченный мелом, поясняя, что здесь стоял (сидел, лежал, словом — присутствовал) главинж, бедный Секретарюк отшатывается в ужасе, ощущая, как могучее силовое поле потоком невидимых волн, излучаемых из очерченного пространства, пронзает его бедное тело. И хоть не вполне ясно, существует ли этот овал в реальности или только в лихорадочном воображении измученного завистью Секретарюка, не остается сомнения, что все, связанное с главинжем, полно для бедняги мистического значения. Сама их несносная нерасторжимость представляется Секретарюку реальной, а не психологической связью: он все время рассказывает о телевизионном кабеле, которым связал его с главинжем фантастический извозчик, колесящий по Москве на старой пролетке, запряженной терпеливой лошадкой, роняющей навоз под колеса троллейбусов. Кабель этот, равно как и извозчик, то и дело возникает на страницах повести то с пугающе достоверными подробностями, вроде того, что был кабель закреплен вокруг левой руки Секретарюка и вокруг правой руки главинжа, — то в обрамлении фантазмагорического бреда, в котором обезумевший Секретарюк мечется по ночной Москве в страстном стремлении починить истершиеся его волокна, пока главинж спит, не подозревая о роковом разрыве связующей нити. Впрочем, нить эта по-настоящему оборвана быть не может: многолетнее сосуществование превратило главинжа с Секретарюком в сиамских близнецов. С того далекого дня, когда оба они молодыми инженерами сразу после института вместе переступили порог конторы "Сельэлектро", тянется

эта нить к последнему этапу драмы зависти, трагически завершающейся где-то в переплетении московских переулков неподалеку от Кировского метро. Равными и полными равных надежд вошли два молодых инженера, два друга в захудалую контору “Сельэлектро” — и на этом равенство их закончилось. Веселый, всегда довольный собой и обстоятельствами главинж пошел вверх по служебной лестнице, а незадачливый Секретарюк так и остался навечно у потертого, залитого чернилами стола в общей проходной комнате младшего персонала. И не важно, какое место в современном прогрессе занимает “Сельэлектро” отдаленной южной провинции, ибо “всюду жизнь” и все определяется не абсолютной величиной достижений, а относительной. Сила зависти, сосредоточенной вокруг кабинета главного инженера захолустной конторы, вполне сравнима с силой зависти посредственно композитора к гениальному. А дальше остается только выбор места, времени и оружия — а роковой исход уже предreshен классикой.

Но тут-то советская действительность предлагает нам в повести Марка Гиршина новое решение темы и неожиданный финал. Острые противостояния поворачивается не против беспечного Моцарта, а против злокозненного Сальери. Запутавшись в собственных безумных построениях и слегка подталкиваемый беспечной рукой главинжа, он попадает под колеса тяжелого грузовика и умирает в больнице Склифосовского. И ему, затравленному собственной непреодолимой сладостно-мучительной завистью, кажется, что он добровольно выбрал свою погибель (а может быть, так оно и есть?): “Я слез с пролетки и заполз под колесо. “А теперь возьми и переедь меня”, — попросил я. “Как это, переедь?” — извозчик постучал себя кнутовищем по лбу. “А вот так, — сказал я, — тронь лошадку”. И прежде чем он успел опомниться, я обратился к лошади: “Н-но!..” И послушное животное сделало шаг...” Но неожиданный, издевательский, я бы сказала — феерический перевертыш классической темы смертью Сальери не окончен, он продолжается: пока человечество теряется в догадках относительно злодейства Сальери — убивал или не убивал? — Гиршин в заключительных главах романа преподносит нам Моцарта, судимого за убийство Сальери. Подсыпав нд в бокал своего гениального друга, Сальери, как известно, облегчения не нашел; так и главинж после похорон Секретарюка вдруг ощущает непонятную тоску по своей незадачливой тени. В действительности, тоска эта понятна: жизнь отныне как бы потеряла для него всю свою остроту, жизнь его стала бесцветной и пустой. К чему привычные усилия для дальнейшего продвижения вверх? Кто теперь их оценит той самой высокой мерой — Завистью, — что всегда замешана на восхищении, на вечном — и неосуществимом — стремлении слиться, разделить, причаститься благодати?

Н. Воронель

Деда звали Василь Козак, а у бабки собственного имени не было. Для всего села она была просто Козачиха.

Старикам уже перевалило за семьдесят, но жили они одиноко, без детей и внуков, в просторном полтораэтажном доме с четырьмя комнатами вверху и кухней внизу.

В кухне было тесно от большой русской печи, в которой бабка пекла хлеб, и едва хватало места для дедового топчана с неопрятной постелью, прикрытой старым стеганым ватником. На кухне дед только спал, днем же он обычно сидел на низком пне возле сарая напротив дома и бессмысленно глядел прямо перед собой.

Раза три в день бабка выносила ему огромный чугунок мятой, ничем не заправленной вареной картошки, от которой валил пар, и дед жадно пожирал ее, зажав чугунок коленями. Он обжигался, иногда застывал на несколько секунд с открытым ртом и вытаращенными слезящимися глазами и снова принимался заглатывать горячую массу, пока не приканчивал весь чугунок и не выскребывал его деревянной ложкой. Потом он сидел в изнеможении, привалившись спиной к стене сарая, и отдыхал.

Пока он ел, бабка смотрела на него с жалостью и гадливостью, потом, злясь и ру-

Ирина Немировская

В БАНДЕРОВСКОМ СЕЛЕ

гаясь, с трудом отдирала дедовы пальцы от чугуна и уходила. Иногда взгляды стариков встречались. Дед втягивал голову в плечи, лицо его становилось детским и жалким, он что-то мычал, просительно и затравленно заглядывая снизу в суровые глаза старухи.

Дед был сумасшедший, и в дом ему заходить запрещалось.

Старуха целый день моталась по дому, и непонятно было, как она успевает переделать такую кучу работы: варить, печь, стирать, кормить и доить корову, ухаживать за садом и огородом, таскать ведрами воду из дальнего колодца, драить жесткой щеткой деревянные некрашеные полы, пока они становились светлыми и желтоватыми, как сливки, и неласково, но все же заботиться о деде.

Была она легкая, сухая и жилистая, как старый корень, и крепкая, как старый корень.

Когда после университета меня послали работать учителем в это западноукраинское село, не отмеченное ни на одной географической карте, я поселилась у бабки, потому что более удобной квартиры в селе не было. Дом стоял напротив школы, две просторные комнаты, высокие, с большими окнами, выглядели почти как городские, но главное — моя половина была совершенно отделена от хозяйской. И все же, когда молодая бабкина соседка привела меня сюда впервые, чтобы я сама убедилась, что лучшего и желать нельзя, я не сразу решилась войти в этот дом: сумасшедший дед меня пугал, а бабка не нравилась. Она была поразительно похожа на ведьму из русских сказок: черные, колючие, глубоко посаженные глазки, нос крючком, безгубый запавший рот и торчащий острый подбородок.

Пока я колебалась и мучилась, бабка, не переставая, болтала с соседкой, неестественно хохотала, изредка бросала на меня язвительные взгляды и всячески старалась выразить высокомерное равнодушие к моему решению.

“А черт с ней, с бабкой, — в конце концов, уже злясь на себя за свои нелепые колебания, подумала я. — Ведь я всегда смогу переменить квартиру”.

Чтобы не жить одной, я пригласила к себе молодую учительницу истории, мою землячку, с которой познакомилась в дороге, милостивую, флегматичную, с добрыми красивыми коровьими глазами и со знойным то ли испанским, то ли цыганским именем Розита.

Через несколько дней на старухиной половине поселился третий жилец, учитель математики Тадек, родом откуда-то из-под Дрогобыча. Он говорил на местном диалекте, и бабка сразу не то чтобы полюбила, а приняла его как члена семьи.

Мы ему очень обрадовались — мужчина в доме.

Все мы были примерно одного возраста — 21—22 года, только что закончили учебу и были присланы сюда на работу.

В первые же дни мы обнаружили, что купить что-нибудь в селе очень трудно, что каждую мелочь, как, например, луковицу или морковку, надо искать в другой хате, а хлеба вообще не продают. Правда, учителям выдают 15 кг грубой муки в месяц, но кто же из нас умеет печь хлеб.

Все эти проблемы вдруг оказались такими неразрешимыми, что мы пали духом.

И тут хозяйка передала нам через Тадека, которого она потихоньку подкармливала, что готова получать за нас муку и печь нам хлеб, кипятить утром и вечером молоко и готовить обед, а каждый из нас будет платить ей в месяц триста рублей.

Триста рублей! Это были огромные деньги. Я работала 36 часов вместо положенных восемнадцати и получала на руки около тысячи, Розита и Тадек — почти вдвое меньше: у них была одна ставка.

Но мы-то уже знали, что выхода у нас нет, и остро предвкушали счастье сытой и беззаботной жизни.

И вот мы все трое сидим за большим столом на бабкиной половине и ждем с нетерпением и любопытством.

— Представляю себе, что она наварит, — своим медленным-медленным голосом говорит Розита, медленно поднимая тяжелые веки и переводя красивые томные глаза с меня на Тадека. Голос у нее чуть гнусавый, и кажется, что от тянется, как резинка. Тадек бросает на меня смеющийся взгляд и тихо восхищается: "Вот зануда!"

Бабка, несмотря на то, что на нее навалилась еще новая работа, вдруг как будто помолодела и расцвела.

Она летала по кухне, ножи и сковородки звенели в ее руках, что-то кипело, что-то шипело на плите, а она весело колдовала в этом своем кухонном ведьмачьем царстве.

В дверь сунулся молодой и легкомысленный пес Брындик. Он вежливо приседал на все четыре ноги, с невероятной быстротой вихлялся на одну сторону и отчаянно трусил. Брындику, как и

деду, в дом входить запрещалось. Но, очевидно, все-таки жила в душе Брындики вера в какие-то его собачьи права, и поэтому он не уходил и даже неуверенно фамильярничал.

Хозяйка явно не разделяла его иллюзий. Она весело рявкнула: “Гэть звидсы, пся крэв!” — и Брындик, так стремительно поджав хвост, что кончик его выскочил где-то возле морды, вылетел из кухни.

Появление Брындики, его глупая, славная, смешная морда и даже его изгнание — все это вдруг показалось нам почему-то ужасно смешным, и старуха хохотала вместе с нами, опустившись в изнеможении на низенькую скамеечку у плиты, хохотала до слез, как девочка, вытирая глаза рукавом, и это было так неожиданно, что мы уже забыли, из-за чего мы смеемся, но никак не могли успокоиться и только всхлипывали и стонали.

Потом ослабевшая от смеха хозяйка начала разносить тарелки, а галантный Тадек ей помогал.

Этот первый обед потряс нас. Годы были еще не сытые, и мы не были избалованы, но не в этом дело. Все было действительно приготовлено рукой мастера. Откуда у этой сельской старухи такие кулинарные таланты?

— Вчылась, — ответила на мой вопрос польщенная хозяйка. — Завжды вчылась у людэй — у полякив, у еврэйив, у всех.

— Здесь есть евреи?

— Булы. В вийну усих повбывалы, — сказала старуха, отвернувшись к плите. Голос ее был невыразителен, и я не поняла, жалует она этих убитых евреев или просто констатирует факт, но только хорошее настроение улетучилось.

Учебный год еще не начался, времени было много, и в доме постоянно вертелись гости.

Чаще других приходила Катя. Она была старше нас лет на шесть и уже несколько лет учила сельских малышей. У Кати было широкое простое лицо с крупными бледными и белыми бровями.

— Некрасива, — увидев ее впервые, изрек Тадек, который любил ставить точки над и. Но Катя улыбнулась и сразу перестала быть некрасивой. У нее было очень редкое качество — доброта, доброта безграничная, которой хватало на всех, да еще к тому же приправленная легкой насмешливостью и милым украинским юмором. Катины руки постоянно кого-то ласкали. Она немедленно

пригрела Розиту, которая нас всех раздражала, и та начала ходить за ней, как прижитая, заглядывая ей в лицо влюбленными глазами. Тадек пофыркал-пофыркал, но вынужден был согласиться, что Катя славная.

А когда она рассказывала нам о своих малышах, которых назвала "вылупками" и "вытришками", разыгрывала целые сценки, перевоплощалась в каждого из них, старательно таращила глаза и захлебывалась от усердия, мы уже все влюбленно смотрели на нее, а она первая смеялась тихим, уютным смехом.

Однажды она привела к нам молодого парня в пограничной форме и с собакой-овчаркой на поводке.

— Сашка, — охрипшим басом представился парень, пристально разглядывая нас с порога прищуренными пронизательными глазами Ната Пинкертона.

Катя шепнула нам, ласково глядя на него:

— Дурний, як Брындик, — и с той же ласковостью обратилась к нему: — Чого дывышся, Саша?

Сашка в это время перевел свой пронзающий взгляд на Тадека, и Тадек вдруг нервно задергал плечами и вспыхнул весь. Немигающие глаза с наслаждением остановились на неожиданной жертве, сверля и терзая ее, наконец Сашка удовлетворенно хмыкнул и объяснил нам:

— Я только посмотрю вот так (он растопырил пальцы перед глазами) и насквозь человека вижу.

Он с грохотом выдернул стул из-под стола, с размаху опустился на него так, что стул взвизгнул и еще долго постанывал, закурил какие-то ужасно вонючие папиросы, и вся комната стала сизой от дыма.

Откинувшись на спинку стула и разбросав ноги, он позвал хозяйку и грубо потребовал водки и закуски. Старуха выслушала его молча, сжав в нитку губы, но не возразила. Всегда быстрая и стремительная, она удалилась демонстративно медленно.

Всем стало неловко.

— Зачем вы так? Она ведь вам в бабушки годится! — почти ненавидя его в эту минуту, сказала я. — И потом, кто вам дал такое право — приказывать ей в ее доме?

— Значит, есть у меня такое право, — запальчиво проорал Сашка. — Старая сволочь, бандеровка, я ее еще уважать должен? Да я бы их всех своими руками перестрелял, гадов. Ну чего смотришь? Не нравится, да? Интеллигентные мы очень и добрые! А ты знаешь,

сколько наших людей тут от их рук полегло? Это тебе нравится? Мы вот сегодня всю ночь за этими бандитами бегали, ведь знаем, что они здесь сидят, знаем, — а не поймали. Почему, спросишь? Небось у нее все сыновья в бандерах, я это еще выясню. А ты говоришь. Подрасти сначала, потом будешь меня учить.

— Да вам-то сколько лет?

У Сашки была предательски мальчишечья, ну прямо щенячья, курносая физиономия.

— Саша в нас вжэ вэлыкый, вин в нас гэрой, вин никого не бойиться, вин усих раз-два вбывае и всэ тут, — ласково прожурчала Катя и погладила его по голове.

Сашка резко повернулся к ней, “гавкнув очыма”, как она тут же прокомментировала, но, встретив ее добрые насмешливые глаза, неожиданно засмеялся.

— Ладно, тебе, сестричка, прощаю. А мне уже 26 лет, и здесь, как на войне, год за два — значит, еще больше.

— Вы выглядите намного моложе, — простодушно сказала Розита, и Сашка поперхнулся папиросным дымом.

Потом он загорелся показать нам фокусы, побежал к хозяйке за стаканом, потряс им в воздухе.

— Все видите? Стакан! Сейчас накрываем его платком... платком, значит, накрываем, так, эйн, цвей, дрей, — Сашка сделал эффектную паузу, — нет стакана!

Он сдернул платок, но что-то в фокусе, очевидно, не сработало — стакан упал со стола и звонко разлетелся на куски.

— Дывысь, и правда — нэма стакана! — восхищенно сказала Катя.

Саша страшно огорчился.

— А черт, всегда получалось, нет, правду вам говорю, получалось. Устал, видно, сегодня, не в форме. Не в форме мы с тобой сегодня, да, дружище?

Сашка обнял собаку, которая сидела, тесно прижавшись к его колену, и поцеловал ее в морду.

Я уже давно смотрела на красавицу овчарку, странно тихую и грустную, но Сашка с самого начала запретил ее гладить: нельзя, не полагается, она должна знать только хозяина, он для нее бог, и что он скажет — закон. А к другим привыкать нельзя.

— Чего она такая невеселая?

— Не она, а он. Простудился, температура у него повышенная, вон нос сухой совсем и горячий, — лаская собаку, говорил он.

Собака, прижав уши, не мигая, смотрела ему в глаза благодарно и преданно и изредка быстро и широко облизывалась от избытка чувств.

— Ничего, еще поживем, братишка. Ну до чего ж люблю его, никого на свете не люблю, как его. Никому на свете не верю, только ему.

— И мэни нэ вирыш? (Это Катя.)

— Ты хорошая баба, сестричка, лучше всех, кого я знаю, только и тебе не верю. Человек всегда о себе думает, даже самый лучший, не может иначе. А для него — нет на свете никого и ничего, только я. Сто раз умрет за меня, даже секунды не подумает. Сколько раз он мне жизнь спасал.

Хозяйка принесла закуску и водку, увидела разбитый стакан, брови ее взметнулись — с посудой было трудно, — но не сказала ни слова.

Все так же молча, с поджатыми губами она накрыла стол, подобрала осколки и удалилась, прямая, как аршин проглотила.

— Воображает, — с ненавистью сказал Сашка. Он жадно ел, видно, крепко проголодался. Сейчас я вдруг увидела, что он и вправду не так уж юн: тонкие сухие морщинки процарапаны на лбу и вокруг рта, и что-то тоскливое в выражении губ и глаз. Ладно, пойду я. Спать хочу, прямо подыхаю, — сказал он, с трудом поднимаясь из-за стола. — Бабусю дорогую за меня поцелуйте. Эй, старая! Слышишь, что говорю? — вдруг заорал он так, что все вздрогнули.

— Йды вжэ, йды вжэ, вытришок, — выпроваживая и подталкивая его к дверям, сердито говорила Катя.

Он прогрохотал по ступеням, и в комнате стало необычно тихо.

— Сумасшедший какой-то, — сказала наконец Розита.

— Нэщасливый, — тихо и грустно заметила Катя.

— Чего это он несчастный?

Сашкина история действительно была невеселой.

Несколько лет назад, когда он только приехал в Западную Украину — он и вправду был тогда мальчишкой, — Сашка отчаянно ухаживал за местными девушками и то ли на самом деле влюбился в одну из них, то ли просто так женился — под пьяную руку. А года через два, когда у него был уже сын, братьев жены арестовали за бандеровщину, и Сашке приказали оставить семью. Катя сказала, что есть такой закон. Чтoб не пожалел, кого не надо.

Перевели его от семьи подальше, сюда, к нам, с женой своей он

с тех пор не встречался и видеть ее, бандеровку, не хочет — так он говорит, — а по сыну с ума сходит и пацанов маленьких на улице видеть спокойно не может, схватит на руки, целует и подбрасывает.

Все это он рассказал Кате, рассказывал и плакал. А потом, видно, стыдно ему стало, что плакал, и он начал показывать, что ему море по колено, потому и вел себя, как дурак.

— Пишов?

В дверях стояла бабка. Подчеркнуто сухая, не глядя на нас и не разговаривая с нами, она убрала посуду, не захотела, чтобы мы ей помогли, и оттолкнула Катину руку, когда та стала подвигать ей тарелки.

— Обиделась, — сказала Зита, обводя нас несчастными глазами.

Тадек бегал по комнате, дергая головой.

— Мы для него не люди, в сто раз хуже собак, — залпами выбрасывал он на бегу. — Все на одно лицо, и все не люди.

— Сядь, — попросила его Катя.

— Не сяду. “Нэщасливый”, — перекинул он Катю. — Жена его зато очень счастливая. Напился — женился. Приказали — бросил. А как он на меня смотрел! Он, этот дурак, он меня насквозь видит! Он нас всех насквозь видит!

В двери заглянула хозяйка, посмотрела на Тадека страшными глазами — он запнулся, как будто опомнился, махнул рукой и выскочил из комнаты.

Начался учебный год. С утра, наскоро выпив кружку молока, мы мчались в школу. Возвратившись, сидели за столом, усталые, изнеможенные, а хозяйка хлопотала вокруг нас, небрежно спрашивала, вкусно ли, и расцветала, когда мы дружно восторгались обедом.

Но однажды я увидела, как, приготовив отбивные, она сунула блюдо с оставшимся в нем сырым яйцом под шкаф, чтобы использовать завтра. В другой раз она поставила на пол тарелку с горячими овощами, чтобы остудить. Войдя в комнату, я увидела, что Брындик, дружески кося на меня глазом и колотя хвостом, глотает с лихорадочной поспешностью — сейчас прогонят! — уже остывшие овощи.

Пронзительный крик старухи — Брындик скатывается по ступеням, а она вытирает край тарелки рукавом и, чтобы окончательно успокоить меня, выбрасывает несколько кусочков картош-

ки. Она просто не понимает, почему я смотрю на нее испуганными глазами, ведь ничего не случилось, ведь она вытерла тарелку.

Мы ужасались и не знали, что делать. Не можем же мы есть из одной тарелки с Брындиком.

В свою очередь хозяйка считала нас людьми без элементарных представлений о чистоте.

В селе мытье полов было культом. Полы сверкали белизной, и входить в дом в обуви считалось верхом невежливости. Мы нарушали это священное правило, и на нас смотрели с презрительной жалостью: чего с них спрашивать — восточники!

Но еще большее неуважение вызывало наше полное неумение пользоваться уборными. Уборные, чистенькие, похожие на скворечники, стояли во дворе, обычно довольно далеко от дома. В дверях было вырезано кругленькое окошечко или сердечко. Внутри, в интимной полутьме, возвышалось нечто вроде пьедестала — “стилець”. На этом вот “стилець” полагалось сидеть. Но, как ни драили хозяйки свои уютные скворечники, упрямые квартиранты-восточники ни за что не хотели садиться на “стилець”. Тогда, очевидно, в надежде пробудить нечто сокровенное в душах пришлых невежд, местные жители решили воспользоваться их же средствами пропаганды.

На уборных появились написанные крупными буквами, а иногда и изукрашенные цветочным ярким орнаментом лозунги: “На стильци нэ стояты, тилькы сыдиды”.

Ничто не помогало. Это была безнадежная война двух миров: Восток есть Восток, Запад есть Запад, и друг друга им не понять.

Местные жители не случайно обратились к лозунгам. Парторгам, комсоргам, учителям и прочим культуртрегерам советской власти вменялось в обязанность бить по населению агитацией, по возможности наглядной, надежно мозолящей глаза и не оставляющей ни на минуту — как зубная боль.

Приезжие кадры обычно не страдали от тяжкого бремени знаний, они не искали какую-то там связь миров, но в этом было даже известное преимущество: полная свобода и раскованность вносили приятное разнообразие в их работу.

“Вся власть Советам!” — прочтала я на стене сельского клуба. Другая стена вещала: “Жинка в колгоспи — възлыка сыла”. А на костеле была прибита дощечка: “Религия — опиум для народа”.

Говорили, что прибил ее сам ксендз, лучший шахматист, талант-

ливый рассказчик непристойных анекдотов и блестящий знаток марксизма-ленинизма, цитирующий наизусть целые страницы ленинских текстов. Он увидел одну из наших учительниц с молотком и гвоздями в одной руке и фанерным щитом в другой, когда она задумчиво прикидывала, к какому бы дереву прибить эту свою наглядную агитацию, галантно забрал у "пани-вчитэльки" ее неудобную ношу, серьезно прочитал и произнес с чувством: "Ну зачем же к дереву? Мы сейчас прибьем это прямо к стене костела".

Местное население было поголовно верующим, и никакая агитация тут не помогала. Наступали праздники или просто воскресенье, и все село тянулось в костел. Мужчины чинно шествовали в отлично сшитых европейских костюмах ("варшавская работа!"), женщины — в яркой и праздничной смеси европейского с национальным.

Очень часто девушки несли сапожки или ботинки в руках, возле костела долго вытирали босые ноги об утреннюю росистую траву и входили в костел праздничные уже с головы до ног.

Бережливость высоко ценилась и, очевидно, не только в селе. Городской Тадек ходил на работу в глянцевом от долгого употребления ватнике, хотя семья у него была зажиточная.

Хозяйка носила юбку и передник всегда наизнанку, чтобы не выгорали, донашивала до дыр, так ни разу и не пощеголяв веселым ситцевым рисунком. Она безусловно одобряла бережливость Тадека: "Добрый чоловік якыйсь жинци будэ".

Приближалась зима. Непрерывно шли дожди. Под ногами чавкала глинистая грязь, и при каждом шаге надо было долго раскачивать сначала одну, а потом другую ногу, чтобы вытащить ее из липкого капкана. При слишком резком движении обувь оставалась в грязи, а ее владелец по инерции стремительно летел в ту же грязь.

Сырость пронизывала насквозь, и казалось, что все тело пропиталось водой, как губка.

Учителя, привилегированная каста села, получили дрова. Нам на троих привезли три телеги сеежих зеленых веток. На них немедленно взобралась шкодливая хозяйкина коза, и через неделю половины нашего топлива не было.

Село было окружено тянувшимися на километры непроходимыми лесами. Старые деревья смыкались кронами где-то высоко

ко в небе, пространство между ними было тесно заполнено подлеском, кустарником и какими-то ползучими, вьющимися и свисающими растениями. Проезжая дорога была прорублена сквозь сплошную массу леса, и лес стоял стеной по обе ее стороны.

Посреди этого дубового и букового изобилия мерзли зимой села. Лес не продавался. Достать дрова, не нарушив закона, было невозможно. Нарушать закон решались только те, кто находился под его защитой. Местное население, вечно подозреваемое и уличаемое в связях с бендеровцами, руководствовалось мудрой пословицей: "Нэ чыпай лыха", — и предпочитало жить в нетопленных хатах, чем у всех на виду топить печь краденными дровами.

Нам повезло. Дрова, не доеденные козой, все же давали тепло. Когда я приходила с работы, Тадек встречал меня скромной самодовольной улыбкой в уже натопленной комнате. Все было прибрано, ученические тетради сложены аккуратными стопками, а в открытой дверце печи алели древесные угли.

Но скоро мы поняли, что надо экономить топливо. Хозяйка варила обед на хворосте, подкладывая тоненькие веточки только под кастрюлю, но дрова таяли не по дням, а по часам.

Тадек рыцарски отказался от своей доли хвороста, и теперь печь топилась только у нас. Мы все собирались в единственной непромерзшей комнате, готовились к урокам, проверяли тетради, сумерничали, прижавшись к теплой стенке. Но в декабре, в разгаре морозов, дрова кончились. По утрам мы пробивали лед в ведре с водой, умывались, лязгая зубами, грели руки о кружку с горячим молоком и убегали домерзать в школу. После обеда мы с Розитой ложились в кровать, укрывались двумя одеялами, ее и моим, а сверху клали мою перину. Вскоре мы согрелись, у нас появлялось приятное ощущение комфорта, и можно было даже проверять тетради, высунув из-под перины кисти рук в перчатках. Два одеяла и перина служили очень удобным пюпитром для пачки проверяемых тетрадей. Вечернее молоко Тадек приносил нам в постель, лихо исполняя роль официанта.

Иногда после работы к нам приходила Катя. Мы сейчас обнаружили в ней еще одно очень важное достоинство: она была большая, мягкая и теплая, как перина. И когда, сев между мной и Розитой, она обнимала нас и прижимала к себе, мы чувствовали себя счастливыми цыплятами под крыльями теплой матери-квочки. Для Тадека у Кати рук не хватало, и он сиротливо и независимо хорохорился в стороне.

Мы жили мечтой о зимних каникулах и надеялись, что нам разрешат поехать домой на две недели. Но директриса решительно отказалась отпустить нас. Впрочем, она не возражала бы, если бы мы получили разрешение в районе.

Между нами и райцентром было двадцать три километра леса и немощенной дороги, которая на дневном солнце превращалась в липкое болото, а ночью смерзалась комьями. Мне повезло: кому-то из колхоза нужно было ехать в райцентр после полудня. Это была редкая удача. В такую пору связь между селами почти прерывалась.

Мы влезли в огромную, добротную и тяжелую, как танк, повозку, подаренную колхозу пограничниками, но лошади, к сожалению, были не дареные, а колхозные, кормленные соломой с крыш. Одна из них была маленькая, дистрофически костлявая, с печальными глазами и той фаталистической покорностью судьбе и готовностью тянуть до последнего, которая встречается изредка у деревенских, обычно одиноких женщин, с непонятной честностью взваливающих на себя все колхозные невзгоды.

Вторая из лошадей была молодая, рослая, тоже очень тощая, но довольно бодрая кобылка, которая всю дорогу артистически симулировала работу на износ, при этом отставала и предоставляла своей пожилой товарке в одиночестве тащить тяжелый экипаж. Ее жестокая житейская мудрость, постигнутая в лошадиной среде, тоже была вполне человеческой.

Характеры двух наших лошадей определяли характер езды. Повозка двигалась все время боком, почти по диагонали, во всяком случае не по проложенной колее, что еще больше затрудняло движение, и я чуть не плакала, глядя на несчастную, надрывающуюся клячонку.

Правил лошадьми крошечный гномик, весь утонувший в чем-то сером, стеганом и потрепанном. На каком-то километре пути он обернулся к нам, и я увидела розовую детскую мордочку, милые доверчивые глаза и такую дружелюбную улыбку, что на душе у меня потеплело. Махонькая замерзшая лапка держала тяжелый кнут. Оказалось, что ему девять лет, и зовут его — о Господи! — Альфонс.

Слишком долго было бы рассказывать о многочасовой езде, о неожиданно полившем дожде и ударившем к ночи морозе, о моем попутчике, который, как оказалось, был крепко и буйно пьян, о том, что мы натолкнулись на пограничную засаду и мча-

лись как сумасшедшие — благо, дорога здесь шла вниз, с горы, — думая, что нас хотят остановить бандеровцы, а пограничники в кромешной тьме решили, что мы-то и есть бандеровцы, и стреляли по нас — все это уже другой рассказ.

Приехали в райцентр мы глубокой ночью, остановились в переполненной убогой хате, носившей громкое название отеля, кое-как перебились до утра, а утром я уже была у третьего секретаря райкома по делам просвещения, потом у второго, потом у первого. Один за другим все отказали мне, грозя судом и убедительно доказывая, что если я уеду на две недели, то уже не вернусь никогда. (Интересно, что я даже не помышляла о побеге.) Мое отчаяние было беспредельно. Я вдруг почувствовала, что, если я не вырвусь отсюда хотя бы на несколько дней, я умру, просто не смогу жить дальше с этим ощущением своего каторжного, кандалного рабства.

Уйдя в себя и в свое горе, я снова проделала ту же дорогу, не замечая времени, и очнулась только возле нашего дома.

Хозяйка открыла мне дверь, отшатнулась на минуту и с воплем: “Ирцюню, ты ж чорна уся, дытыно моя!” — схватила меня в объятия и крепко прижала к себе. Она плакала и причитала надо мной, а меня вдруг начала колотить крупная дрожь, зубы стучали, и мне все время хотелось лечь на пол, и только хозяйка за чем-то мешала мне.

Прибежал испуганный Тадек, меня почти донесли до хозяйкиной кровати, укрыли огромной легкой и жаркой периной, напоили липовым чаем и даже позвали ко мне медсестру, известную в селе под длинным именем “та, що в нэи сапогы красыви”. Сапоги были действительно красивые, с каблуками и кожаными кисточками. (Впрочем, это я рассмотрела уже потом.) Оказалось, что у меня температура выше сорока, но, очевидно, это была не простуда, а нервное потрясение, потому что я утром встала совершенно здоровая. Старуха сидела возле меня почти всю ночь, и, когда я вдруг начала плакать, она, с лицом тоже мокрым от слез, тихонько одобряла меня, горько кивая головой: “Плач, плач, доню, лэгшэ будэ”. Она как будто хотела что-то сделать для меня и опасалась, и колебалась, но вдруг ее лицо приняло решительное выражение, энергичным движением она вытерла глаза и твердо сказала: “Годи плакаты, я кыну тоби на картах”.

Что наша хозяйка гадает, мы знали уже давно. В тесноте нашего совместного житья скрыть это было трудно. Не было для

нас секретом и то, что она лечит односельчан. Очевидно, она делала это несравненно лучше, чем, "та, що в нэйи сапогы красыви", потому что все село предпочитало лечиться у нее. Вся ее комната была увешана пучками сухих трав, на подоконниках и столе лежали мешочки с какими-то семенами, корешками, сушеными цветами — старые проверенные народные средства.

Но секрет ее популярности был, наверное, не только в умении предсказывать судьбу и в знании трав. Она была здесь своя, знала всех с детства, была открыта каждому горю и каждой радости, жалела и сочувствовала. К ней приходили и просто за советом, она слушала, глядя прямо в глаза — вся внимание, и на ее лице отражалось все, что чувствовал говорящий.

Но все, что для села было достоинством, было известно только селу и важно только для села. У властей были свои критерии. Гадалка и знахарка — это могло стать для нее приговором. А если, как когда-то предположил Сашка, у нее еще и сыновья были в бандеровцах, это было опасно вдвойне. Узнав нас поближе, она поняла, что мы на нее не донесем, но на всякий случай делала вид, что люди к ней приходят просто так, в гости, а мы деликатно делали вид, что верим этому.

Правда, в самом начале, увидев на столе карты, я полушутя попросила ее погадать мне. Она рассердилась всерьез и резко ответила мне, что все это глупости, что она не умеет гадать, да и кто умеет?

Сейчас ее предложение погадать мне было не просто желанием помочь и ободрить, это было выражением доверия и очень тронуло меня.

Она долго раскладывала карты, совсем не так, как гадали женщины у нас, разложила две колоды длинными рядами вдоль большого стола, оперлась о руку, всматриваясь, вдумываясь и изучая, и наконец медленно, взвешивая каждое слово, заговорила. Предстоит мне дорога, ждет меня радость, и много людей, приятных мне, вокруг меня, и хлопцы без счета, а неприятностей никаких не будет, и судить меня не будут, не надо бояться.

Была уже глубокая ночь. Она устало поднялась и сказала мне, как о решенном:

— Нэ пытай бильшэ никого и нэ просы. Завтра, колы стэмние, прыйидэ сюды мий свояк и видвэзэ тэбэ на станцию. Вночи йидэ пойизд на Дрогобыч, а там ты вжэ купыш квыток до дому.

Странно, но мне вдруг стало очень легко. Я как будто со сто-

роны увидела свое недавнее горе и даже удивилась, таким оно показалось мне далеким и ничтожным. Бабуся, бабця, ведьма моя дорогая, почему же я сама не увидела этого раньше?

На следующий вечер, когда стемнело, приехал свояк. На всякий случай он остановился метрах в ста от дома. Тадек подхватил мой чемодан и сумку с продуктами, приготовленную мне бабцей.

— Спасибо, бабунцю, спасибо вам, родненькая, — сказала я и попыталась обнять ее, но она сорвалась с места, подбежала к печке, что-то завернула в бумагу и сунула в сумку с продуктами.

— Бабцю, ну когда же я все это съем?

Мне хотелось смеяться и плакать, у нее глаза были мокрые. Она вообще легко плакала, только собственные горести переносила с сухими глазами.

Меня посадили на подводу. Тадек жал мне руку, Розита и Катя целовали меня. Несмотря на то, что подвода должна была проехать мимо нашего дома, они не пошли вслед за ней: лучше было не привлекать внимания.

Лошадь тронула. Я смотрела на дом, который стал мне родным. Вдруг я увидела темный силуэт, мелькнувший на крыльце. Кто-то бегом спускался по лестнице. Так стремительно двигаться могла только бабця. Она мчалась наперерез приближающейся подводе, держа в поднятых руках что-то большое и белое.

— Ирцю, Ирцюню, — шепотом взывала она ко мне, — холодно тобі будэ, визьмы!

— Что это, бабцю?

— Цэ штаны мойи тэпли, воны чысти, я нэ носыла йих.

Она совала мне в руки огромные байковые штаны в обильных сборках. Я перегнулась с подводы, схватила ее в объятия и, прижавшись лицом к ее плечу, старалась заглушить хохот. Какая уж там конспирация! Она, легонькая и очень сильная, отбивалась от меня, тоже хохоча, и между взрывами смеха сдавленно шипела, что сейчас прибежит все село.

— Нэ цилуй мээнэ! — вдруг решительно оттолкнула она меня.

— Почему?

— Старых нэ цилують, воны брыдки.

— Ах, бабцю!

Она быстро погладила мою руку и помчалась к дому.

Две недели промелькнули так быстро, что я почти не почувствовала их. Мама, с которой мы были так близки и по которой я так

тосковала, старые друзья, круговерть встреч и расставаний — все это так захватило меня, что я не вспоминала о далеком селе и гнала от себя мысли о возвращении. Когда же все-таки я села в поезд и увидела из вагонного окна мамину веселую напряженную улыбку и полные отчаяния глаза, мне стало так горько и так плохо, что никого и ничего мне уже не хотелось видеть. Я забилась в угол и съежилась там, отгородившись от всего немилого мне мира. Чем ближе я подъезжала к Львову, тем сильнее овладевали мной мысли о моем селе, о бабушке, о новых друзьях, и вдруг сквозь отчаянную тоску по дому я с удивлением почувствовала, что я возвращаюсь к очень близким мне людям, что я соскучилась по ним и с нетерпением жду встречи.

Меня встретил такой взрыв радости, что я даже не ожидала этого. Мы говорили все наперебой, смеялись неизвестно чему. К моему приезду где-то раздобыли веток, горела печка. В доме было так славно, чисто, тепло.

— Я думал, что вы не приедете, — у Тадека сияли глаза.

— Ну, Тадек, я же сказала вам, что я вернусь.

— А я знала, що ты прийидэш.

— Бабцю, — удивленно глядя на нее сказал Тадек, — вы же тоже говорили...

— Та май розум, Тадэк, ничего я не говорыла, я знала, що вона вэрнэться.

Районное начальство тоже обрадовалось моему приезду: меня уже не ждали. На радостях из моей зарплаты вычли деньги за две недели, но я не обиделась и даже сочла это вполне справедливым.

И снова потекли дни, и снова мы все собирались то у нас, то в комнате у хозяйки. Я часто расспрашивала ее о своих учениках, об их семьях. Ей нравился мой интерес к ним, она знала все обо всех.

Она любила слушать о всяких смешных школьных случаях, смеялась так, что однажды сползла на пол со своей скамеечки у печи и продолжала смеяться, лежа на полу — маленький темный комочек.

Отношения между нами были любовные. Я теперь часто проверяла тетради у нее на кухне, она не мешала мне, занималась своей домашней работой, но была рада моему присутствию.

— Ирцюню-ю! — залиvisto и певуче кричала она с крыльца, если я куда-то выходила.

— Бабунцю-ю! — голосила я, придя с работы и не видя ее дома.

Если у нее выдавалась свободная минута, она приходила к нам и смиренно сидела на стуле, боясь помешать мне. Это было так редко, что я сразу же оставляла свои клятые тетради, и начинался длинный разговор. Странно, но нам всегда было о чем говорить.

Однажды она, явно волнуясь, сказала мне: — Пам'ятаеш, ты питала мэна про еврэйив. Лижко, що ты спыш на ньому, воно ж еврэйськэ. Сусиды мои булы. На ньому усих и повбывалы.

Я посмотрела на кровать, и все во мне сжалось. Сплошная деревянная стенка была вся изрешечена рваными дырами и щербинами от отколовшихся щепочек. Я и раньше видела это, но не обратила внимания, эта чудовищная возможность просто не пришла мне в голову.

Сколько же их было, детей и взрослых, обезумевших от предсмертного ужаса в этой мирной деревенской кровати? Зачем столько пуль было выпущено в них? Не надо было экономить, пули были нескитанные? Или они упрямо жили, и надо было убивать их снова и снова? Кто стрелял в них — немцы или старые соседи — украинцы?

Я глянула на старуху. По лицу ее ползли слезы, заполняя глубокие морщины. Она смотрела не на меня, а куда-то в сторону, и такая горькая печаль была в ее глазах, что я в смятении почувствовала: я не могу, я не хочу не верить в искренность этой печали.

— Как в селе относились к евреям?

— Воны булы, як уси. Стыльки рокив жылы разом, сусиды булы. Диты гралыся разом, молоди любылыся.

— Бабцю, их нельзя было спасти? Вы знали, что их убьют?

— Знали.

— Нельзя было их предупредить, спрятать?

— Та дэ, доню! Я думаю, що й воны знали усэ. Як в сэли можно сховаты когось? Уси про всех всэ знают. Й нимци шукалы.

— Здесь такие леса, они могли бы спрятаться там.

— З дитьмы малэнькымы? Зымою?

Моя мысль лихорадочно искала выхода, возможности спасти тех, кого уже давным-давно не было в живых.

Какую же роль все-таки сыграло в этом убийстве село? Пассивные наблюдатели? Может быть, кто-то даже плакал? Добровольные убийцы? Послушные исполнители немецкой воли?

Я ни разу не столкнулась в этих местах с антисемитизмом. Наоборот, ко мне относились гораздо лучше, чем к моим рус-

ским и украинским коллегам. Когда во время каких-то праздников в клубе началась пьяная драка между "западниками" и горсточкой "восточников", меня мгновенно замкнули в тесное кольцо мои рослые ученики-десятиклассники и в этом кольце, скрывая и защищая, потащили к выходу — только меня одну, несмотря на то, что я отчаянно пыталась вырваться и броситься на помощь к своим.

Антисемитизм, почти откровенный и ищущий поддержки у населения, исходил от партийной верхушки, которая конечно же не была местной. Я ни разу не видела такой поддержки.

И все-таки все евреи здесь погибли, и никто даже не попытался спасти их.

— Бабцю, если бы сейчас вы знали, что меня хотят убить, вы сказали бы мне, чтобы я успела бежать?

— Та май розум, Ирцю! Хто схочэ тэбэ вбываты? Нащо ты говорыш дурныци?

— Вы бы меня спасли, бабцю?

— Дурнэнька, ты думаеш, що я усэ могу зробіты? Якбы я могла спасаты людэй!

Она торопливо пошла к выходу.

— Бабцю, почему вы не рассказали мне о евреях тогда, когда я спрашивала вас?

Она обернулась и глянула мне прямо в глаза.

— Ты мэнэ тоди нэ любыла.

К нам прислали новую учительницу — Галю. Галя была белобрыса и цвела здоровьем. Ее крепкое тело было сбито добротной и надежной, по-деревенски, спиной была широкая, как печка. Маленькие бледно-голубые глазки с трудом пробивались сквозь толщу крепких ярко-румяных щек.

Как ей удалось закончить учительский институт, неясно. Была она девственно невежественна, и это обнаруживалось, как только она открывала рот.

Деревенская с головы до ног, Галя почему-то ни за что не могла примириться с мыслью, что она должна работать в селе.

Истекая слезами, она жаловалась нам на свою судьбу, и сердобольная Розита, не задумываясь и не советуясь ни с кем, предложила ей поселиться у нас, пока она найдет себе подходящую квартиру. Галя приняла это предложение, как нечто совершенно естественное, даже не поблагодарила и немедленно влезла в Розитину

кровать. Теперь она уже не истекала слезами, а выла в голос, как деревенские бабы на похоронах.

Пора было ложиться, на работу мы поднимались рано. Розита разделась и жалобно топталась у собственной кровати, до краев заполненной ревушей Галей. Ясно было, что для Розиты там места нет. Добродетель, как всегда, была наказана. Выход был один: взять несчастную изгнанницу к себе в постель. Она поспешно юркнула под одеяло и благодарно обняла меня, холодная как ледяшка.

Галя неожиданно умолкла. Мы с облегчением вздохнули и приготовились уснуть. Но через несколько минут на смену громкому вою пришел не менее громкий храп. Так это и чередовалось с тех пор: день-ночь, рев-храп. Только на работе, невыспавшиеся и издерганные, мы отдыхали от Гали. Она на работу не ходила, почти не вставала с постели и, как уверял Тадек, не плакала, пока мы не возвращались домой, а отдыхала и набиралась сил.

Розита чувствовала всю меру своей вины перед нами, боялась поднять глаза, ходила, как тень, и даже похудела. Тадек не мог простить ей Галиного вторжения и, когда она проходила мимо, тихонько рычал ей вслед:

— Розитка — паразитка.

Любопытная Катя каждый день наведывалась к нам, чтобы посмотреть, как идут дела, и потом долго сдавленно смеялась в коридоре, обнимая несчастную Зиту.

И только бабца смотрела на Галю с непонятной нежностью, и это окончательно выводило меня из себя.

Когда жить стало уже совершенно невозможно, Галя вдруг захлопнула ревуший рот и трезво и буднично заявила, что она решила бежать отсюда домой. Мы смотрели на нее, не веря своему счастью. Неужели, милая, неужели?

А вдруг она передумает? Тадек помчался к бабце договариваться о том самом свояке, который недавно возил на станцию меня. Как мы собирали Галю в дорогу! Как мы любили ее в этот вечер! Мы простили ей все, даже то, что, тяжело взгромоздившись на подводу, она забыла попрощаться с нами.

Когда подвода с Галей скрылась в ночи, мы бросились в комнату и с хохотом начали отплясывать какой-то буйный дикарский танец. Счастье распирало нас. Как, по сути, немного нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым.

Бабця с легкой улыбкой поглядывала на нас, но участия в веселье не принимала.

Назавтра за обедом она была молчалива и рассеянна, не моталась, как обычно, и даже присела с нами за стол, положив на колени натруженные руки.

Мы все еще были возбуждены, но ее непонятное поведение встревожило меня.

— Как вы себя чувствуете, бабуцю? Вы не больны?

Она посмотрела на меня удивленно, небрежным движением руки как будто отбросила мою тревогу: “Ни, ни, я здорова, що мэни будэ” — и неожиданно спросила:

— Як тоби, Ирцюню, Галя — красыва?

Зита широко распахнула глаза. Тадек фыркнул; иначе, чем коровой, он Галю не называл.

— Толстая она очень, бабуцю.

— Ага, товста, — подтвердила старуха с какой-то странной мечтательной улыбкой. Она помолчала. — Я була ще товстиша. Йшла — зэмля гудила. Красыва була.

Она никогда раньше не рассказывала о себе, но сейчас, очевидно, воспоминания нахлынули на нее с такой силой, так всколыхнули все ее существо, что она просто не могла не поделиться с кем-нибудь. Глядя не на нас, а как будто далеко-далеко, в ту свою ушедшую молодость, когда она была еще толще и красивей Гали, она продолжала:

— Хлопци мэна дужэ любылы, сватив засылалы, та я нэ хотила йты замиж, молода була. Ото стою я раз на мости, що чэрэз ставок. Йдэ Пэтро. Хап мэна за груды. Я тилькы так — руков (бабця так выразительно взмахнула своей высохшей рукой, что мы почувствовали, какой силы удар получил дурак Петро за свои необоснованные притязания). — Вин — у ставок.

Глаза бабуци вспыхнули веселым огнем, и она захохотала молодо и счастливо.

— А я стою соби. Йдэ Стэфан. Хап мэна за груды. Я — руков, и вин у ставок.

За Петром и Стефаном шли еще Микола, Богдан, Нестор, унылая череда неудачливых влюбленных, которые без всякой надежды на успех совершали свое обязательное галантное “хап за груды”, чтобы вслед за этим полететь в ставок.

Голос бабуци звенел, она уже не рассказывала, а играла — себя, молодую, желанную и недоступную, стоящую “на мости”, и всех

влюбленных в нее хлопцев. Мы увидели самоуверенного веселого Миколу, основательного, серьезного Богдана и тяжелого тудума Нестора.

В этот звенящий и сияющий красками рассказ неожиданно влезла Розита со своим всегдашним нудным и прозаичным недоумением.

— А зачем вы их сбрасывали в ставок?

Бабця осеклась. Она медленно возвратилась в сегодня, увидела всех нас и вдруг с великолепной значительностью, смерив Розиту королевственным взглядом, отрезала:

— Горда була.

После этого она удалилась, понимая, как всякий хороший актер, что нельзя снижать будничной повседневностью произведенное впечатление.

— А зачем она вышла за деда? — продолжала недоумевать Розита.

— Спроси ее.

Впрочем, это действительно было странно.

Уже несколько месяцев я жила в этом доме и с дедом сталкивалась каждый день. Сидя на своем пне, он провожал и встречал меня дружелюбной улыбкой и долго кивал головой. Оказалось, что он даже умеет говорить. Однажды я сильно придавила дверью палец и, взвизгнув, сунула его в рот, согнувшись от боли. Дед заохал, затряс головой, всячески выражая мне сочувствие. Поведение его было вполне разумным.

— Вам жалко меня, дедушка? — спросила я.

— Пэвне, — вдруг очень четко произнес дед, для убедительности закатывая глаза, и снова дружелюбно закивал мне.

Я обнаружила, что дед не одинок, что у него есть друзья. Взаимное понимание и какие-то только им известные тайны связывали его с Брындиком и козой.

Брындик и коза были неразлучны. Он, как суровая дуэнья, сопровождал ее, куда бы она ни шла. Если у него были свои неотложные собачьи дела, он гнал ее перед собой. Я не уверена, что это доставляло радость козе, но, очевидно, она примирилась со своей участью. Ни один козел не осмеливался приближаться к ней в бдительном присутствии Брындики. Козе было три года, но она все еще ходила в девицах. Наверное, отсутствие счастья в личной жизни было причиной гнусного козьего характера. Она пакостила бабце со зловредной последовательностью соседки по коммунальной квартире и портила все, что только могла. Бабця задыхалась

от гнева и ненависти и только бессильно плевала в сторону, а дед за ее спиной радостно хихикал, возбужденно потирая руки и заговорщически подмигивая козе.

Однажды мы с бабуцей должны были зачем-то спуститься в подвальную кухню, где стоял дедов топчан. Мы открыли дверь и онемели. На постели, не сгибая высоких стройных ножек, с невесомой легкостью прыгала коза, а рядом с ней в ватнике и валенках, смеясь и радуясь, тяжело подпрыгивал дед.

— Тэпэр ты бачыш, якэ мое шастя, — с горечью сказала бабуца.

Я посмотрела на нее вопросительно, мне показалось, что она хочет со мной поделиться, и увидела, что нет, не хочет. Плотнo сжатые губы, сухие, горячие глаза — как всегда, когда ей плохо.

По сути, мы ничего не знали о ней.

— К бабуце дочка приехала, — сказал как-то утром Тадек, забежав к нам. Ясно было, что и для него сам факт существования дочки был полной неожиданностью. — Ее Касей зовут.

Я пошла познакомиться с дочкой.

Рыженькая, некрасивая, очень женственная, Кася лежала в кровати, укрытая по горло периной, и улыбалась грустной счастливой и немного растерянной улыбкой. Видно было, что она уже давно отвыкла быть дочкой.

А бабуца! Она вилась вокруг постели, возле своей взрослой, своей маленькой Каси, пьяная от счастья, и не давала ей встать. Пусть доченька отдохнет, мама и поесть даст ей в постель, и все для нее сделает. На один денечек только приехала она к маме.

— Йой, Касю, Касю.

Назавтра Кася уехала. Она жила во Львове, одна, без семьи, горькая, одинокая доченька среди чужих недобрых людей. Работала там. Не знаю уж, как ей удалось освободиться из колхоза.

Бабуца несколько дней бродила как потерянная.

Уже была весна. После серой скуки гнилых оттепелей, талого снега, пронизывающей сырости — вдруг яркая синева, юная светлая зелень и душистое цветение садов.

Я пришла из школы с непонятным ощущением праздничности. Возле дома стояла незнакомая мне старуха. Такой старой женщины я еще никогда в жизни не видела. Годы не пригнули ее к земле, а высушили, и казалось, что самый легкий ветер может со-

рвать ее с места и понесет, как шуршащий сухой лист. Она, наверное, и сама знала это, потому что держалась за дерево.

— Ганна вдома? — прошелестела она.

— Какая Ганна, бабушка? Здесь не живет Ганна.

— Ганна Козачиха, — слабо настаивала она.

Ганна Козачиха? Постой, а как зовут нашу бабу? Как же это мы ни разу не поинтересовались — бабця и бабця. Наверное, это действительно она.

— Да вы зайдите в дом, бабуся, в это время она всегда дома.

— Важко мэни, доню. Скажи йий, що маты прыйшла, хай выйде.

Мать?! Сколько же ей лет? Девяносто? Сто?

— Сейчас, бабусенька, сейчас!

Я опрометью бросилась в дом. Где же бабця? Ее нигде не было.

Обегав весь дом, я в отчаянии возвратилась к старухе.

— Может быть, вы все-таки войдете? Я помогу вам. Подождите ее в доме.

— Ни, ни, я пиду до дому.

— А где ваш дом?

Она назвала село, до которого было не меньше трех километров. Значит, она уже один раз проделала этот путь.

Я пыталась уговаривать ее, но старуха повернулась и засемила по дороге.

Я вошла в дом. Откинув ситцевую занавеску, передо мной стояла бабця, бледная как полотно.

— К вам ваша мама приходила, — выпалила я, еще не успев осознать, что происходит.

Она молчала по-прежнему, и я заметила, что руки у нее мелко трясутся.

— Бабу, вы были дома? Вы просто не захотели ее видеть?

— Вона знае, що я нэ хочу бачыты ййи. Хай нэ прыходыць.

— Бабця, она ваша мать! — взбунтовалась я. — Она такая старая, еле ходит, и тащилась три километра, чтобы видеть вас. Может быть, она завтра умрет, может быть, перед смертью она хотела вам что-то сказать. Что она могла сделать вам такое страшное, что нельзя простить ей даже перед смертью?

— Що вона зробыла? — тихо и хрипло засмеялась старуха, и у меня мурашки забегали по коже от этого смеха. — Ничого нэ зробыла. Тилькы всэ життя мэни знивэчыла. Я в ногах в нэйи валялася, нэ хотила йты замиж за Васыля. Другого хлопця любыла,

житы бэз нього нэ могла, и вин житы бэз мэнэ нэ миг. Тилькы цэ вона й зробыла, бильшэ ничого.

— Она выдала вас замуж за сумасшедшего?

— Та май розум, дытыно, — вяло возразила она. — Вин був файный хлоп, и розумный, и багатый, и любыв мэнэ. Я його нэ любыла. Уси щаслывы булы.

— А давно он такой?

— Ни, рокив п'ять будэ. Узнав, що сынив повбывалы, плакав дэнь и нич. Дужэ дитэй любыв. Я нэ плакала. Нэ дишлы мойи сльозы до очэй, спалыло мэнэ горэ, высушило мэнэ.

— Кто убил ваших детей?

— Одных нимци на вийни, других Советы. А трьох сынив у Сыбир заслалы. Жыви чы ни — один Бог знае. Та нэ тилькы йих узялы. Багато хлопцев ты у сэли бачыла?

— Они были бандеровцы?

— Як хочэш называй. Вони на свойий зэмли булы. Тилькы я завжды говорыла йим: нэ робить, диты, лыха никому, — завжды так вчыла. Вони добри хлопцы булы, уси йих любылы.

— Они еще вернутся, бабцю, — неуверенно сказала я.

— Люды кажуть, що звидты нэ вэртаються.

— А те, что немцы их убили, они что — были в Красной армии?

— В армийи булы. Советы йих узялы в армию. Та годи, доню. Нэ хочу я бильшэ говорыты про цэ, сэрээ краяты.

Ну вот и все. Передо мной приоткрылся краешек длинной человеческой жизни. Мы расстались и никогда больше не видели друг друга. С тех пор прошло 27 лет. Наверное, она уже умерла.

Жизнь просеивает воспоминания, что-то уходит навсегда, что-то остается иногда в дальних уголках памяти и вдруг всплывает, возвращается, заставляет думать о себе.

Я не знаю, почему я все чаще вспоминаю ее в последние годы. Не знаю.

А. Волохонский

РУЧНОЙ ЛЕВ

1

Кормили зверя птицами и мясом,
Поили зверя пивом и вином,
А он — дичал и, молвить слогом ясным,
Так перст истории почиет на нем.
Давали зверю кашу и малину
И пробовали рыбу и халву,
Валялся он, хвост за спину закинув,
И все дичал, как подобает льву,
И думали кругом: Что означает,
Что этот лев все время так дичает?
Кошмарным рыком оглашая ночь,
Ходил он вдоль и поперек по клетке,
Пугая мать, попугивая дочь
И в ужас приводя свекровь соседки,
И в обмороке бабушка — точь-в-точь
Равна предусмотрительной насадке,
Что закудахчет и куда-то прочь
Несется, чуть заслышит шелест ветки, —
Но бабушка уж бегать не могла
А просто услышала — и легла.

2

Был случай тот предлогом длинной мысли:
С чего бы это зверю так дичать?
Все думали: с чего бы? не от крыс ли?
Подумали и принялись молчать;
Молчали час, не менее, а может,—
И более, а то и два часа
Иль даже три, и зеброй день стреножен
Бродил, как полосатая верста —
Все очень долго думали в молчаньи
Об этом непонятном одичаньи.
Предмет их медитации простой

Со временем, казалось, не менялся —
Куда как был искусник Лев Толстой,
И то бы к третьей строчке потерялся
Иль подпустил драгунов на постой,
Где я лишь львом, дичая, кувыркался —
В квартире кони, дедушка, постой!
Толстой! Стой! Граф, куда? — Как ни брыкался,
Хулить его не след мне: у него
Ведь для сравненья не было его.

3

Заносимся над прошлым через меру
Мы часто. Привожу простой пример.
Вот говорят: Владеть простым размером
Сто лет любой как может землемер,
Личиною коломенского метра
И валенок отстучает строку. —
Валяйте! Но из вашего же фетра
Вам куколка проквакает: Ку-ку!
И скоком в кокон к шелкопряду тщанья,
А там уж не стихи, а завещанье.
Смотри — вокруг двух драгун кавалергард
Зарылся в войлок, хоть и при параде,
Там гренадер под множеством гранат
Мчит к вечности в сверкающей Гренаде,
По гнездам пучась виноградом лат —
Пять кирасиров, что сыры в засаде,
А вон — молодой улан, десятым в ряд,
Упал ничком — его мы видим сзади,
Как — вновь багаж былого вороша —
Вся сцена — склеп, и пьеса хороша!

4

Прощай война! Нет войска. Перебито.
Любовь сменила древнюю вражду.
Планета, поцелуями умыта,
Преследует насущную нужду:
Науки углубленные ученья,
Искусства, средства, левые права —
Европа вся плодами просвещенья
Увешана и, право же, права,
Когда в цветах, как девушка с Таити
На травах празднует труды своих забытий.
Но память мне пока не изменит,
Я помню дни иные, дни былые —
Какие дни! Она о них звенит,

Ко мне поворотив одни тылы их,
А я на них гляжу и знаменит
Их отраженьем в серебре стихии —
Не думайте, что лев уже забыт
В тех дней полуприветливой ностальгии —
Игры лишь для стою на голове.
Так вспомним о поэте — не о льве.

5

Кто нынче помнит, кто есть Ф.....ский?
Мы, правда, слышим Ф.....скую,
Что простенькой строкой немного плоской
Кокетливо-венецианскую
Фигурную избу игрушечную лепит
Из муравьиных перышек газет
Она. — А он?! — Бросает память в трепет —
Он тоже выл, он тоже дул в кларнет
И даже, помнится, “витийствовал на грани”
Норд-осты выдувая с левой длани!
Ужель мой прежний друг уже меж баб?
Как лошадью жена в бреду горячки
у N. (у Z.) промерзла в баобабе
Его бездельем вынужденной спячки,
В то время как весь генеральный штаб
Спал на коленях у последней пачки —
Так я — сперва спросив: ужель меж баб?
Отвечу сам, швырнув строфу из тачки,
Набобу в ноги, чтоб трубил в кебаб, —
Он баба, а не просто “между баб”!

6

Вот, вспомнил. Называется — приятель.
Приятно вспомнить. Лучше бы забыл.
Но не забыл. — Послушай, друг-читатель,
Он — мне, а не тебе — приятель был.
О строки рядом дроты претыкая,
Тогда Роальд невидимый сверкал
Он дал мне орифламму, утекая,
Он первым был и первым быть не стал...
Какие годы! Память к ним привыкла:
Девятый Ренессанс иль Век Перикла!
Евтерпой терпеливой напряжен
Орлом, певец в те дни нам не горланил,
Мы не водили падающих жен
Охотой на ежа в соседнем клане
И к пифии в Додоне петь в донжон

Силком на ясной отродясь поляне
Не бегали — чем кто и убажен,
Так разве дымом дури или дряни, —
О, где вы дни, премудрости верней? —
Ну, это, впрочем — “Дамы прежних дней”.

7

Да, кстати. Дамы. Притираясь к дошлым
Причудам турок, серый их сераль
Совсем поблек. Все минуло, все в прошлом —
Ну, так и быть, уж выпишу спираль:
“Снег Дании и инеи в Египте
Белее ок татарских век бровей
И дивно уха вылепленный диптих
В чужие скулы смешанных кровей”.
Я их любил — не то чтоб безответно,
Но по стиху и посуху — заметно.
Прошли дожди — настали холода.
Из центра с юга катят эмиссары
Коротконоги как сковорода
Обутая в обрубок фрачной пары,
Между сосцев имея SAMIZDAT
Дианы в передвижнических шалях
Вдруг все — Минервы, и с тех пор глядят
Как совы, стилизованные в Палех,
И скука, скука — хоть залей ульян...
О, где моя старуха и улан?

8

Лежат где положили, и не видно
В их обществе заметных перемен.
Знакомая картина: многим стыдно
И предложить так нечего взамен.
Улана ль в коммунальную квартиру
Нам сволочить за шпоры по весне?
Иль бабушку пришпорить к кирасиру? —
Но что там за забавы — в смертном сне?
Все это, право, лишние заботы —
Хлопоты к перемене мест охоты.
Ведь личности, упавшие ничком,
Лишь призваны помочь нам в этом тексте
Забуть зон, где юным новичком
Порхал я малым юношей в претексте, —
Я терций поплавки ловил сачком,
Нырнуть с Пегасом в обращенной сексте
Еще не смел, а вынырнув сверчком,

Пел стрекозу в прозрачнейшем контексте —
Не так как тут — немея в львином рву.
— Что? Лев? — Ура! Скорей назад, ко льву!

9

Они лежат. А лев, напротив, едет.
Не едет. Да. Нет. Едет, но везут.
Мазутом черной шпалой синей меди
Переливаясь рельсами за Прут.
Изгнанны оба в нравственной обиде
Кто — Цезарем, а кто, сказать — царем,
Здесь наш Арап мечтал, что он Овидий,
Но мой Бербер не думает о нем:
Он вовсе чужд поэзии Предпрутья,
Лишь в такт езде хвостом молотит прутья.
Мелькнули бессарабские холмы,
За ними трансильванские пригорки,
Где зрелые румынские умы
Французские плодят скороговорки,
Вон Венгрия, что мы в дымах чумы
Распотрошили как мешок махорки,
Вон Чехия — сквозь призрак Колымы —
Остекленела от последней порки
И тупо варит ладный свой хрусталь,
Германии отхаркивая сталь.

10

Гляжу ль на юг — паленые болгары,
Под полумесяц выкроив звезду,
Лежат как под монголами татары,
Целую плеть, намордник и узду,
А к северу — о Посполитой Речи —
Пасть против пасти с Пруссией в зубах
Копают уголь доменные печи
В заброшенных картофельных садах —
И в серый край до запада заката —
Как кол над ними тень понтификата.
Стучат в ночи засовы и ключи.
Везут. Трясется клетка роковая.
Кружат дорог степные палачи —
Закатаны в колеса рукава их,
Чего-то стонет поперек свечи
Мне лира-балалайка роговая
Чужая — да Емелей на печи
Мчит перлы в жемчуга переливая
Крылатый лев в Кастальские ключи —
О муза, умоляю, помолчи!

Молчанье то произвело движенье.
 Безмолвных обывателей конклав
 (Строфа вторая) произнес тюлень
 Решение: путь скатертью устлав,
 Пусть катится с отечественной свалки
 Через сугробы в полусферу — ту,
 Где Волга — Рейн и где ундин русалки
 День дуют щелочь, о ночь — кислоту.
 Гремя железом как трехконный Габсбург
 Въезжает лев в имперский город Страсбург.
 Как мирен идиллический пейзаж!
 Сколь девственно спокойствие в кварталах!
 Здесь западного духа эрмитаж,
 Здесь честь и совесть стран больших и малых
 Нечаянно попали за корсаж
 Их тертых представителей бывалых —
 Вдруг слышат шум, и все бегут туда ж —
 Что ж видят? — В шатунах, дымах и шпалах,
 Сама собой — осям бы только тлеть —
 К ним прямо на колесах катит клеть.

12

Предвижу приближение пуриста:
 Де "клеть" есть приложение к "избе",
 И как ей стать кочевьем для туриста?
 Иное — "клетка". Это "вещь в себе".
 Но случай наш — пример экстраверсии:
 Хоть диковаты странствия в клетях,
 Пуристу делать нечего в России
 Как, чисто россиянину в нетях.
 Затем, Пегас, не испаряясь в нети,
 Пойдем, попутешествуем в подклети.
 И завернув путем на сеновал,
 В часы, когда... — Не встань ногой на вилы!
 Ты вдруг поймешь, ... — Не угоди в подвал!
 Что все вокруг... — Копыто отдалило! —
 Вот, надо ж, — а недавно подковал... —
 ...Всего лишь только клеть Европы... — Милый,
 Там, верно, едет кто-то? Угадал? —
 ...Или Европа — клеть от нашей виллы...
 Стояли и на этом, и на том —
 Пурист же пусть сидит за решетом.

Дым улетел. Она остановилась.
 Остыли шпалы. К прутьям льнет толпа,
 И церемониймейстер "Ваша Милость,
 Пожалуйте", выделяет па.
 Он полноват, с улыбкою широкой
 На сером незначительном лице,
 В очках, однако взором недалекий
 Читает надпись на другом конце:
 "Стандартная. Размер 6 x 4.
 Не хватит двери — прорубите шире".
 Измерили и принялись рубить
 Избранники Европы. Пахнет пылью.
 Они прекрасны в искусеньи быть!
 Как слаженны их общие усилья!
 Долбят вот так, хоть всем бы так долбить,
 Имея цель, коль таковые были,
 Балдея в одолблении избыть,
 И под конец избыли и забыли
 И в Илион ушли на перекур,
 Свернув труды тьмутараканьских кур.

Минуй меня, о рок Лаокоона!
 Рек морем Крита вон бредут ко мне
 Два мерзких мозозавра, два питона,
 Клубясь как злые локоны в волне.
 Они идут избыть мои кебабы,
 И в трубы дури тел согнув кальян
 Лохани злобы изрыгнуть — куда бы? —
 Уж верно в обалдельный мой ульян.
 Все ближе, ближе слышен гомон брани:
 Они идут на кур Тьмутаракани!
 Так будь мне обороной, старина,
 Степной байтур Олджас Ибн Сулеймани!
 Кыпчакский гений, что тебе война!
 И со Всеславом ты ходил к Тамани.
 От рвов Куры, где тюркская стена,
 Мы их тесним! О, скверные критяне!
 Кыш, мозозавры! Эй, держись меня!
 Вяжи — того!... Повисли тороками...
 Ишь, — критики... Прийти в такую рань!
 (Но есть — еще одна Тьмутаракань) .

Там в стены кур неловкими руками
 Сограждане слагали как стихи,
 Там улицы мостили индюками,
 А башнями там были петухи.
 Скрипели ясным селезнем ворота,
 Чижами оглашалась высота,
 Сам лебедем пройдешь до поворота —
 Навстречу гусь — такая красота.
 А колокольней городского веча
 Был Соловей-разбойник, мой предтеча.
 А за рекою, матушка, — легка
 Вся жизнь плескалась ласточкиным пухом,
 Косым платочком в белые шелка
 Как пеликаны сказочным старухам...
 Давай, забудем про нее пока,
 К иносказаньям приклонившись ухом,
 Порою залетая в облака,
 Где не слышать о ней ни сном, ни духом,
 Где память кружит уткою нырка —
 Чтоб новой брани рати петь бока.

— Пора свести проверенные счета
 Пора вернуть постылые дары,
 Пора, пора! — Стоят четы-нечеты
 Вдоль всех концов большой земной дыры.
 Земли-воды как скифы прежде Ксерксу
 Не поднесли в забитый колом чан,
 Но, удалившись в степь навстречу персу
 Послали крысу, жабу и колчан —
 Так мы: вот лев — в своем размере крыса
 Жаль жаб нет, пусть держава дротом лыса,
 Зато мы ны и вы по роду гряд
 Под грохот ны на вы горохом в ряд
 Под корень вы — и, соловей, салат! —
 Пора! — выходит просто газават.
 И мы вот-вот — и срок коротковат
 Предъявим вы ужасный ультимат —
 ум, Да — придется вы солоноват —
 о, Мы на вы хвоста узнать по пят-
 кам, Вы держите льва, что крысой звать,
 А жабой мы найдем кого назвать.

("Ахейцы взяли Трои!") Сцена в зале.
 Кругом сидит Страсбургский Парламент
 (— Сказал бы галл, а мы бы как сказали?
 — Парламент Страсбургский). Я вижу тот момент,
 Когда открылось дело в парламенте
 (Парламенте, — пирихийем? — изволь!)
 Все было длинно в странном документе,
 Когда ж азианическую соль
 Известь лакедемонскими тростями,
 Все коротко: "Что вы — со львом, мы — с вами".
 Однако не лаконянин писал
 Да и повествователь не спартаец —
 Ему Дракон язык не окорнал,
 О, Дионис, прости мне этот танец! —
 Но я вдруг вижу ярко-белый зал,
 Застывших лиц неблагородный глянец,
 Как председатель в бубен заиграл,
 Едва явил (мимически) посланец
 Четыре такта в ритме топора
 И к ним еще призыв: Пора! Пора!

Пора, пора. Пегас, да ты рехнулся!
 Куда понес Химеру приручать —
 Лев как дракон вдоль прутьев извернулся,
 Собрался в ком, попробовал рычать,
 Затряс брадой, глазами глянул хмуро,
 Подпрыгнул, заорал от ми до ре,
 Зевнул, слегка оскалился и шкурой
 Ондатр улегся в мускус к конуре.
 И тут соображает все собрание:
 "Его изгнание нам сулит изгнание".
 О странный зверь, Пегас, скажи куда
 Тебя завлек инстинкт продления рода?
 О одичалый мой, ужель всегда
 Тебя манила суетная мода,
 Иль сквозь прозрачный гребень "иногда"
 Ты исподволь следил полет удода?
 Но, вспыхнув, не спеши ответить "да" —
 Химера как и ты седоборода,
 Единорогом лев нисходит в плен
 И "плен его нам предвещает плен".

Фи, мой Пегас, ты вовсе стал политик —
 Портфель копыта — в ямах trebuхи
 И пятистопный ямб как паралистик
 Трясется зрелой фигой в лопухи
 Между фигур зеленых виноградин
 Да фиников лежалых к слову "рать":
 "Кинокефал клянется безотраден
 В тени родной ступни не загорать,
 Не кутать кнехт телес в бом-брамсель уха
 И не мигать корме глазами с брюха!"
 Пародии! — а шкура-то бела,
 Все шуточки — а дело, где же дело?
 Ну что, соловушка, — плохи дела,
 Ты ей — хлеб-соль, а я, говорит, не ела,
 Что было взять — с собою не взяла
 (Не от того ль ты, дура, похудела?)
 Эк, удаль-невидаль, дуда ль тебе в удила?
 Не из чужого ль ты, говорю, удела? —
 Пойди, товарищ, посиди в хлеву,
 А я тебя чуть скоро позову.

Или еще. Гласила муза наша
 (Припоминаем древнее с трудом) :
 "Всем в доме занималась Параша" —
 И вот, Параша заняла весь дом.
 Какой Содом! Параша! Муза! Маша!
 Какой позор! — Небось, пережужем —
 "При ней варилась гречневая каша" —
 Нет, манная! Пшено да клей со льдом!
 И запустив в нее по горло руки,
 Давайте сдохнем, искренне, со скуки!
 Пора — кормить читателя, поить,
 Доить, любить, дарить стихотворенья,
 Присесть, в глаза взглянуть, поговорить —
 У самых почв производить паренье,
 Пора-пора, придется повторить, —
 Варить-варить и кашу и варенье
 И тыквы реп отпаривать, а парить
 Туда, где пухнут верные коренья, —
 Который образ, верно, укорит
 Того, чей Библ от рифм не угорит.

Грифоны, совы, львы, химеры, козы
 Да ангелы в клейнодах на лугу,
 "Пора-пора" да ратные угрозы —
 Одну из них забыть я не могу:
 "Мы в трое пим унтами сложим шляпу,
 Из Ватикана в Сыктывкарский Плен
 Ее свезем и навлечем на папу
 И будет нам не папа, а Пимен, —
 Засада впереди, осада с тыла,
 Рим наш!" — Все врут, не верь, держись, Войтыла! —
 Воскликнул убеленный сединой
 Один как перст большой избранный важный
 И сам к трибуне двинулся стеной
 И так провозгласил с нее отважный:
 Я, право, сам не знаю, что со мной!
 Что означает этот бред протяжный?
 Невеста ли прикинулась кумой,
 В подарок свахе дом многоэтажный
 Не завещал чтоб дядя предпочесть? —
 Я говорю: чем жизнь, дороже честь!

Гоните ж льва! — так продолжал оратор, —
 Вон льва! А там пускай решит металл!
 Вы видите, что сердцем консерватор,
 Я вам сегодня просто радикал! —
 И погасил из микрофона свечку.
 И депутаты повскакали с мест,
 И вмиг секретари заносят речь ту,
 Строча бустрофедоном в палимпсест,
 И снова лев рычит, и весь парламент
 Кричит в восторге: Что за темперамент!
 Уткнув лицо в бумажную листовку,
 Другой его сменяет: Сердцем правый,
 Я лев по видовому существу —
 Хоть и не прав был сеятель картавый,
 Но — к жатве перейти по естеству, —
 Так выйдет: не разинете и рта вы,
 Уж на траву придут косить ботву!
 Я, право, не магистр Калатравы,
 Но по "руну" о "льве" судить я смог:
 Повесимте на клеть другой замок!..

Слова исчезли. Их следы песцами
 По белоснежной тундре понеслись,
 Большие запятые месяцами
 Украсили трусливой речи рысь,
 Кружится зверь в неверном лунном блеске
 Двусмысленном как зубы ворожбы,
 А по кустам на пара тонкой леске
 Лик в лаврах среди страха и вражды
 Мелькает. Но как быть? С одной отвагой
 Идти на битву с финскою бумагой?
 Все кончено. Парламент тихо смолк.
 Кружат орлы пчелами возле лилий.
 Из безысходности выходит волк,
 Здесь воплощаясь, в меру изобилий,
 В большую стаю, в свору, в роту, в полк
 (На миг мобилизован как Виргилий)
 И угли глаз сверкают в желтый толк
 На звездных шкурах серебристой пыли
 И воет волк от страха осмелев:
 Пусть лев решает пусть решает лев!

— Да, мы не верим в силу гаруспиций,
 Мы не гадаем по полету птиц,
 Склоняясь как Лициний над лисицей
 Лить молоко на мельницу ослиц.
 Затем, что тощ и толст и с длинной шеей
 Наш Рим — курятник, где священный галл
 Порхал на стены, не щадя ушей их,
 И где кудахтал, там и гоготал.
 Но все же ради чувства формы, что ли, —
 Не в масть медведю лезть на Капитолий.
 Не верьте в птиц! Обманет их полет,
 Обманет цапель, выпей, канареек
 Воронам вещим лебедей балет
 Блестит Психее, но ее не греет
 Павлинам-королям фазан-валет
 В лес понизу суком на ветке реет —
 Не верьте им — и журавлям, чей лет
 Пигмеям был знаменьем в эмпиреях,
 Грачам на нивах, галкам по гумнам
 Не верьте им, а верьте львам и нам!

Вот, цепью грохоча, свинтив печатей
 Свинцовый груз и в море утопив,
 Под вспышки представителей печати
 Плывет мой шлюп из гавани в пролив.
 Не шелохнутся берега лагуны,
 А на мысу меж тем взрывают форт —
 Точить топор на колесе Фортуны,
 Друзья мои, — вот благородный спорт!
 Тот бомбу драит — этот мину удит,
 Кого не будет — много не убудет.
 Так что же будет? — Удерет иль нет?
 А если — то куда? — Глядим на карту
 Звенят ланиты, полный рот монет —
 Цыганка пляшет комментарий к фарту,
 Звенят ключи — останется иль нет?
 И то вино, что мы разлили к старту,
 Так, только зашипит? — Иль Континент
 Запыет Свободой? — Тост подходит марту,
 А завтра — Новый Год, святой Сильвестр —
 Щеколда брякнула, читатель см. сл. стр.

Клеть распахнулась. Шлюп встает на бочку,
 И взорван форт, и журавлиный клин
 Стремится в небо, заполняя строчку,
 Подобно скалке, что катает блин.
 Один лишь лев лежит — не шелохнется
 И зал глядит в мгновения янтарь,
 Чуть-чуть дыша, едва не задохнется —
 Что выкинет загадочная тварь.
 А он лежит, не входит, не выходит,
 Лежит — и ничего не происходит.
 К нему идет сама Симона Вейль:
 Животное, явите Вашу волю!
 Вы видите, я кутаюсь в вуаль,
 На вас взирая с горечью и болью,
 Сюда смотрите, зверь, пред Вами дверь,
 Так предпочтите — волю иль неволю,
 Но не лежите так как вы теперь
 Лежите, словно шкуру съело молью,
 Вы великан, гигант и исполин —
 Не в Вашем духе нюхать нафталин!

Но тщетны эти жалкие уловки —
 Лев до сих пор лежит как и лежал:
 Сапожник-век стучит по заготовке,
 А миг-то босиком и убежал.
 Во всех концах стоят четы-нечеты,
 Парламенты сидят, разинув рты,
 Поэты шьют, строча из переплета
 Взамен рубах на головы порты —
 Таков их скепсис, мироощущенье,
 Не требующее освященья
 Традицией: кто первый, тот и прав
 Гласить всю правду с терийокской дачи
 Тот — сунул нос в штанину как в рукав
 Тот — учит саксов речь с натуги плача
 И дань слезниц с учительниц собрав,
 В них тонет — браво, редкая удача —
 Их чистоте завидовал бы краб,
 Иль вот, совсем высокая задача:
 Вбить русский стих в техасские зады
 Из лбов преподавательской среды.

Покуда взаперти дичать горазды,
 Друзья мои, мы все — ручные львы,
 И рыбий дух общественности праздной
 Нам чертит невод в заводи главы.
 Снаружи хвост, а естество в неволе,
 Свободен зад, а все по грудь — в плену,
 Казалось бы осел гуляет в поле,
 Посмотришь — нет: лев пашет целину,
 Как бегемот надут высокопарный
 Откроет рот — услышишь слог тропарный.
 Там бродят в путях сеятель и жнец
 Кукует мукомол в печатный грохот
 И пекаря большой мучной венец
 Сидит на литераторе неплохо,
 Всем чучелом в глубины как тунец
 Нырнет поэт, не чужа в том подвоха,
 Но ждет рыбарь, измученный вконец
 К уде его маня с глубоким вздохом,
 Чтоб оросив взаимный водоем,
 Домой по хлябям шествовать вдвоем.

Так диво ли, что вместо хлеба — студень
 Для скучных мух печальный варит цех?
 По клеточкам меж восковых посудин
 Пчела-цикада дребезжит “за всех”
 И в результате опытов Гальвани
 К амфибии приделав провода,
 Труп ямба оживает в кислой ванне —
 Глядишь, — и лапка дрыгнет иногда:
 Тритоны аплодируют в ладоши,
 А саламандры ползают в рогоже.
 Я полагаю, это — бред и чушь
 И ложь и блажь — сплошное заблужденье
 Пока еще бумагу терпит тушь
 Давайте, справим слову день рожденья —
 И звездный блик сверкнет из черных луж
 Чернильных рос в черничных насажденьях,
 И нимб поэта, в царственный картуш
 Очерчен, явит светоч наслажденья
 Всему тому, на чем я тут стою —
 И громко память вечную пою.

Я славлю мир с его ручными львами
 Прекрасный мир — аквариум химер
 Пусть карлы букв, качая колпаками
 В последний раз чредою громких мер
 Прошествоуют по метрам стоп туфлями
 Слагая стих, как я бы не сумел —
 Пылай мой мир высокими углами
 Над бабкой, что коптит последний мел
 На пенсии — а где и быть-то старой?
 — А что — улан? — Улан пошел в гусары.
 Итак, я восхваляю праздный мир
 И зверя с флагом впереди парада,
 Стоит у Фермопил его кумир ---
 Там нашим другом хвалится Эллада,
 Простимся ж ныне с чемпионом игр,
 Которым все, надеюсь, были рады, —
 И где Нева, как в Ниневии Тигр,
 Над водами ночного Петрограда
 Струится, — пусть висит его портрет
 Петлею губ на ямба парапет.

Тивериада 1979 г.

Исразль Эльдад

И. Эльдад (Шайб) — видный израильский философ и публицист; в прошлом — один из соратников В. Жаботинского, после его смерти вышедший из ревизионистского движения и примкнувший к экстремистской организации Штерна-Яира "Лехи" ("Борцы за свободу Израиля"); вместе с Н. Елиным-Мором и Ицхаком Шамиром (Езерницким) возглавлял вооруженную борьбу организации против мандатных властей в 1942–44 гг., завершившуюся убийством лорда Мойна; в рядах Лехи принимал участие в Войне за Независимость; в 1949 г. издавал журнал "Сулам", на страницах которого провозглашал лозунг "Великого Израиля от Нила до Евфрата"; позднее входил в т. н. "библейский кружок" Д. Бен-Гуриона, где разрабатывалась религиозно-мистическая идея восстановления связи библейской и современной Палестины; в настоящее время — один из самых резких критиков политики М. Бегина в израильской печати.

ТАК КТО ЖЕ НАСЛЕДНИКИ ЖАБОТИНСКОГО ?

Мой первый вопрос таков: если бы Жаботинский был жив сейчас, в каком лагере он бы находился, в какой части израильского политического спектра? Иными словами — кто его наследники сегодня? Видите ли вы такого человека, группу, движение или партию, которая подхватила "знамя Жаботинского"?

— О духовных наследниках великого человека всегда трудно говорить. Великая личность неповторима. Говорить можно только о продолжателях принципиальных идеологических установок. И тут вы, конечно, ожидаете, что я назову наследником Жаботинского партию Херут и ее лидера Менахема Бегина, не так ли? Но парадокс истории состоит в том, что политическая идеология Жаботинского была унаследована не теми, кто теперь объявляет себя его учениками и преемниками, кто клянется сегодня его именем. Она была унаследована злейшим врагом и постоянным противником Жаботинского — Бен-Гурионом.

Вот почему одна из трагедий сионизма состояла в том, что в свою пору не произошел синтез движений Жаботинского и Бен-Гуриона. В начале тридцатых годов они были близки к заключению политического союза. Но на референдуме в Гистадруте в 1934 г. 15 тысяч человек высказались против такого союза и только 10 тысяч проголо-

совали за него. И в результате Бен-Гурион пошел на соглашение с Вейцманом, хотя политически был гораздо ближе к Жаботинскому.

— *Но разве они не были принципиальными противниками? Ведь Бен-Гурион был убежденным социалистом, а Жаботинский выступал против социалистической ориентации ишува?*

— Не следует преувеличивать эти разногласия. Бен-Гурион не был таким уж ярким социалистом, равно как Жаботинский не был таким уж непримиримым антисоциалистом. А главное — не этот вопрос стоял тогда на повестке дня. Если угодно, и Вейцман ведь тоже не был социалистом, он всего лишь поддерживал Бен-Гуриона в этом вопросе, потому что социализм группы Хацаир* был удобен ему — своей установкой на эволюционные действия. Вейцман был главным глашатаем эволюционности. В результате сложилась причудливая и противоестественная коалиция: эволюционизм Вейцмана, утопический социализм движения Хацаир — и британский империализм, который вообще был против сионизма.

В политическом же плане Бен-Гурион был гораздо ближе к Жаботинскому. Их мысли развивались параллельными путями. Жаботинский пришел к осознанию необходимости активных действий против англичан в 1938 г. — и начал нацеливать на это свою партию ревизионистов, ее молодежное движение Бейтар и военную организацию Эцель, действовавшую в Палестине. А Бен-Гурион пришел к тому же выводу чуть позже, в 1939 г. — и дал соответствующие указания военной организации ишува — Хагане. Возможно, если бы их политический союз состоялся, активные действия начались бы раньше, и государство было бы основано не в 1948, а в 1938 году. Что это означало бы для шести миллионов европейских евреев, объяснять не нужно.

— *Иными словами, Бен-Гурион в конце концов приходил к лозунгам Жаботинского?*

— Я бы сказал иначе: Бен-Гурион — подлинный наследник Жаботинского, потому что он осуществил на практике главные лозунги ревизионизма — еврейское государство и еврейская армия. Именно он, а не кто-нибудь иной. Но это не значит, что он во всем следовал за Жаботинским. Иногда он опережал его. Жаботинский тоже ошибался. Сегодня я могу уже позволить себе "ревизию ре-

* "Молодой страж" (ивр.) — всемирная организация еврейской молодежи, основательница многих кибуцов и коммун в Палестине, впоследствии вошла частично в партию Бен-Гуриона Мапай, частично — в левосоциалистическую Мапам.

визионизма” и сказать, что тогда, в 1937 г., Бен-Гурион выступил за раздел Палестины (план Пиля), а Жаботинский провозгласил в Александрии: “Не бывать этому!” — прав был Бен-Гурион, а не Жаботинский. Раздел позволил бы создать пусть небольшое, но самостоятельное еврейское государство уже в 1937 г., и миллионы европейских евреев были бы спасены. Но и это не произошло. История сионизма, а в особенности — ревизионистского движения Жаботинского — это история трагически упущенных возможностей.

— *Но это не меняет вашей общей оценки ревизионистского движения?*

— Увы, трагедия постигла это движение не только в политическом плане, но и в плане идеологическом. Ревизионисты провозгласили два главных лозунга: еврейское государство и еврейская армия. Они настаивали на них тем резче, чем резче были против них сионисты-социалисты из партий Мапай и Мапам. Но когда противники стали объявлять эти лозунги “фашистскими” и “милитаристскими”, многие последователи Жаботинского дрогнули. Жаботинский не боялся идти в одиночку против всех, но многие — даже в Эцеле — боялись. И в результате еврейское государство и еврейскую армию создали не они, а Бен-Гурион со своими социалистами. Это ли не насмешливый парадокс истории? Бен-Гурион умел в нужный момент проявлять жесткость и подчинять окружающих своей воле. Вспомните, как в мае 1948 года Моше Шарет привез из Вашингтона ультиматум Трумэна — не провозглашать еврейское государство, потому что пять арабских армий стоят наготове на границах Палестины. И что же? Бен-Гурион запер Шарета в комнате, чтобы тот не мог никому сообщить об этом ультиматуме, а сам собрал руководителей ишува и настоял на немедленном провозглашении государства!

— *Жаботинскому такой жесткости не хватало?*

— Жаботинский был прежде всего либерал, интеллигент и эстет. Он был воспитан на европейском либерализме XIX века. Он с трудом шел на “силовые методы”. Как и Герцль, он был больше склонен к декларациям и индивидуальным действиям. Им обоим казалось, что главное — это провозгласить принцип: право на государство, право на армию. Но всякое право нужно еще реализовать. И вот тут ревизионистскому движению не хватило того практицизма, которым в полной мере обладал его идеологический противник в сионизме — партия Бен-Гуриона. Мапай не признавала деклараций. Ее лозунгом было: придем к государству через прак-

тические действия — поселения, промышленность, самооборону. Наше же движение постепенно выродилось в движение деклараций.

— *И это — вина Жаботинского?*

— Нет, основная вина лежит на его преемниках. Вспомните хотя бы поведение Бегина сразу же после Шестидневной войны. Как только наша армия освободила Старый Город, я сказал Бегину: "Ты должен потребовать присоединения этих земель к Израилю!" Бегин был тогда единственным человеком в правительстве, который мог — и должен был — выдвинуть такое требование. Эшколь тогда провозгласил: "Мы не стремимся к территориальным захватам". Моше Даян сказал: "Мне не мешает, если на Храмовой горе будет развеваться арабский флаг". А Хаим Герцог, которого назначили военным комендантом Иудеи и Самарии, воскликнул: "Наконец-то нам предоставляется шанс дать палестинцам их государство!" Все это было не случайно: Мапай всегда выступала за раздел Палестины, за то, чтобы добиваться лишь "реально возможного". Но ведь Бегин и Херут всегда провозглашали, что Иудея и Самария — наши. Они обязаны были потребовать их присоединения. Но они опять ограничились шумными декларациями. Еще одна упущенная возможность, плоды которой мы сегодня пожинаем.

— *Вы считаете это отступлением от линии Жаботинского?*

— Я убежден, что Жаботинский никогда не отдал бы Иудею и Самарию, не отдал бы Синай. Я писал в статье, посвященной заключению мирного договора с Египтом, что Бегин ничему не научился у Жаботинского. Да он и не мог научиться — они слишком разные люди. Жаботинский — подлинный европейский либерал, а весь либерализм Бегина — напускной и поверхностный дешевый популизм, заигрывание с массами. Бегину глубоко чужд и непонятен эстетизм, который составлял основу личности Жаботинского. Даже когда Жаботинскому приходилось кланяться, он делал это с достоинством. Вся "эстетика" Бегина — в том, как на нем сидит галстук. Он все время беспокоится, в порядке ли его галстук — не он сам. Я помню, с какой гордостью он говорил, что Картер и Вэнс не смотрят на него, как на "лавочника". Для него главное — как на него смотрят другие: мировые лидеры, мировая история. Жаботинский впитал в себя всю европейскую культуру, он был знатоком и ценителем искусства, театра, музыки, литературы, и тем не менее он написал статью "Лавочник", в которой заявлял, что в хорошем национальном хозяйстве лавочник нужен

не меньше, чем рабочий и чиновник, что евреям нечего стыдиться этого занятия, если только они занимаются им с умом — не забывают, что, продавая, нужно еще при этом зарабатывать.

— *Вы противопоставляете Бегина Жаботинскому. Но разве не Бегин возглавил ревизионистское движение после смерти Жаботинского?*

— В действительности Бегин уничтожил движение Жаботинского. Первым шагом Бегина после основания государства было создание совершенно новой партии “Херут”. Уже самим этим названием (так именовалась подпольная газета Эцеля при Бегине) он хотел подчеркнуть, что начинает “новую главу” в истории сионизма, где вся честь принадлежит ему. Только ему, не Жаботинскому. А партия ревизионистов распалась. Ветераны ушли от Бегина, новички вообще не интересовались идеологией. Херут — это партия Бегина, а не Жаботинского. Он всегда хотел иметь собственную партию, собственную роль в политике и истории, это было для него главным. Поэтому его так бесило презрительное отношение Бен-Гуриона, который называл его не иначе, как “этот господин, который сидит в Кнессете рядом с Шаретом”, и всегда выходил из зала, когда Бегин начинал речь.

— *Бен-Гурион ненавидел Бегина?*

— Нет, Бегина он просто не принимал всерьез. Кого он ненавидел — это Жаботинского. И лишь потому, я думаю, что тот, при всех своих ошибках, в главном всегда оказывался прав. Жаботинский был гениальным провидцем. Он еще в 1936 году заявил, что необходимо срочно начать эвакуацию европейских евреев, потому что нацизм угрожает им физическим истреблением. Сионисты тогда называли его “фашистом” — за то, что он готов был применить насилие ради спасения еврейского народа. Сионистские лидеры пришли к пониманию правоты Жаботинского только в 1942 г., когда на Билтморской конференции провозгласили необходимость создания “национального очага”, чтобы спасти евреев Европы. А евреи Европы тогда уже горели в печах Освенцима.

— *Но реально ли было предложение Жаботинского? Ведь история учит нас, что самая прекрасная идея ничего не стоит, пока не придет ее время, пока она не “овладеет массами”...*

— Когда национальный лидер выдвигает идею, он не спрашивает у масс, пойдут ли они за ним. Моше Рабейну не спрашивал у евреев, хотят ли они покинуть Египет. Он прекрасно знал, что они этого не хотят. И они никогда бы не ушли, если бы он не поставил их в безвыходное положение. Вспомните, как Бен-Гу-

рион фактически заставил иракских евреев сняться с насиженных мест. Вспомните "план Нордау", который еще в 1922 г. предлагал силой вывезти 600 тысяч европейских евреев в Палестину. Когда его спросили, что они там будут есть, он ответил: "Даже если 60 тысяч умрут с голоду, остальные зато выживут..." И это Нордау, мыслитель, гуманист! Вспомните план Жаботинского—Штерна! Они договорились с руководителями тогдашней Польши — это было в 1938 г. — что те конфискуют имущество ста тысяч самых богатых польских евреев, чтобы побудить миллион евреев в страхе ринуться в Палестину... Только война сорвала этот план.

— Из ваших слов следует, что если бы нашелся новый Моисей, который силой вывел бы сейчас русских евреев из России, то это было бы и правильно, и осмысленно?

— Именно так. Мыслить нужно не эволюционно, а революционно — как мыслил Жаботинский. Я готов на принуждение — ради спасения самих же русских евреев и их детей. Я готов их заставить. Ведь заставляем же мы детей — для их же пользы. Массы — те же дети, посмотрите на них во время футбольного матча. Я уверен в своей правоте, потому что история учит нас, что Эрец-Исраэль — единственное место для евреев. И еще она учит, что мы можем опять опоздать. Когда мне говорят, что мы не можем присоединять территории, потому что там живет миллион арабов, я говорю: тогда давайте привезем в страну миллион евреев. Добровольно или насильно. Наши действия должны строиться на глубокой идее, на сионизме. А сионизм всегда исходил из возможности катастрофы. Если бы у нас впереди было еще двести спокойных лет, я, может быть, согласился бы заниматься "воспитанием" масс. Но пока мы воспитаем из них сионистов, другие их попросту задушат. Освенцим — это закон любого галута. Или ассимиляция, или уничтожение — третьего в галуте не дано. Поэтому мы обязаны спасти еврейских детей. Поэтому мы обязаны спасти их хотя бы даже силой. Я не фанатик из Нетуреи Карта, я не могу молиться и ждать пришествия Мессии. Мне мой миллион евреев нужен здесь срочно. И еще — я пессимист. Возможно, что я ошибаюсь в отношении близкой катастрофы. Но, знаете, лучше, когда ошибается пессимист, чем когда ошибается оптимист. Потому что если ошибается оптимист, это приводит к гибели народа.

— Вы утверждаете, что такие действия — в духе Жаботинского. И в то же время вы называете Жаботинского либералом. Как это совместить?

— Жаботинский был истинным либералом в отношении к будущему. Его идеалом была демократия. Свобода личности была для него превыше всего. В этом вопросе он доходил даже до анархизма. Но в конкретных обстоятельствах тридцатых годов, в эпоху Сталина и Гитлера, когда еврейству грозило физическое уничтожение, он не мог позволить себе оставаться прекраснодушным либералом. Он становился человеком действия, даже насильственного действия — во всяком случае, в принципе. И тогда его органический либерализм оборачивался для него трагедией. Либерализм и демократизм вообще были источником многих глубоких конфликтов в душе Жаботинского. Они, например, мешали ему увидеть реальность британской имперской политики. Они мешали ему до конца поверить в реальность Второй мировой войны. Помню, как после мюнхенского сговора Бегин заявил, что теперь в мире не осталось справедливости, и Жаботинский ответил ему: “Если ты разочаровался в справедливости, то тебе остается только утопиться в Висле. Слава Богу, мир — это пока еще обитель справедливых судей, а не притон преступников”. Эта вера оборачивалась для Жаботинского трагедией. Когда война началась, когда стало ясно, что польские и европейские евреи отрезаны от Палестины, его сердце не выдержало.

— *Вы считаете, что это было причиной его преждевременной смерти?*

— Может ли человек вынести два нечеловеческих разочарования подряд? В 1917 году Жаботинский был уже близок к осуществлению мечты всей своей жизни. Тогда Трумпельдор, по договоренности с ним, отправился в Россию (где в это время победила февральская революция), чтобы организовать стотысячную еврейскую армию (в основном из эвакуированных с запада евреев) и через Кавказ вторгнуться с ней в Палестину, освободить ее от турок и создать еврейское государство. Не думайте, что это была утопия. План был вполне реален. Трумпельдор действительно организовал еврейские отряды, они даже выступали на стороне Временного правительства и сорвали корниловский мятеж. Трумпельдор пользовался большим влиянием в эсеровской, самой многочисленной тогда, партии, он был близок с Савинковым, который сочувствовал его плану. Но в этот момент разразилась Октябрьская революция. И все рухнуло.

В 1939 году Жаботинский разработал второй исторический план. Предполагалось, что 1 октября люди Эцеля поднимут воору-

женное восстание в Палестине, захватят резиденцию Верховного комиссара, займут порты и примут там корабли с вооруженными людьми Жаботинского из Триеста и Констанцы. Жаботинский настоял, чтобы ему разрешили прибыть на первом же из этих кораблей. 31 августа руководство Эцеля в Палестине обсуждало план восстания. В самый разгар обсуждения ворвались британские солдаты и арестовали всех, сразу. А первого сентября началась война.

— Итак, либерализм и готовность на крайние действия вполне уживались в Жаботинском?

— Они всегда боролись в нем. И часто либерал брал верх над политиком. Жаботинский решился на соглашение с Петлюрой ради спасения украинских евреев, но не захотел встретиться с Муссолини, хотя тот предлагал использовать свое влияние на арабов для создания еврейского государства. Жаботинский тогда сказал: “Я очень люблю Россию, это моя физическая родина. Я очень люблю Италию, это — моя родина духовная. Но и там, и там диктатура. И я не хочу подавать руку Муссолини. Достаточно того, что на моем памятнике будет написано, что я подписал соглашение с Петлюрой...”

Кто же, в конце концов, встретился с Муссолини? Хаим Вейцман. Он встречался с ним четыре раза, последний раз — в 1934 г., когда Муссолини готовился к нападению на Эфиопию и думал заручиться поддержкой весьма влиятельного в то время сионистского руководства. Но Вейцман не верил посулам Муссолини, он делал ставку на англичан. Как и Жаботинский, к сожалению. Быть может, отказ от встречи с Муссолини был еще одной ошибкой Жаботинского. Ведь это была политика! Мог же Герцль отправиться к Плеве, чьи руки были по локоть в еврейской крови, чтобы попытаться спасти русских евреев. А Жаботинский, как видите, всю жизнь раскаивался, что подписал соглашение с Петлюрой. Либералу трудно делать политику, это грязное дело, она часто требует мучительных для его души поступков. В 1938 г. один из последователей Жаботинского даже пытался устроить ему встречу с нацистскими руководителями — тогда еще было о чем с ними говорить, они еще держались линии на выселение евреев, план “окончательного решения” созрел у них позже — после Эвианской конференции, когда они убедились, что весь мир, включая США, отказывается принять европейских евреев и равноду-

шен к тому, что немцы с ними сделают. Но Жаботинский не захотел говорить с нацистами.

Я не знаю, что было тут главной причиной — его либерализм, чувство эстетических пропорций в политике (ибо есть и такое чувство, очень важное для Жаботинского во всем, что он делал или говорил) или же присущий ему аристократизм. Жаботинский не терпел диктатуру и тоталитаризм еще и потому, что они вульгарны, неаристократичны и незстетичны. В его либерализме было много аристократического, вот почему он так любил Англию с ее аристократическим демократизмом и не любил Америку с ее демократической вульгарностью, считал ее “пустыней”.

— *Все, что вы говорите, лишний раз убеждает меня в том, что Жаботинский был одним из последних сионистских лидеров, кто имел подлинно европейскую закваску, чьи корни уходили в европейскую культуру, демократическую и либеральную традицию. Имела ли эта тенденция продолжение в израильском обществе или, под предлогом возвращения к “еврейским корням”, оно отходит в сторону самоизоляции и провинциализма?*

— Президента Навона однажды спросили, не боится ли он, что мир с Египтом приведет к левантизации Израиля. Он ответил: “Левантинцем можно стать и в сегодняшней Европе”. И он был прав. Сегодня и Ближний Восток, и Европа стремительно американизируются. Сегодняшняя европейская культура, пережившая нацизм, коммунизм и американизацию, — уже не прежняя европейская культура. И этот процесс неудержимо захватывает и Израиль, проявляясь в общем падении образованности и культуры нашей молодежи. В то же время “уходить к еврейским корням” не значит обязательно замыкаться в чем-то узком и провинциальном. Изучать еврейскую историю и культуру означает, в сущности, изучать историю и культуру чуть ли не всего мира. Это вам не американская история, которая началась всего лишь 250 лет назад! На днях я читал объявление о выходе книги “История евреев с сотворения мира”. С сотворения мира! Этот автор нисколько не сомневается, что Господь не мог создать мир без еврея. И правильно — как обойтись без еврея в таком важном деле?! Он убежден даже, что сам Господь уже был евреем, вот только не знает, каким — ашкенази или сефардом...

— *Я поставлю вопрос иначе: оставалось ли созданное Жаботинским движение на интеллектуальном уровне своего создателя?*

— В те годы доминировала общая антиинтеллектуальная тенденция. Кто строил страну? Бывшие студенты, бежавшие от схоластической мудрости, чтобы работать на земле, руками. Это сейчас

начался обратный процесс — бегства из кибуцов и с заводов. Но и тогда была существенная разница между ревизионистами и людьми из Хашомер Хацаир. В Хашомер Хацаир сосредоточилось много интеллектуалов-эмигрантов из Европы. Самые левые из них — в Еврейском университете, в кружке “Брит Шалом” — усиленно занимались поисками путей утешения наших “братьев-арабов”. Это была гипертрофия интеллектуализма, столь свойственная еврейству вообще. И ревизионизм был в определенной степени реакцией на эту гипертрофию интеллектуализма. На семинарах Бейтара изучали винтовку, а не историю еврейства. Люди Эцеля были солдатами, а не искателями в духе. Так одна крайность родила другую: противопоставив себя гипертрофированному интеллектуализму интеллигентов от сионизма, ревизионистское движение постепенно стало неинтеллектуальным, а потом и антиинтеллектуальным. Ревизионисты растеряли тех немногих интеллигентов, которые шли за Жаботинским, и сегодня на “правом” фланге нашей политической жизни вы их почти не увидите, не то что на левом.

— *А Херут не возродил в этом смысле традицию Жаботинского?*

— В Херуте антиинтеллектуализм только усилился, и не в последнюю очередь благодаря Бегину. Как-то вскоре после провозглашения Независимости я разговаривал с Бегоном. Я заметил ему: “Менахем, ты создал партию, которая не знает, что такое “дух”... Он вспылил: “Вечно вы, интеллектуалы, воображаете, что только у вас есть монополия на дух! А ты видел вчера митинг Херута на площади Муграби? Там было пятьдесят тысяч человек! А как они кричали — чем тебе не дух?!” Я сказал: “Менахем, я говорю не об этом духе. Где наши писатели, журналисты, ученые?” Он не ответил. Ему нечего было ответить: вся интеллигенция сбежала из Херута. Они не могли сотрудничать с человеком, которому нужно только преклонение, для которого “дух” проявляется в том, что толпа в пятьдесят тысяч скандирует его имя...

— *Мы возвращаемся здесь к вопросу о наследниках Жаботинского. Ни Бегин, ни его движение, по-вашему, такими не являются?*

— Я писал летом 1977 года, обращаясь к Бегину и его партии: “Вы должны честно сказать, — либо вы отошли от лозунгов Жаботинского, потому что эти лозунги устарели и неверны, либо эти лозунги верны, а вы попросту их предаете”. Ибо учение Жаботинского требовало от Бегина на второй же день после прихода к власти в мае 1977 г. провозгласить присоединение Иудеи и Сама-

рии и начать их массовое заселение. Я убежден, что прав Жаботинский. Я убежден, что Бегин отступил от линии Жаботинского. Называя себя учеником Жаботинского и продолжателем его дела, он в действительности оказался даже большим оппортунистом, чем деятели партии Авода. Он сам отказался от нашего суверенитета в Иудее и Самарии.

— *Вы говорите все время о лидерах и большой политике. Пусть среди наших лидеров сегодня нет достойных продолжателей Жаботинского. Но, быть может, это объясняется непопулярностью идей Жаботинского в массах?*

— Это старый как мир вопрос — о лидерах и народе. В нашей истории он начался еще с Моисея. Что за люди шли за Моисеем? Они тоже не были идеальными сионистами. Я хочу напомнить вам агадическую легенду. Она рассказывает, что Аарон попросил у евреев золото, чтобы сделать тельца, — и евреи дали ему золото для тельца. А потом Моисей попросил у тех же людей золото, чтобы сделать скрижали, — и они дали ему на скрижали. Агада говорит: таков наш народ — он дает золото и идолу, и Богу. В нашем народе, как в любом народе, есть и то, и другое. Мы не самые лучшие, мы не самые худшие, все дело в том, кто обращается к народу, на что его призывают. Евреи такие же, как все, — со времен Египта они не хотят уходить из рабства, их нужно выводить оттуда, иногда даже силой. Моисей, Герцль, Жаботинский всегда в меньшинстве, порой — в одиночестве. Сионизм — это вообще движение меньшинства. Сионизм был создан для несионистов: сионисты в сионизме не нуждаются. Но делают историю народа именно они — идеалисты, лидеры, меньшинство. Сейчас много говорят о йордим, подсчитывают, сколько их, как их вернуть, какими посулами. А я хочу напомнить вам подсчет Бен-Гуриона: из второй алии — второй, пионерской! — три четверти сбежало из страны! Кто же сделал историю еврейского государства? Оставшаяся четверть. Кричат о ношрим! Ида Нудель — вот, кто делает еврейскую историю, а не ношрим, даже если их сотни тысяч, а она — одна. Этому учит меня наша история — от Моисея до Жаботинского. Она научила меня трем простым вещам: сионизм стоит того, чтобы за него бороться; сионизм необходим еврейскому народу, если мы хотим спасти его от новой катастрофы; и наконец — сионизм осуществим! Это — главный урок Жаботинского.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Кризис политический и экономический есть чаще всего лишь отражение более глубокого кризиса в идейных основах данного общества, и потому он порождает поиски, направленные "к истокам" — к осмыслению исторических закономерностей национального бытия. Там, в глубине кризисного общества, мысль находит ту или иную оборванную нить или заброшенный путь и по ним возвращается к современности — с новым вдохновением и новой программой действий. Вот почему сегодня на израильской сцене возник целый ряд новых групп, движений и партий, стремящихся "вернуться к истокам" и "начать сначала"; к ним принадлежит и созданная проф. Ю. Невманом партия "Тхия" ("Возрождение") с ее сочетанием идейного идеализма и предельно конкретного прагматизма, веры в активное меньшинство и опоры на массовое действие. Предлагаемое читателям программное выступление Ю. Невмана излагает как идейную линию, так и конкретный план действий, предлагаемый его партией, которые, мы убеждены, способны вдохновить многих и многих в Израиле, на Западе и, что особенно важно, — в России.

Ювал Невман

МОЖЕМ ЛИ МЫ ВОЗРОДИТЬ ИЗРАИЛЬ?

Мы переживаем сегодня один из самых критических моментов в истории сионизма и государства Израиль. И в поисках путей выхода из кризиса я хотел бы сравнить нынешнюю ситуацию с той ситуацией в России, которая существовала до 1967 года. Тогда в русском еврействе не было никакого движения за алию, не было даже признаков, что такое движение может зародиться. Но на каком-то этапе, в 1968-70 годах, небольшая группа людей начала действовать. Постепенно она возродила сионистский дух, сионистские чувства, развернула массовое движение, и сегодня, спустя 10 лет, можно констатировать, что эта ничтожная по численности группа привела в действие силы, которые захватили в свою орбиту и повлекли из СССР по меньшей мере четверть миллиона человек (из которых 170 тысяч находятся сейчас в Израиле). Если бы кто-нибудь спросил тогда, в 1968 году, мыслимо ли это, на него, несомненно, посмотрели бы, как на безумца.

В чем коренилась причина этого успеха? Эти люди не были "ахшавистами"*; то есть не находились под гипнозом сиюминутного соотношения сил.

* "ахшав" (ивр.) — сейчас, сию минуту.

Они способны были заглянуть в будущее, представить себе это будущее и бороться за его осуществление. И только поэтому они добились того, за что боролись — быть может, не всего, за что боролись, но тем не менее добились грандиозного, фантастического прорыва.

Эта ситуация в точности повторяет сегодняшнюю израильскую. Некоторое время назад в одной из ведущих израильских газет, "Гаарец", была опубликована статья ее главного редактора, Гершома Шокена, посвященная судьбам сионизма. В этой статье г-н Шокен утверждает, что сионизм сегодня мертв, что он скончался в тот момент, когда было создано государство. Государство же наше — такое же, как многие другие, поэтому нелепо говорить об алии, единстве еврейского народа и так далее, а нужно все силы сосредоточить на внутренних делах страны и поисках мирного сосуществования с нашими соседями, как это делают все прочие государства. А если мы и заинтересованы в иммиграции, то не нужно подводить под это "сионистскую базу" — Австралия или Канада тоже заинтересованы в притоке иммигрантов без всякого сионизма. Сионизм, по г-ну Шокену, есть некая "безумная" (в эйнштейновском смысле) идея, возникшая некогда в истории, приведшая нас сюда и — скончавшаяся. Теперь, когда у нас уже есть свое государство, когда мы уже здесь — это факт, независимо от того, хорошо это или плохо. И этот факт мы обязаны признать: мы — государство среди прочих, наша главная задача — жить в нашей стране, строить ее, защищать ее, а не заниматься сионизмом...

Я расцениваю эту статью как очень четкое выражение взглядов, характерных для людей, которые видят в истории только ее настоящую минуту и неспособны подняться над ее горизонтом. Сионизм знает периоды, когда такие настроения становились особенно сильными. Еще в 20-е годы Бреннер разъяснял палестинским рабочим, что алия* — речь шла тогда о "второй алии", будущей создательнице государства! — не опасна, а благотворна для них. И Берл Каценельсон тоже много писал о людях, загипнотизированных сиюминутным, неспособных подняться над ним. Сейчас мы снова переживаем такой период, и очень показательно, что именно сейчас возникло движение с таким выразительным, нетерпеливым названием "Шалом — ахшав!"**, что г-н Шокен на-

* алия (ивр.) — "восхождение": репатриация евреев в Палестину

** "Шалом ахшав" (ивр.) — "Мир сейчас"; движение за немедленный и всеобъемлющий мир с арабами ценой уступок и компромиссов.

писал именно такую статью, что многие говорят о “провале” сионистского эксперимента, что дух апатии и пессимизма овладевает все большим числом людей.

Мы создали нашу партию, потому что мы убеждены, что сионизм — жив, что это динамичное и развивающееся явление. Но стоит ему потерять свою динамику, перестать развиваться и обновляться, как он умрет — и тогда вся “затея” действительно потеряет свой смысл.

Сегодня, как и раньше, основное содержание сионизма остается прежним: привлечь в страну мировое еврейство, предоставить ему шанс возрождения государства, языка, истории, культуры. Мы убеждены, что эта идея еще может многое принести и еврейству, и всему миру. Но мы считаем, что конкретный облик сионизма должен сегодня измениться. Нужна новая, более активная, более грандиозная программа, способная увлечь и привлечь миллионы. Кого способна привлечь в Израиль программа г-на Шокена? Если Израиль не предлагает американскому, европейскому или советскому еврею ничего такого, чего не могли бы предложить ему его страны, зачем ему такой Израиль?

Когда я учился в школе, нас было в стране всего триста тысяч человек. Мы были меньшинством, мы составляли всего четверть или треть населения Палестины. В те времена правящая партия ишува*, Мапай**, стояла за “бинациональное государство”. Иными словами, она готова была жить в одном государстве с арабами, хотя они и составляли бы в таком государстве подавляющее большинство. Сегодня, когда евреи в Палестине составляют большинство (даже с учетом миллиона с лишним арабов управляемых территорий), те же деятели из Мапай испуганно спрашивают: “Как можно включать миллион с лишним арабов в состав государства Израиль?! Что мы будем делать с таким огромным национальным меньшинством?” Это — яркий пример оппортунистической идеологии, которая исходит только из соображений настоящего и стремится увековечить это настоящее, даже жертвуя ради него будущим. Это идеология, толкающая на бесконечные компромиссы, приспособления и уступки.

Конечно, партия Мапай не представляет собой всего израиль-

* Ишув (ивр.) — поселение; так называлась еврейская община Палестины до возникновения государства

** Мапай — предшественница нынешней израильской Рабочей партии.

ского общества. Но ее настроения характерны для руководителей этого общества. Сегодня они переживают идейный и духовный кризис, проистекающий из того, что они, видимо, утратили веру в будущее. Они перестали верить, что в будущем действительно может стать лучше; им кажется, что может стать только хуже, чем в настоящем, а потому надо стремиться сохранить хотя бы то, что уже есть. Все эти люди искренне преданы сионизму, стране; страна — их рук дело, но их вера в будущее этой страны пошатнулась. После Шестидневной войны все они были максималистами; после навлеченного нами на самих себя поражения в Войне Судного дня все они стали минималистами. Как это характерно для евреев — поддаваться настроению минуты, бросаться из крайности в крайность!

Война Судного дня вообще оказала огромное влияние на дух нации. Хотя в военном отношении она кончилась огромной победой, психологически она обернулась для нас поражением, потому что в ней рухнуло наше сверхраздутое "это", и мы до сих пор находимся под гипнозом этого краха.

Таков невеселый фон последних лет. И нужно трезво отдать себе отчет, что мы переживаем один из тех повторяющихся в истории всякой нации периодов, когда в результате военных поражений или экономических трудностей дух падает, вера в будущее исчезает, пессимизм начинает властвовать над умами.

Можно ли изменить ситуацию? Мы уверены, что это возможно — и только одним способом: **действием**. Действие меняет не только ситуацию (это очевидно), но также и людей, принимающих в нем участие. А изменяясь, люди меняют свою, казалось бы, уже предустановленную судьбу. Но это — философский или даже религиозный аспект. А на более прозаическом уровне можно сказать проще: действие воодушевляет. Оно внушает уверенность в своих силах, тогда как бездействие расслабляет и угнетает. Мы до сих пор страдаем от бездействия, проявленного нашими руководителями после Шестидневной войны. Тогда наше руководство было, в определенном смысле, поймано врасплох и не реагировало на результаты войны так, как оно реагировало бы на них 20 лет назад, когда мы буквально "лезли во всякую щель" и стремились использовать любую открывавшуюся перед нами возможность. А в 1967 году начались бесконечные ссылки на количество арабов на территориях — все для того, чтобы оправдать отказ от их аннексии. В Синае не было арабов, поэтому вспомнили,

что на эти земли распространяется египетский суверенитет. На Голанах не было ни арабов, ни египетского суверенитета, тамошние друзья выступали за присоединение к Израилю, да и весь спор шел о клочке земли, составляющем 2-3% сирийской территории, значение которого для безопасности Израиля было очевидно, — но и там нашли причину ничего не менять. Когда не хочешь или боишься действовать, причину всегда можно найти.

А вот прямо противоположный пример: много лет назад, когда Даллес отказался платить за Ассуанскую плотину, Насер в тот же день объявил, что Египет берет в свои руки Суэцкий канал. Связь этих двух событий была не очень ясной, но он использовал тот факт, что Египту был нанесен некий ущерб (или так это можно было изобразить), чтобы немедленно сделать некий позитивный шаг в интересах Египта — и сделать его резко, быстро, сразу же и решительно. Так, как и нужно делать хирургическую операцию. Когда некоторое время назад Сирия объявила о своем объединении с Ливией, я в тот же день предложил премьер-министру провозгласить присоединение Голан к Израилю. С Ливией у нас нет никакого соглашения о прекращении огня, Ливия занимает наиболее жесткие антиизраильские позиции, и если Сирия внезапно ставит нас перед фактом, что нам противостоит ее союз с Ливией — со всеми вытекающими отсюда последствиями, — то было бы и оправданно, и разумно в тот же момент изменить в ответ статус Голан: если сирийцы меняют ситуацию, то и мы имеем право ее изменить. И это прошло бы без особого международного шума, потому что всем было бы очевидно, что затеяли всю игру сирийцы, не мы. Они сделали шаг — и мы должны были в тот же день сделать ответный.

Правительство не решилось на это. И теперь нашей партии придется проталкивать закон о Голанах через Кнессет. Я надеюсь, что нам это удастся, хотя у нас всего два мандата в Кнессете: ведь мы будем нашим законопроектом подталкивать других, и они не посмеют выступить против настроений большинства народа, если не хотят рисковать своей популярностью перед выборами. Так уже было с нашим законопроектом о статусе Иерусалима. Но теперь закон о Голанах вызовет бурную и отрицательную международную реакцию, многонедельные споры в Кнессете, всевозможные обвинения Израиля в экспансионизме — и все лишь потому, что у правительства не хватает отваги, не хватает веры в

будущее, чтобы двигаться к этому будущему последовательно и решительно.

При всей внешней "жесткости" нынешнего правительства, оно в действительности парализовано бездействием и нерешительностью, желанием ничего не делать, тянуть ото дня ко дню. Эта политика порождена отсутствием дальних горизонтов: наши руководители не видят в будущем ничего такого, что заставляло бы их туда скорее стремиться.

Такое же бездействие было характерно и для предыдущих наших правительств. Оно особенно ярко проявилось в вопросе об алии. Непонимание того, что будущее Израиля зависит от его непрерывного развития, а залог развития есть алия, привело к тому, что проблема алии была отдана на откуп людям, которые меньше всего подходили для этой роли. Трудно представить себе более неудачный выбор, чем представитель левосоциалистической партии Мапам в роли министра абсорбции, когда большинство новых репатриантов настроено резко антисоциалистически. И так же трудно одобрить выбор министра алии в нынешнем правительстве. При всем моем уважении к динамизму и мотивам действий Давида Леви, к тому упорству, с которым он поднялся над своей средой, я не могу не понимать, что если есть что-нибудь, для чего он меньше всего годится, то это именно руководство алией и абсорбцией, когда алия чуть не вся состоит из профессионалов и специалистов.

Я привел эти примеры, чтобы объяснить свою главную мысль: ситуация и дух страны могут быть изменены только посредством действия. Но я считаю также, что наша болезнь зашла слишком далеко, чтобы ее можно было вылечить гомеопатическими средствами. Нам нужны масштабные средства, иначе будет слишком мало или слишком поздно. **Ключ к решению наших проблем — в резких и масштабных действиях, объединенных в общенациональном плане с перспективой в несколько десятилетий.** Нынешнее правительство прилагает все силы, чтобы не менять ничего. Это даже не политика "мир сейчас", это политика "благополучие сейчас", и именно это нужно в первую очередь изменить. Нужно увидеть Израиль таким, каким он может стать через несколько десятков лет, увидеть будущее, заглянуть чуть дальше сиюминутности и осознать, что это будущее достижимо. Иными словами, спасение Израиля — в **динамической революции**. В этом состоит главный лозунг нашей партии.

Динамическая революция предполагает одновременные, решительные и масштабные действия по всем направлениям — идеологическому, политическому, экономическому. В области экономики наша программа состоит в планировании огромного скачка по всему индустриально-техническому фронту, реализации громадных проектов, приведении в действие многосоттысячных масс людей, преобразовании значительной части страны, выдвижении перед нацией больших и реальных целей, достижение которых даст людям работу, жилье, удовлетворение, материальный достаток, а страну превратит в процветающую, передовую и динамичную. Это должны быть цели, которые вдохновят народ сегодня, как в 20-е годы вдохновлял вторую алию проект “Гдут авода”. Я помню, как проезжал в 1961 году через Югославию и видел, как тамошняя молодежь строила дороги. Мне не понравилось, что это делается под громадными портретами Тито, но и я тогда ощутил определенный энтузиазм. Мы сегодня живем в более сложном обществе, и, конечно, решение наших проблем — не на пути чисто физического труда на земле, но и нам нужны масштабные проекты, которые могут привести в действие огромные массы людей и притом — людей интеллектуального труда прежде всего.

Самым простым и необходимым для начала проектом такого рода я считаю канал из Средиземного моря в Мертвое. Он должен стать первым этапом на пути к следующему проекту — крупномасштабному производству солнечной энергии. Этот проект обещает не только громадные количества столь необходимой нам энергии, но может также вывести Израиль на первое место в мире по солнечной энергетике. Электростанция, которую мы проектируем на канале, должна дать 600 мегаватт энергии. Солнечный проект (который нуждается в этой воде, потому что она должна поступать в “солнечные бассейны”) способен дать 1500 мегаватт. А если мы присоединим к этому постройку мощного ядерного реактора в западном Негеве (который представляет собой идеальное место с точки зрения охраны среды) с охлаждением водой из канала, то можно получить еще 1200 мегаватт. Это — в сумме — половина того количества энергии, в котором будет нуждаться Израиль через 10 лет.

Солнечный проект — совершенно оригинальное израильское изобретение. Фирмы “Ормат” и “Солмат”, которые его разрабатывают, уже сегодня заняли в работе сотни инженеров. Солнеч-

ный проект — это сложное интеллектуальное предприятие, которое требует не столько грубой физической силы, сколько инженеров и ученых. О ядерном проекте нечего и говорить. Что же касается гидропроекта, то он рассчитан на капиталовложения в размере 700 миллионов долларов. Даже если только двадцатая часть этих вложений пойдет на оплату инженерного персонала, проект позволит занять более двух тысяч инженеров. Нужно учесть еще, что правительству не придется добывать эти средства — проект настолько выгоден, что уже сегодня пять групп инвесторов борются за право вложить в него свои деньги (чтобы затем продавать электроэнергию). И тут я считаю главным, чтобы наше участие в нем не свелось к перерезанию ленточки, к тому, что за нас все сделают другие, а мы будем пользоваться готовым результатом. Если мы хотим, чтобы это был “сионистский” проект, мы должны сделать все сами, силами своих специалистов. И если это удастся осуществить, то мы сможем дать работу двум тысячам инженеров, программистов, дизайнеров, ученых, специалистов по прокладке туннелей, — а это большая группа людей. С учетом же солнечного и ядерного проектов их число достигнет десятка тысяч. И следует помнить, что понадобятся люди, которые будут их обслуживать, кормить и развлекать, которые будут строить для них дома и дороги, продавать им кока-колу и преподавать их детям музыку и языки. В целом, эти проекты способны привести в действие сотни тысяч людей. Точно так же, как небольшая группа активистов в СССР в 1968-70 гг. привела в действие четверть миллиона советских евреев, а может быть — кто решится сказать — и гораздо более громадные силы с еще непредвидимыми последствиями, так эти проекты могут сейчас стронуть с места всю нашу страну. Главное — это начать действовать, это увидеть страну не такой, какая она сейчас, а такой, какой мы ее можем сделать, и понять, что мы это действительно можем: создать израильское экономическое чудо. И создать его своими силами, не отдавая на откуп другим, как это случилось с авиабазами в Негеве (я полагаю, впрочем, что это произошло потому, что люди, принявшие решение отдать наши базы в Синае, подсознательно чувствовали себя не вполне уверенно и понимали, что нелепо пытаться разжечь энтузиазм израильтян на строительстве баз, которые все время будут напоминать им об отданных синайских) .

Как бы то ни было, мы должны строить сами. Если и эти проекты будут отданы на откуп другим, тогда мы можем с таким же

успехом весь Израиль отдать на откуп. Весь смысл этих проектов в том, чтобы создать новое израильское общество с помощью его собственного действия, его собственных достижений. Согласие нашего правительства все отдавать на откуп — часть его политики бездействия, о которой я говорил. Я снова вспоминаю прочитанную несколько месяцев назад статью профессора Риччи, где заявлялось, что Израиль не может сам себя защищать, — нужно, чтобы его защищали Соединенные Штаты. Выходит, мы должны отдать на откуп наше развитие, нашу оборону — что еще? После этого нам остается только уехать самим, поселиться в каком-нибудь другом месте, пускай тут всем распоряжаются американские дельцы и американские офицеры — зачем мы им? Это не сионистский путь. Ведь сионизм состоит в собирании еврейского народа на его земле. Наша нынешняя ситуация не может привлечь евреев из-за рубежа. Но если Израиль станет странойстроек, страной, где реально осуществляются колоссальные научно-технические проекты, выводящие его на первое место в мире, резко повышающие его безопасность, обороноспособность, благосостояние, да и просто дающие работу специалистам самых разных профессий — о, такой Израиль способен привлечь многих евреев. Динамизм и перспективы всегда привлекали еврея. И это — ответ нашей партии на нынешнюю ситуацию в ее идеологическом аспекте, это возрождение сионизма, но уже на уровне современной, научно-технической эпохи.

Конечно, небольшая партия не может все сделать сама. Сделать это может только весь народ. Но народ нужно иногда для этого, извините, подталкивать. Что ж, мы готовы играть роль таких толкачей — как сейчас подталкиваем политиков, чтобы они проголосовали за закон о Голанах. Главное — начать, чтобы люди ощутили изменение климата в стране, ощутили, что каждый следующий шаг делается в сторону большей независимости, большего благосостояния. Когда же все происходит наоборот: инфляция растет, зависимость увеличивается, развитие страны замедляется и не видно никаких признаков улучшения, — тогда появляются нетерпение, раздражение и разочарование. Поэтому мы ставим своей задачей подталкивать правительство на решительные действия в плане политическом, на масштабные решения в плане экономическом, чтобы вернуть народу уверенность и надежду. Так происходит с Голанами, так было с проектом канала, то же будет с ядерным проектом. И тут приходится подталкивать, потому

что уже сейчас находятся люди, которые говорят — давайте подождем, пока кто-нибудь не продаст нам все необходимое, давайте подождем, пока это не станет экономически рентабельным. Такая политика уже обошлась нам в то, что у Израиля до сих пор нет ядерной энергии. В 1961-63 гг. я был председателем комиссии по ядерной энергии, и мы представили правительству отчет, в котором предлагали немедленно начать строительство большого ядерного реактора. Мы указывали, что хотя это нерентабельно, но наша страна, зависящая от иранской нефти, должна думать о своем энергетическом будущем. Но тогдашний премьер-министр Эшкол пригласил американского эксперта г-на Спона, и тот заявил, что в ближайшие 20–30 лет цены на нефть будут только снижаться и ядерная энергия никогда не сможет конкурировать с нефтью. Уже через два года после его “приговора” в США запустили первый реактор, который давал энергию по цене, более дешевой, чем нефть в то время. Господин Спон недавно умер. Я надеюсь, что это произошло после мирового нефтяного кризиса. Я надеюсь также, что этот урок нас чему-нибудь научит. Проект канала, который я возглавляю, рентабелен уже сегодня, при любом варианте роста цен на нефть — в 3% в год, в 2% или даже в 1%. Солнечный проект менее рентабелен, но было бы преступлением затормозить его из-за этого, забыв об уроках прошлого и об энергетической независимости страны в будущем. Еще менее рентабелен, быть может, торфяной проект — разработки громадных запасов лигнита в Хуле, но и его необходимо активизировать: к моменту завершения изысканий он наверняка станет рентабельным.

Такие же масштабные изменения нужны нам во всех областях экономики. Проблема жилья должна быть решена принятием на вооружение решительных методов, вроде американских “гонок за землей” середины прошлого века, когда объявлялось о свободной продаже земельных участков в определенное время тому, кто успеет их застолбить. Вместо того чтобы с завистью взирать на пустующую землю и не решаться трогать ее, мы должны ее распределить, предложить ее нашей молодежи, чтобы она строилась на ней собственными силами. Резкие меры нужны нам и в области инфляции. Мы не можем уменьшить ту ее часть, которая порождена растущими ценами на нефть; мы не можем чрезмерно сокращать расходы на оборону, которые порождают другую ее часть; но от нас зависит сокращение наших личных расходов и

зарплат, порождающих третью часть этой чудовищной, ставшей неуправляемой инфляции. И люди готовы пойти на жертвы, готовы предоставить шанс тому, кто действительно сумеет вывести страну из инфляционной спирали. Но вывести ее может только сильное и авторитетное руководство, способное прийти и сказать — с завтрашнего дня мы останавливаем рост цен, но одновременно мы останавливаем и повышение зарплат. Нужен удар кулаком. Но сделать его могут, повторяю, только люди, обладающие моральным авторитетом и доверием народа. Нынешнее руководство на это не способно, оно свой авторитет и доверие растеряло.

Есть партии и группы, предлагающие те или иные меры “спасения” страны, как правило, — половинчатые и разрозненные, не открывающие больших горизонтов. Такие меры — хуже, чем никакие. Нужны меры резкие, решительные и масштабные, и осуществляться они должны одновременно и последовательно. Иными словами, нужен общенациональный план. Я не сторонник развития Израиля по пути “дикого” капитализма; нам необходимо планирование развития и в то же время — поощрение частной инициативы (например, тех капиталистов, которые возьмутся за трудоустройство проблемной части алии или строительство жилья). Израиль не должен становиться ни заповедником неуправляемого капитализма, приносящего много бед простым людям, ни тоталитарной социалистической страной, у него свой, особый путь, который ему еще предстоит проложить. Это путь динамической сионистской революции, к которой призывает наша партия. Это путь решительных и активных шагов во внешней политике, немедленная аннексия территорий, немедленные массовые поселения, жесткая наступательная дипломатия. Это путь великихстроек, превращения страны в сильное, цветущее, независимое государство, в одну из самых передовых стран мира — в области экономики. Это путь возрождения сионизма, собирания еврейского народа, путь массовой алии — в области идеологии.

И тогда, на самых дальних горизонтах, встанет новый вызов, новый вопрос и новая цель: каков смысл всех этих наших усилий? Каково то новое всемирное послание, с которым еврейский народ со своей возрожденной земли обращается ко всему человечеству? Но это — тема других размышлений и другой статьи.

*Либо мы, либо они –
третьего не дано.*

Ю. Неeman

Хорошо бы. Лучше всего, чтобы и мы, и они. Не потому ли так захватывают споры, приоткрывающие взгляды израильтян на этот больной вопрос? В отличие от достопамятного Евгения Сазонова, я не писатель – я читатель: я пытаюсь изложить свои впечатления от одного из таких споров – о нынешнем состоянии войны и мира между евреями и арабами в нашем регионе.

Спорят Ювал Неeman и Шимон Шамир ("22", № 13). Первого даже старые друзья-халуцим* прилюдно бранят "ястребом" – второй считает себя реалистом и гуманистом одновременно, то есть "голубем". Что может быть лучше сочетания реализма с гуманностью? Ястреб, конечно, сопрягается с понятиями "правый" и "война", а голубь – с понятиями "левый" и "мир", что соответственно связывается с определениями "плохой" и "хороший".

Раньше, чем попробовать разобраться в своих впечатлениях, я пытаюсь спросить себя, на каких позициях стою я сама в этом ни для кого в Израиле не безразличном вопро-

* пионеры (ивр.).

Дора Штурман

И МЫ, И ОНИ?..

се. Итак: я хочу, чтобы сохранилось для нас, наших потомков и наших рассеянных по земле соплеменников независимое и жизнеспособное еврейское государство Израиль; я хочу, чтобы это было современное правовое демократическое государство; я полагаю, что независимо от расы, национальности и религии все граждане такого государства должны обладать равной правовой обеспеченностью.

Я не хочу вдаваться в исторические и тем более — в провиденциальные корни того, почему через почти 2000 лет возродилось это государство и зачем мы здесь. Государство — есть, и мы в нем живем и хотим жить. Это достаточная (для меня) предпосылка к размышлению о споре между Ю. Нееманом и Ш. Шамиром. И эта предпосылка дает мне необходимую долю того чувства своей правоты в пребывании здесь, без которого евреям нечего делать в этом регионе. Ювал Нееман пишет, что сионизм — это и есть ощущение такой правоты. Я бы сказала, что слово “правота” может быть без особых смысловых потерь заменено здесь словом “неизбежность”. В цивилизованном XX веке мир основательно и недвусмысленно показал евреям, что им необходимо иметь свой угол на многоплеменной земле. Иначе им угрожает физическое истребление, а не только ассимиляция, как казалось в XIX — начале XX века. Ассимиляцию можно принимать и не принимать. Но XX век отказал евреям в праве на ассимиляцию. Готовности истреблять всех евреев подряд, которую проявила в XX веке Европа, я не забуду никогда. Пусть эта готовность по-настоящему оскалит зубы только однажды и перемолола “всего” миллионов шесть человек — с меня достаточно. Надо иметь свой угол. Я жалею тех, кому это непонятно. Угол нужен прежде всего для того, чтобы противостоять истреблению, которое сегодня не прельщает Европу, но зато соблазняет арабский мир. Соблазняет, невзирая на то, что, даже если бы мы и позволили истребить себя, наши противники не перестали бы драться друг с другом на нашем пепелище. Исчез бы последний частично объединяющий их фактор — желание уничтожить нас. Частично — потому что они ведь и сегодня дерутся между собой, и до нашего прихода дрались. И после нас дрались бы, если бы оно наступило — это “после нас”, которого я не хочу.

Что можно возразить профессору Нееману, когда он пишет:

“Почти все население Израиля проживает в узком коридоре, протянувшимся от Иерусалима через Лод, Тель-Авив и Хайфу до Акко с небольшим отрогком в сторону Реховота. В сущности, на этом отрезке сосредоточено

75 процентов всего населения Израиля, 75 процентов всей энергетической мощности страны, 70 процентов всей промышленности, т. е. практически вся мощь нашего государства. Если война начнется внутри этого района, то с нами будет покончено раньше, чем мы успеем мобилизовать армию. Два-три дня война должна вестись в другом месте. Иного варианта в системе нашей обороны не существует. Область, доминирующая над этим районом, — это Самария*. Если вы находитесь в Элькане или Ариэле, то оттуда видна и Хадера с новой электростанцией, и аэродром в Лоде, и Тель-Авив, и Ашдод. Самария — идеальное место: из Самарии можно наступать и на Иерусалим, и на Тель-Авив, и на Нетанию, отрезать прибрежную полосу. Только Самария может дать нам необходимую отсрочку для мобилизации армии в случае нападения”.

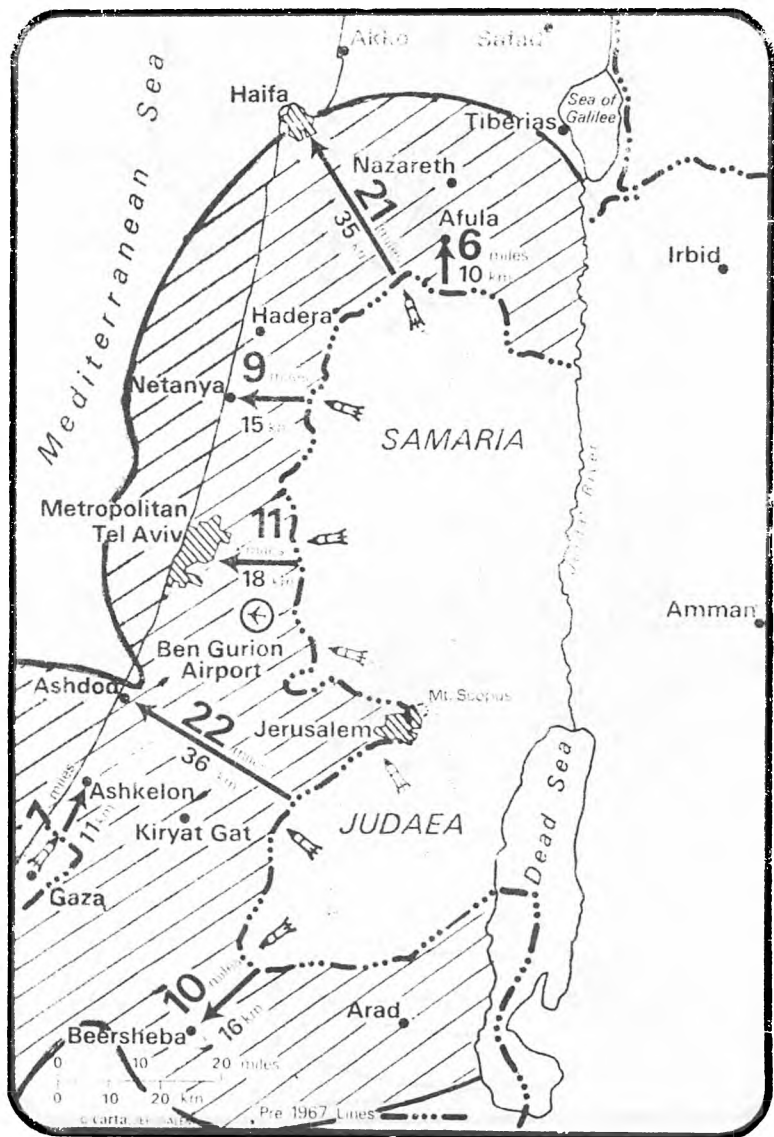
Ничего нельзя возразить. Можно только добавить.

Посмотрим на карту Израиля в границах 1967 г. От пограничной черты, отделяющей Иудею и Самарию, до Тель-Авива по прямой всего восемнадцать километров, до Хайфы — тридцать пять, до Нетании — пятнадцать, до Беэр-Шевы — шестнадцать. От полосы Газы до Ашкелона — одиннадцать. Существенных природных преград типа больших рек или горных цепей, как известно, на этих направлениях нет. Иерусалим разделен, и его принадлежащая Израилю часть окружена с трех сторон. Длинная извилистая граница, не защищенная природными рубежами, легко проходима для террористов. Почти все воздушное пространство Израиля находится в пределах досягаемости запущенных с этих территорий ракет земля—воздух типа “Хоук”, имеющих на вооружении ряда арабских государств. Более того, аэропорт имени Бен-Гуриона оказывается в пределах досягаемости даже наплечных ракет земля—воздух.

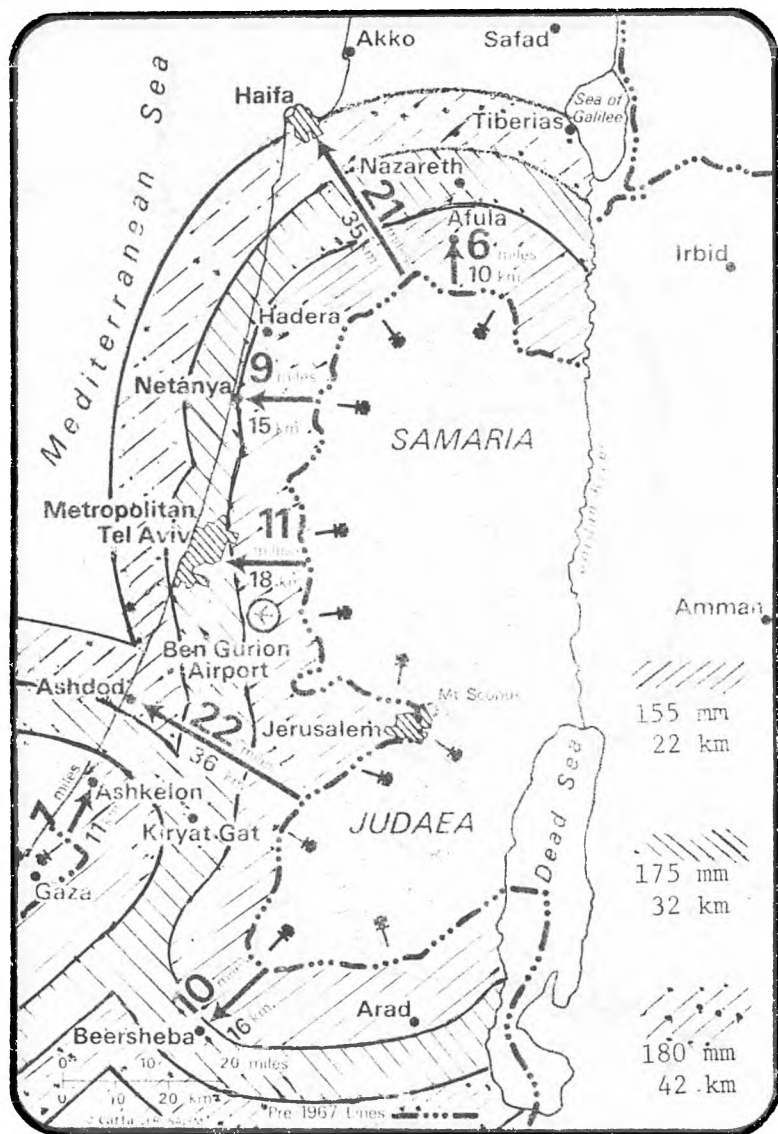
Посмотрим на вторую карту. В пределах досягаемости огня артиллерийских орудий 155 мм калибра с дальностью 21 км, установленных на позициях в Иудее и Самарии, находятся: Иерусалим, Петах-Тиква, Арад, Нетания, Хадера, Афула, аэропорт имени Бен-Гуриона. Из более мощных орудий 175 мм и 180 мм калибра с дальностью, соответственно, 32 и 42 км с этих позиций могут обстреливаться весь Большой Тель-Авив, Беэр-Шева, значительная часть Большой Хайфы, Кирьят-Гат, Нацерет, Тверия, Реховот, Димона.

Недосягаемые для такого обстрела южная часть прибрежного района Израиля (Ашкелон — Ашдод) и значительная часть Негева

* Само ее ивритское название — “Шомрон”, то есть “Сторожевая”, — говорит об этом.



Кратчайшие расстояния от границ 1967 г. до важнейших жизненных центров Израиля. Зона досягаемости воздушного пространства Израиля с этих территорий.



Зоны досягаемости территории Израиля для артиллерийского обстрела с территорий Иудеи, Самарии и сектора Газы.

уязвимы для огня из сектора Газы, pistolетным стволом вытянувшегося вдоль Средиземноморского побережья в направлении Тель-Авива. Таким образом, более 90 процентов гражданского населения и почти вся промышленность, энергетика, высшие учебные и научные центры Израиля находятся в зоне досягаемости артиллерийского огня с территорий Иудеи, Самарии и Газы. В Шестидневную войну арабские орудия уже стреляли оттуда по Иерусалиму и некоторым городам на прибрежной равнине. И замолчали отнюдь не сами собой.

Если б Война Судного дня началась на рубежах 1967 г. и армии арабских стран успели продвинуться на ту же глубину, то территория Израиля оказалась бы рассеченной надвое, Иерусалим отрезан и многие центры оккупированы врагом прежде, чем наши силы были бы отобилизованы для отпора.

В своем интервью профессор Шамир упоминает, что он солдат. Не знаю, какое у него военное звание, но эта ситуация понятна не только военному, но и любому штатскому, желающему видеть правду.

Изучая Садата в течение десяти лет, профессор Шамир пришел к выводу, что "главной его особенностью является способность к резкому изменению политического курса". Как он указывает далее, Садат в **данный момент** искренне хочет мира: египтяне не хотят рисковать снова. Но профессор Шамир тут же предупреждает, что Садат всегда был **против сионизма и в этом вопросе своих взглядов не изменил**.

Пока что Садат ловко сумел дипломатическими средствами превратить свое тяжелейшее поражение в развязанной им Войне Судного дня в крупнейшую победу, в результате которой открыл Суэцкий канал, вернул обратно нефть Абу-Рудейса, значительную часть Синайского полуострова (скоро вернет и оставшуюся), получил немалую американскую помощь, в том числе и вооружением, и весьма небезуспешно продолжает свою политику дипломатического нажима и вырывания одной уступки за другой. Где в таком случае гарантия, что в какой-то момент, придя к выводу, что ситуация благоприятствует военному решению, Садат снова не изменит своего курса и мир с Египтом не рухнет (как об этом предупреждает и сам Ш. Шамир)? Поводом для этого может послужить та же палестинская проблема. И тогда становится очень даже понятной последняя фраза интервью Ю. Неемана: "Жаль, что мы уже потеряли Синай".

Непреложным фактом является то, что Кемп-Дэвидские соглашения обеспечили возвращение Египту его территорий, но не обеспечили его невмешательства в вопрос о землях (Западный берег Иордана и сектор Газы), ему не принадлежащих. В случае же новой арабо-израильской войны Египет соблюдать нейтралитет не обязался. В ООН египетские представители, как правило, голосят вместе с остальными арабскими странами против Израиля. Так что имеет достаточно оснований относиться к этим соглашениям по-разному.

Конечно, в ходе общемировых и ближневосточных перипетий Садат может оказаться в союзе (даже военном) с Израилем. Но безоговорочно доверять Египту трудно.

Профессор Ю. Нееман не такой уж ястреб, как утверждает его оппонент, профессор Ш. Шамир. Он готов рассмотреть его позицию:

“Что же они говорят? Мы знаем, заявляют они, что это очень опасно, но противной стороне нужно дать шанс. Они утверждают, что эта другая сторона сегодня вовсе не стремится нас уничтожить, что нужно поддерживать умеренные, положительные элементы среди арабов. Мне хочется на это ответить, что я тоже готов рискнуть, вопрос только в степени риска. Скажем, я готов играть в рулетку на последние штаны и в крайнем случае остаться без штанов, но я не готов играть в “русскую” рулетку — когда к виску приставляют многозарядный пистолет, в обойме которого только одна пуля”.

Честно говоря, я не знаю, что можно возразить против убийственно простых доводов. Добавить разве, что ни границы 1948 года, ни границы 1967 года не устраивали тех, кто обрушивался на Израиль тогда с огнем и мечом? И что до 1967 года, когда спорные нынче территории находились в руках Египта, Сирии и Иордании, последние отнюдь не ратовали ни за какое “палестинское государство”, а для остального мира палестинской проблемы вообще не существовало?

Мне представляется, в общем, приемлемым предложение Ю. Неемана о предоставлении полных гражданских и политических прав всем тем арабам, которые пожелают принять статус подданных Израиля. (Я, правда, сразу же шархнула в сторону от его совета — устраивать для арабов, получающих израильское гражданство, не только экзамен по ивриту /разумеется, бытовой минимум/, но и по “сионизму”. Последнее отнюдь на аналог экзамена по конституции США, знание которое требуется для натурализации там. По аналогии с процессом натурализации в США следовало бы

сдавать экзамен по основам израильского гражданского права или нечто подобное.) Для тех же арабов, которые не пожелают быть гражданами Израиля, автономия или свободный выезд (у арабов двадцать одно государство) тоже представляется мне приемлемым выходом.

Предложите-ка сейчас евреям в СССР на выбор: полное и реальное политическое равноправие с так называемыми “коренными национальностями” (в СССР евреи за сотни лет своего пребывания в этом районе мира “коренной национальностью” признаются только в Биробиджане, где до 1930-х гг. никогда не жили); культурно-административную автономию (без права выбирать и быть избранными в Верховный Совет и служить в армии, в “органах” госбезопасности и в военной промышленности) с израильским подданством, с правом неограниченных поездок за границу и обратно, с выплатой части налогов Израилю; свободную и неограниченную эмиграцию!..

Мы настолько утратили чувство своего равноправия с другими народами и своего государства — с прочими государствами, что нам и в голову не приходят аналогии такого рода. Ю. Нееман тоже ссылается только на опыт существования и прав национальных меньшинств в демократических странах. Думаю, что в нынешнем мире нет такого чудака-“формалиста” (формалист по отношению к праву, которое не может не быть строго формальным), который всерьез потребовал бы от СССР подобного либерализма по отношению к нацменьшинствам, имеющим этнически родственные государства за пределами советской империи. Миллионы “терпимцев”* во всем мире немедленно возопили бы, что СССР имеет право на безопасность** — лучший пример того, что в реальном нынешнем мире прав не дают, права берут. У нас, однако, по-видимому, недостает собственного достоинства для того, чтобы мерить свои и чужие права одной мерой. Ибо то, чего требуют от еврейского государства профессор Шамир и его единомышленники, грозящие Израилю покинуть его, если он “не исправится”, не означает равного отношения к себе и другим: это требование заведомо пренебрегает собственными правами в пользу уничтожительного для себя внешнего произвола.

* Прошу прощения у Н. Коржавина за использование его термина: так он называет людей, кокетничающих своей “терпимостью” по отношению ко злу, лжи, силе и грязи.

** Как уже об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Геншер по поводу советской агрессии в Афганистане.

Боюсь, что процесс нашего отказа от права на безопасность и на общие для всех (кроме нашего) независимых государств критерии такой безопасности зашел столь далеко, что мы не сумеем его прекратить. Не сумеем до тех пор, пока нас опять хорошенько не потрянут и не разбудят в нас жизненные самосохранительные инстинкты*.

“Русская” рулетка, которую навязывают Израилю “голуби” типа Ш. Шамира, это ведь на самом деле рулетка советская (подчеркиваю: советская, кремлевская; интересы и воля русского, как и других народов СССР, здесь ни при чем) — с револьвером, барабан которого заряжен полностью. Ни профессор Нееман, ни его оппонент не указывают на тот несомненный факт, что палестинское государство, о создании которого идет речь, будет советской марионеткой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эти последствия развернулись уже в Юго-Восточной Азии, разворачиваются в Африке и начали разворачиваться в Центральной Америке. Тесные связи и координация действий между ООП и Советским Союзом общеизвестны. Ни та, ни другая сторона не делают из этого секрета, даже афишируют их. Недаром Арафат так и заявил небезызвестному А. Софронову при встрече в Бейруте: “...Мы находимся в одном окопе. Не только региональном, но и интернациональном... ..Мы живем с вами едиными мыслями. И эти мысли не ограничиваются проблемами только нашего региона... ..Мы боремся не только за Палестину”. Недаром в то время, как независимые мусульманские страны в большей или меньшей степени осуждали советскую агрессию в Афганистане, ООП ее приветствовала.

Создание под боком у Израиля (и других стран Ближнего

* Превращение “исхода” из СССР на историческую родину в переселение из одной зоны рассеяния в другую тоже связано с тем, что мы уже успели забыть о нежелании мира нас в себе растворить. Я исхожу сейчас не из увлеченных мистических, исторических и идеологических предпосылок сионизма. Будучи по культуре и складу куда более космополиткой, чем националисткой, я руководствуюсь только опытом. Чувство собственного достоинства запрещает мне далее использовать снисходительность тех, кто сегодня согласен на мое присутствие в своей среде. Воля к жизни, стремление обезопасить свое потомство от истребления одного из корней (семья у меня смешанная) постоянно воспроизводит перед моими глазами картину вдруг озверевшей и принявшей уничтожить мое племя Европы, гуманнейшей и цивилизованнейшей области мира. В Израиле я могу защищать свое право на свободу и жизнь и признавать (соблюдать) чужое право на свободу и жизнь. Иного сочетания обоих прав, чем (в общих чертах: не могу судить о действиях) предлагаемое Ю. Нееманом, я не вижу. Оборонноспособный Израиль и поставленное перед тремя возможностями: гражданство, автономия, выезд — арабское население, — что еще можно сделать?

Востока) просоветского палестинского государства ООП, этой ближневосточной Кубы, набитой советским вооружением, консультантами, агентурой КГБ и войсками, будет прямым повторением самопредательства демократии во Вьетнаме.

Во Вьетнаме коммунистическому тоталитаризму была подарена Юго-Восточная Азия. Палестинское государство подарит коммунизму Ближний Восток.

В Западной Европе, не испытавшей на собственной шкуре, что такое коммунистическая партократия, сегодня популярна поговорка: "Besser sein rot als tot" (лучше быть красным, чем мертвым).

Для евреев Израиля такой альтернативы не существует: победа панарабизма, исламского или коммунистического (или исламско-коммунистического), в этом регионе сделает их не красными, а мертвыми — независимо от их политических убеждений. Боюсь, что для остального свободного мира финал его перманентного отступления перед тоталитарной силой будет таким же. Просто это произойдет позже, чем арабизация Израиля, если мы таковую допустим.

Здесь я позволю себе обратиться к одному из центральных парадоксов истории. Силы, стремящиеся к построению тоталитарных структур, обычно в ранние периоды своего бытия искренне, фанатически одержимы своими "конструктами" и поэтому не скрывают ни своих целей, ни средств, с помощью которых они намерены этих целей добиться.

В европейских литературных утопиях, от Платона до Мора, Кампанеллы, Вераса и других включительно, были предвосхищены все основные структурные особенности тоталитаризма. Уже по этим сочинениям можно было судить о том, почему стремление создать идеальное общество и совершенного человека не может не обернуться тоталитарным подавлением личности. Коммунисты с 1840-х годов разворачивают в своих сочинениях стратегию и тактику завоевания ими всего мира, разрушения всего существующего и построения тоталитарных режимов. Последним, кто писал об этом без обиняков, был Ленин, раскрывавший свою программу с потрясающей откровенностью с конца 1890-х до начала 1920-х гг. Но с различными камуфлирующими оговорками, применяя многообразные эвфемизмы, коммунисты с достаточной откровенностью пропагандируют свою разрушительно-завоевательную стратегию и тактику и по сей день. А Гитлер откровеннейше

расписал свои намерения и цели в книге “Mein Kampf” задолго до своего прихода к власти.

И что же?

На ленинское: “Есть такая партия!” — российские демократы лета 1917 года ответили громовым хохотом. Было даже предложено предоставить большевикам “на две недели” (кадетская “Речь”) все полномочия, чтобы Россия убедилась в бессилии большевиков выполнить собственные обещания, после чего посрамленный Ленин перестает рваться к всевластию, а Россия позабудет о существовании его партии. Что же касается Гитлера, то он вообще был избран на пост канцлера демократически, большинством голосов, хотя, читая “Mein Kampf” и слушая его бесноватые речи до начала 1930-х гг., Германия потешалась: “Ein Tarezieger wird niemals Fuhrer” (“Паяц никогда не станет вождем!”).

Почему так?

Потому что никто не принимает в чужих программах и планах всерьез того, что кажется со стороны абсурдом, нелепостью, утопизмом или идиотским саморазоблачением своей “уголовной уникальности” (А. Авторханов).

За что принимаются эти планы? За полемические перехлесты? За утопические увлечения? За эмоциональные излишества? Не знаю. Не умею понять. Не представляю себе.

Знаю одно: этот парадокс повторяется, и его последствия всегда чудовищны. Вот и сегодня мы не принимаем всерьез следующих пунктов программы ООП:

Статья 1. Палестина... ...является неделимой частью арабской родины.

Статья 2. Палестина... ...является неделимой территориальной единицей.

Статья 3. Палестинский арабский народ имеет законное право на свою родину... ...после освобождения всей страны.

Статья 9. Вооруженная борьба... ...является общей стратегией, а не тактической фазой.

Статья 15. Освобождение Палестины... ...имеет целью уничтожение* сионизма в Палестине.

Статья 19. Раздел Палестины в 1947 г. и создание государства Израиль являются совершенно незаконными.

Статья 21. Палестинский арабский народ... ...отвергает любые решения, не предусматривающие полного освобождения Палестины.

(“Национальная хартия палестинцев”, 1965 г.)

Кажется, ясно?

* В английском переводе “elimination” — то есть элиминация, полное истребление (A Plo State – Mortal Danger, ed. by L. Labensohn. Israel Information Center. POB 13010, Jerusalem, 1978).

А это из интервью, данного руководителем военно-оперативного отдела ООП и членом ее исполкома Зухейром Мухсином голландской газете 31 марта 1977 г.:

“Только из политических соображений мы делаем упор на нашу палестинскую национальную принадлежность, ибо в общерабских национальных интересах делать этот упор на нее в целях борьбы с сионизмом. Да, существование отдельной палестинской национальной принадлежности служит только тактическим целям. Основание палестинского государства является новым инструментом в продолжающейся борьбе против Израиля... Иордания — государство с определенными границами. Оно не может претендовать на Хайфу или Яффо, в то время как я имею право на Хайфу, Яффо, Иерусалим и Беэр-Шеву”.

А вот еще:

“Новое палестинское государство будет возглавляться ООП. ООП стремится к уничтожению Израиля. Но мы должны проявить гибкий подход с целью установления мира в этой части света. Следовательно, мы должны принять на данном этапе, что палестинское государство будет только на части нашей территории. Однако это не означает, что мы отказываемся от остальных наших прав. Будут две (начальные) фазы нашего возвращения. Первая — к границам 1967 г., вторая — к границам 1947 г. Третьим этапом будет демократическое палестинское государство. Следовательно, мы будем бороться в течение этих трех стадий”.*

Это из интервью главы политического отдела ООП Фарука Кадуми газете “Ньюсвик” 14 марта 1977 г.

Не последнее место в этих планах ООП занимает и расчет на попустительство современного свободного мира. Собравшаяся в июне 1980 года в Дамаске конференция “Аль Фатх” в очередной раз призвала к уничтожению Израиля. И вот что сказал Арафат в беседе с корреспондентами бейрутских газет вскоре после окончания конференции:

“...Следует стремиться мирными путями добиться создания палестинского государства на Западном берегу Иордана. Если мир признает право палестинцев вернуться в Восточный Иерусалим, он в конце концов признает их право и на Западный Иерусалим; когда мир признает право палестинцев на Хеврон, почему он не сделает того же в отношении Хайфы?

...С практической точки зрения, пушки, расположенные в районе Восточного Иерусалима, смогут бить по Тель-Авиву; так что создание государства на Западном берегу — это только тактический шаг, направленный на то, чтобы достигнуть того, чего нельзя заполучить сегодня силой”.

* Сравнительно недавно, 10.3.1980 г. Ясер Арафат так объяснил, что подразумевает ООП под словом “мир”: “Мир для ООП значит уничтожение Израиля”. “Пока есть Израиль — невозможен мир”, — вторит ему Маджар Абу Шарар, глава отдела пропаганды ООП и член ее ЦК.

Как следует из этих заявлений, предлагаемая Ш. Шамиром политика последовательных компромиссов и конкретных уступок со стороны Израиля — это объективно (личных побуждений Шамира я под сомнение не ставлю) именно то, чего добивается ООП. Это и есть “карфагенский вариант” или “тактика салями”: отхватывания куска за куском до полного поглощения. Как говорится в мудрой китайской поговорке, пусть сперва головы склонятся, тогда их уже можно трясти, а потом они сами покажутся.

Разногласия между деятелями ООП в основном касаются вопросов тактики. Наибольшее, на что согласны самые умеренные из них — это обсуждение уступок со стороны Израиля. В этой связи их и занимает вопрос налаживания контактов* с целью создания своей агентуры, усиления влияния, раскола общественного мнения в Израиле по отношению к ООП и подрыва моральной стойкости его граждан** — в полном соответствии с методами ведения пропагандно-психологической войны, превосходно разработанными в Советском Союзе. А чтобы не выглядеть слишком уж явными последователями Гитлера, лидеры ООП время от времени сопровождают свои декларации о непризнании и уничтожении Израиля “успокоительными” заявлениями о том, что они, дескать, проводят разницу между евреями и сионистами. Такое заявление сделал недавно и Абу-Айяд — главарь организации “Черный сентябрь”, убившей израильских спортсменов в Мюнхене во время олимпиады 1972 года.

Ни о каком отказе от “Хартии палестинцев”, как признает и сам Ш. Шамир, в ООП нет и речи. Следовательно, надеяться на ее серьезный раскол нет никаких оснований. Еще менее реалистичен расчет вызвать раскол в ООП компромиссами (как их называет Ш. Шамир), то есть фактически односторонними уступками со стороны Израиля.

Нам ответят, что не все проекты создания рядом с Израилем

* Например, с РАКАХ и ХАДАШ, признающими ООП представительницей “всего палестинского народа” (включая и арабов — граждан Израиля), как было заявлено в их декларации к всеизраильскому арабскому конгрессу с движением “Мир сегодня” (хотя руководство ООП считает его сионистским и от встреч на высоком уровне пока воздерживается) и другими.

** В том числе и репатриантов из Советского Союза и стран коммунистического блока, интеграция которых в израильское общество по ряду причин протекает с большим психологическим напряжением, в некоторых случаях доходящим до стрессового.

еще одного (помимо Иордании) палестинского государства связаны с ООП.

Прошу прощения:

1. Все арабские государства признают ООП (непосредственно или косвенно) полноправным представителем палестинских арабов.

2. Все левоориентированные "терпимцы" на людях или конспиративно общаются именно с ООП.

3. В своей ближневосточной политике СССР делает ставку только на ООП.

Как бы предвидя возражения такого рода, Ш. Шамир говорит, что "кроме ООП существуют просто палестинцы — палестинцы на Западном берегу и палестинцы на Восточном берегу", с которыми можно будто бы прийти к приемлемому решению на основе сосуществования еврейского государства с "федерацией населенных арабами областей на том и другом берегу".

Но Ш. Шамир почему-то не называет ни одного конкурирующего с ООП реального политического течения умеренного толка на Западном берегу, которое он мог бы иметь в виду, говоря о деловых переговорах и демократических выборах в каком-то будущем.

По какой причине?

Эту причину достаточно хорошо раскрыл недавно Шимон Перес, когда во время встречи делегации Рабочей партии Израиля с египетскими руководителями сказал, что если разрешить партийную деятельность на Западном берегу, то там возникнут две партии: одна коммунистическая, а другая — под эгидой ООП*; партия же, которая объявит о признании государства Израиль, отвергнет террор и поддержит процесс мирного урегулирования, тут же будет объявлена "предательской" и не будет иметь никаких шансов на поддержку со стороны населения — тех самых "просто палестинцев", на которых надеется Шимон Шамир.

О каких уступках тут может идти речь? О каком выборе?

"Иорданский вариант" (то есть мирное соглашение между Израилем и реальным арабским палестинским государством — Иорданией, без какого-либо участия ООП и стоящего за ней СССР, с переходом арабских жителей Западного берега и сектора Газы

* Обычная тактика "многопартийной" однопартийности в коммунистической стратегии.

под иорданскую юрисдикцию непосредственно или в форме федерации при одновременном обеспечении безопасных рубежей для Израиля) был бы возможным решением "палестинской проблемы". Но его осуществление зависит отнюдь не только от доброй воли Израиля.

Даже несмотря на то, что арабский мир расколот сейчас ирано-иракской войной, ООП по-прежнему пользуется признанием всех арабских стран, как с той, так и с другой стороны. Их позиция в отношении Израиля не претерпела существенных изменений.

И что же?

Шимон Шамир формулирует свои предложения так, словно этой, поддерживаемой коммунистическим лагерем, "третьим миром" и существенной частью свободного (еще свободного) мира общеарабской позиции не существует в природе!..

Книготороварищество "Москва—Иерусалим"

выпускает в первом квартале 1981 г.

НОВЫЕ КНИГИ:

АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. "КОНТУРЫ ТАЛМУДА" — книга "одного из крупнейших религиозных мыслителей современного Израиля" (журнал "Комментари"), впервые на русском языке рассказывающая о возникновении, содержании и значении уникальнейшей в истории человечества книги — еврейского Талмуда.

216 стр.

цена 9 долларов

ГИЛЛЕЛЬ ГАЛКИН. "ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ" — "вероятно, важнейшая еврейская книга за последние десятилетия" (журнал "Мидстрим"), остро и глубоко ставящая важнейшие проблемы жизни еврейства в Израиле и на Западе.

216 стр.

цена 9 долларов

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW-JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW-JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

Книготороварищество "Москва—Иерусалим"
объявляет подписку на 1981 год

на общественно-политический и литературный журнал

ДВАДЦАТЬ ДВА (№№ 17—22)

В 1981 году — впервые на русском языке — только в нашем журнале:
сенсационная повесть Джорджа Штайнера об охоте израильских разведчиков за Адольфом Гитлером в бразильских джунглях (пер. с англ.)
знаменитая пьеса самого спорного и шокирующего израильского драматурга, Ханоха Левина (пер. с иврита)
фантастическая повесть Станислава Лема о новых приключениях прославленного Йиона Тихого в мире психимического будущего (пер. с польск.)

В 1981 году — только в нашем журнале — Израиль, Россия, Запад:
юмористическая повесть Александра Гольдмана о славном городе Кишиневе
роман Владимира Соловьева о нечаянном бегстве из-за железного занавеса новые произведения авторов Самиздата — "На той войне незнаменитой", "Полежаев и Бибииков", "Конец командировки", "Случай Зоценко"

В 1981 году — впервые на русском языке — только в нашем журнале:
главы из бестселлера знаменитого американского экономиста Нобелевского лауреата Милтона Фридмана "Рожденный выбирать"
главы из книги крупнейшего историка, консультанта Рейгана по американо-советским отношениям Ричарда Пайпса о русской революции

В 1981 году — только для нашего журнала — продолжение серии политических интервью с теми, о ком спорит весь Израиль:
Бени Пелед — Моше Даян — Эзер Вейцман — Игаэль Гурвиц — Шимон Перес — Менахем Бегин

В 1981 году — наши постоянные авторы — очерки, статьи, эссе:
Александр Воронель, Майя Каганская, Наталья Рубинштейн, Нина Воронель, Эдуард Кузнецов, Дора Штурман, Михаил Хейфец, Юрий Милославский, Нафтали Прат, Израэль Шамир, Виктор Богуславский, Юрий Меклер.

условия подписки до 1 апреля 1981 г.:

В Израиле: 150 шекелей (организациям — 190 шекелей); за рубежом: 29 долларов (организациям — 34 доллара); авиапочтой (за номер): в Европе — 3 доллара, США — 4 доллара

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на 6 номеров журнала "22", начиная с
Журнал высылать по адресу:
.
.

**ЭТОТ ПОДПИСНОЙ ТАЛОН И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ
НА ИМЯ: "FOUNDATION MOSCOW JERUSALEM", СЛЕ-
ДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: "22", P.O.B. 7045,
RAMAT-GAN, ISRAEL.**

Книготоварищество "Москва—Иерусалим"

предлагает следующие книги:

ДЖОЭЛЬ КАРМАЙКЛ. "ТРОЦКИЙ" (300 стр.) — впервые на русском языке объективный рассказ о человеке, который был главной движущей силой октябрьского переворота в России. Книга читается как острый психологический детектив. цена 14 долларов

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. "МОРДОВСКИЙ МАРАФОН" (256 стр.) — дневники всемирно известного автора, вынесенные из-за колючей проволоки каторжных лагерей Мордовии; наблюдения и мысли человека, пережившего 16 лет лагерей, разделенных смертным приговором, и не утратившего вкус к жизни и трезвость взгляда. цена 10 долларов

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ПРАХ И ПЕПЕЛ" (192 стр.) — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете; две из вошедших в сборник пьес были с успехом поставлены в Нью-Йорке, две в Иерусалиме и по одной снят художественный фильм в ФРГ. цена 4 доллара

"КНИГА МАККАВЕЕВ" (128 стр.) — русский перевод с греческого античного оригинала, книга-хроника первой в истории человечества религиозной войны с ее героизмом и жестокостью. цена 6 долларов

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. "УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА" (176 стр.) — опубликование в журнале "22" первой части этой горькой повести вызвало бурю споров в израильской и эмигрантской печати, что не помешало признать безусловный талант автора. цена 10 долларов

ИЛЬЯ РУБИН. "ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ" (300 стр.) — посмертное издание творческого наследия безвременно скончавшегося поэта и эссеиста, одного из лучших в эмигрантской литературе, чьи блестящие и острые статьи вызывали яростную полемику в печати. цена 7 долларов

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. "ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ", издание второе, переработанное и исправленное (192 стр.) — точная и насмешливая философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии интеллигента, сформировавшегося в советской России. цена 8 долларов

ЗАКАЗ НА КНИГИ И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW—JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ВЫСЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW—JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.

Однажды бывший президент Джимми Картер напрямую обратился к советским руководителям со следующим вопросом: "Хочет ли Советский Союз способствовать созданию стабильного международного порядка, в рамках которого он мог бы преследовать также и свои, законные и мирные, цели или же он стремится к наращиванию своей военной мощи, и так уже выходящей за пределы законных соображений его безопасности, с тем чтобы использовать эту мощь для колониальных захватов?"

То, что президент Соединенных Штатов, имея в распоряжении весь опыт, накопленный за 60 лет советской истории, тем не менее задает подобный вопрос, показывает, что, хотя он, быть может, и понял уже, что советские руководители лицемерят, он так и не понял еще, что они за люди и к чему стремятся.

Несколько вечеров, проведенных над стандартным учебником марксизма-ленинизма и хорошим курсом истории СССР, избавили бы его от необходимости задавать подобные вопросы и уберегли бы его (а заодно и всех нас) от многих дорогостоящих ошибок. Ибо из этих книг он быстро понял бы, что для СССР "законные интересы" вовсе не тождественны "мирным"; что советское руководст-

Ричард Пайнс

**СОВЕТСКАЯ
ГЛОБАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ**

во в силу определенных идеологических, политических и экономических соображений отнюдь не желает "способствовать созданию стабильного международного порядка"; и что именно "соображения безопасности" как оно их понимает, требуют "колониальных захватов" и "наращивания военной мощи".

Это происходит вовсе не потому, что советские руководители такие "плохие", а потому, что они сами являются жертвами и пленниками определенной системы, которую не способны изменить, не рискуя при этом ее разрушить. И чем скорее руководители нашей внешней политики прекратят бесплодное морализирование и отдадут себе отчет в особенностях режима, который судьба избрала нам в соперники, тем лучше будет для всех.

Начнем с идеологии. Марксизм-ленинизм по самой своей природе представляет собой воинствующую доктрину, подлинное детище эпохи социал-дарвинизма, которая рассматривает всю историю как непрерывную классовую войну и объявляет продолжение этой войны единственным средством окончательного уничтожения всех и всяческих классов. "Стабильность", о которой упоминал Джимми Картер, с точки зрения марксизма может быть достигнута только **после ликвидации капитализма**, а это требует предварительного долгого периода **нестабильности**, включающего также международные войны.

Марксизм-ленинизм является далее доктриной интернациональной. С его точки зрения каждый этап развития человечества **глобален**, то есть не может ограничиваться (разве что временно) рамками отдельного государства. Интернациональный (даже сверхнациональный) характер этой доктрины лучше всего выражен в ее основном лозунге: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Разумеется, тут можно возразить, что история знает примеры сверхнациональных движений, которые сначала тоже претендовали на универсальность, а потом удовлетворялись куда более скромной ролью; достаточно вспомнить хотя бы ислам и некоторые другие религии. Но такое "самоограничение" всегда было результатом неодолимого сопротивления, оказанного этим универсальным движениям на их пути к мировому господству. В случае же коммунизма важно еще, что он является не только своеобразной религией, но также программой действий мощного секулярного государства и его правящей элиты. Корыстные, вполне земные интересы этой элиты и скрываются в действительности за возвы-

шенными лозунгами “бесклассового общества”, за которое она якобы борется.

Интересы эти просты и очевидны. Советская элита каждый день вынуждена смотреть в лицо весьма неприятной правде, состоящей в том, что она, элита, является **самозванной**. Она ни от кого не получала полномочий на руководство; она не узаконена какой-либо древней традицией; она не освящена авторитетом какого-либо здравствующего харизматического вождя. Это просто собрание самозванных бесцветных чиновников, которые делают вид, будто получили свои полномочия “от народа” (и в подтверждение этого время от времени инсценируют мнимые выборы, а в сущности — ритуал голосования без всякого выбора, который может обмануть только идиотов). Единственное основание власти этой элиты состоит в ее **собственном утверждении**, что она представляет собой “авангард сил прогресса”, призванных совершить “последнюю” социальную революцию в истории. Стоит отказаться от этих претензий (а это стало бы неизбежным, согласись советская элита на признание международного статус-кво и замкнись в своих границах), как немедленно встанет вопрос: а кто, собственно, дал КПСС право на монопольную политическую власть в стране и на все материальные и людские ресурсы этой страны? Вот почему режим обязан непрерывно **самоутверждаться**, как внутри, так и вовне; обязан непрерывно “побеждать” или, по крайней мере, делать вид, что побеждает, чтобы сохранить иллюзию непрерывного движения “вперед”, к “великой цели”, чтобы доказать, что он выполняет некую всемирную “миссию”. В противном случае его политические полномочия будут немедленно подвергнуты дошлой проверке, которая тут же обнаружит их подложность.

Следующие причины неизбежности советской экспансии — исторические. В силу вековой российской бедности, обусловленной особенностями климата, почвы и другими, Россия никогда не могла обеспечить своему населению нормальный прожиточный минимум и потому на протяжении всей своей истории вынуждена была захватывать все новые земли, прилегающие к ее границам. У нее давняя и настойчивая традиция имперской экспансии.

Таким образом, особенности идеологии, нужды политического самосохранения режима и экономические трудности, усиливая друг друга, постоянно толкают СССР к внешним завоеваниям. В этой политике уже сложилась устойчивая схема: каждая вновь захваченная территория сначала объявляется частью русского “на-

ционального населения”, а затем, рано или поздно, включается в ее “исконную землю”; это завоевание немедленно требует “буфера” для защиты от реальных или воображаемых врагов; наконец, сам этот “буфер”, в свою очередь, объявляется частью “русской земли” и требует нового “буфера” уже для своей защиты.

Казалось бы, лозунг детанта, провозглашенный советским режимом с середины 50-х гг., противоречит утверждению, что экспансионизм и международная классовая война — неотъемлемые признаки коммунизма. В том же виде, как он презентуется Западу (в самой России он толкуется совершенно иначе), этот лозунг призывает к “мирному сосуществованию различных социальных систем”. В действительности, однако, детант представляет собой всего лишь тактическое видоизменение общей стратегии и нисколько не противоречит сформулированным выше ее общим принципам. Чтобы показать это, достаточно внимательней приглядеться к особенностям этой стратегии.

Историческая заслуга Ленина состоит в том, что он милитаризовал политику. Кто-то метко сказал, что он перевернул Клаузевица с ног на голову, превратив политику в продолжение войны другими средствами. Главная цель для него — международная классовая война, политика — лишь средство для этого. Вопрос о том, прибегать ли к прямым военным действиям или ограничиться политическими методами, решается только на основании трезвой оценки “соотношения сил”. Как говорил Ленин, “революционный опыт учит, что прибегать к беспощадной атаке на капитал можно лишь тогда, когда это позволяют объективные обстоятельства. Когда же объективные обстоятельства не благоприятствуют беспощадному наступлению, мы должны использовать временную тактику постепенного собирания сил”.

С этой точки зрения явления, которые Запад именует “холодной войной” и “детантом” и рассматривает как **взаимоисключающие**, представляют собой всего лишь тактические видоизменения **одной и той же** стратегии, используемые поочередно в зависимости от “объективных обстоятельств”. Детант был продиктован ядерным превосходством Запада. Оно понудило советское руководство отказаться от прямой конфронтации и отдать предпочтение непрямым политическим методам военных действий — по крайней мере, до тех пор, пока не удастся нейтрализовать ядерную угрозу.

Конечной целью советской глобальной стратегии является

создание такого мирового порядка, в котором уничтожена частная собственность на средства производства, а все народы, за малыми исключениями, входят как части в советское государство. Только в таком мире правящая советская элита будет наконец чувствовать себя уверенно и безопасно.

Эта цель отнюдь не требует, как считают некоторые, полной оккупации советскими армиями всего мира. Такая задача не по плечу даже советской армии. Достичь ее гораздо проще путем установления мировой **гегемонии**, то есть способности навязать свои интересы — то ли посредством угроз и принуждения, то ли посредством прямого вмешательства. Об этой цели откровенно и хвастливо говорил на XXIV съезде КПСС Громыко: "Сегодня в мире нет такого серьезного вопроса, который решался бы без участия СССР или вопреки его интересам". (Не стоит и говорить, что, будь такая претензия заявлена с американской стороны, она была бы немедленно и с возмущением отвергнута советскими руководителями — равно как и американскими "либералами" — как проявление самого разнузданного "империализма".)

Стратегия, используемая для достижения подобной глобальной цели, должна быть **глобальной** и не может ограничиваться только военными средствами. Она должна включать весь возможный спектр воздействий, и на службу ей должны быть поставлены все национальные силы и ресурсы. Понятно, что тоталитарному государству легче осуществлять подобную стратегию, чем демократическому, ибо она требует такого слияния политики, экономики и пропаганды (идеологии), которое немислимо на Западе, где каждая из этих областей контролируется различными группами и развивается в своем направлении.

Основной принцип этой глобальной стратегии состоит в том, чтобы полагаться не столько на собственные силы или силы "союзников" (компартий других стран), сколько на раскол лагеря противника, осуществляемый под тем или иным удобным лозунгом ("национальное движение", "борьба за мир", "борьба против расизма" или "борьба против сионизма"). Этот принцип был сформулирован Лениным следующим образом: "Враг может быть побежден только при условии последовательного, тщательного, внимательного, искусного и обязательного использования любого, самого малейшего раскола в его стане, любого конфликта в рядах мировой буржуазии или между отдельными группами буржуазии в разных странах, любой, самой малейшей, возможности завоевания

на свою сторону массового союзника, даже если это союзник временный, колеблющийся, ненадежный и условный”.

Успех этой политики не в последнюю очередь обусловлен тем, что “мировая буржуазия” не только упорно отказывается увидеть подлинные советские намерения, открывающиеся за политическими маневрами, но еще и убеждена в своей способности ловить рыбку в советских политических водах, выискивая там несуществующих “голубей” и противопоставляя их столь же вымышленным “ястребам”.

Советский экономический арсенал недостаточен для обеспечения такой глобальной стратегии. Поэтому в своей экспансии СССР меньше полагается на капиталовложения и торговлю как средства расширения влияния. Он добивается этого влияния главным образом посредством **военной и экономической помощи**, продуманно распределяемой среди стран, оцениваемых прежде всего по степени их стратегической важности. По размерам этой помощи на душу населения первое место начиная с 1954 г. занимают Южный Йемен и Афганистан; в последнее время большие суммы вкладываются также в Турцию и Марокко. Увеличение советской помощи обычно указывает на рост стратегической заинтересованности Москвы в данном районе; судя по этому признаку, таким районом в последние годы является средиземноморский ареал.

Орудием советского воздействия на индустриальные страны являются **долги за кредиты**, предоставляемые этими странами Советскому Союзу в процессе детанта. Сегодня эти долги оцениваются в 60 миллиардов долларов, из которых около четверти должен СССР, а остальное — его восточноевропейские сателлиты. Для СССР этот долг не особенно велик, если учесть его громадные естественные ресурсы и золотые запасы. Западные банкиры рассчитывают на эти советские возможности в случае затруднений с платежами со стороны советских сателлитов, поэтому они охотно вкладывают деньги в советский блок, а это заставляет их заботиться об экономическом благополучии своих должников и делает пленниками детанта, каких бы политических жертв он ни требовал.

Другим экономическим оружием СССР является **энергия**. Значение этого фактора советские руководители поняли значительно раньше западных. Вот почему они пытаются перекрыть пути ближневосточной нефти, с одной стороны, а с другой — поставить Западную Европу и Японию в зависимость от советских энерге-

тических поставок. Считается, что сегодня ФРГ уже на одну четверть зависит от советского газа, и эта зависимость возрастает. К чему она ведет, видно было в октябре 1973 г., когда СССР прекратил поставки газа крупнейшей западногерманской энергетической фирме "Веба", пытаясь понудить ФРГ выступить против израильской политики Соединенных Штатов.

Вообще перечень средств, используемых советской глобальной стратегией, почти бесконечен и простирается вплоть до таких, казалось бы, далеких от политики факторов, как семейные связи (например, расширение контактов между Восточной и Западной Германиями превратилось в орудие мощного политического шантажа со стороны советского блока). Но главное место в ней занимает, разумеется, фактор чисто **военный**. Советский империализм представляет собой в первую очередь милитаристское явление, а по мере возрастания его военной мощи он все меньше нуждается в тех косвенных политических методах, к которым прибегал ранее. Недаром советские руководители в последнее время столь усиленно подчеркивают, что соотношение сил в мире сдвинулось в пользу СССР.

Людам, много слышавшим о низком уровне жизни и неэффективности экономики в СССР, трудно понять, как такая страна может представлять серьезную угрозу Западу. Эти люди не учитывают, что даже относительно бедная страна, едва она создала минимальную индустриально-техническую базу, способна серьезно угрожать своим соседям, если решит подчинить все свои ресурсы только военным целям. И наоборот: когда Япония, располагая громадным технико-экономическим потенциалом, решила отказаться от его военного использования и положиться на американскую защиту, она в результате имеет вооруженные силы, вдвое меньшие по численности и намного худшие по эффективности, чем вооруженные силы Израиля (с населением в 1/39, а валовым производством — в 1/40 японского). Что же касается низкого уровня жизни, то разве не очевидно, что когда страна с огромным экономическим потенциалом не способна удовлетворить нужды своих граждан, то разгадку этого следует искать не в "просчетах" планирования, а в намеренном, сознательном и последовательном отвлечении ресурсов на **иные** цели?

Россия всегда затрачивала непропорционально большую часть своих ресурсов на поддержание военной мощи; при Петре, например, на это шло 9/10 бюджета страны. Царизм понимал, что меж-

дународное влияние России весьма зависит от ее способности угрожать своим соседям. Однако дореволюционная русская армия располагала недостаточной промышленной и транспортной базой, как это показала Первая мировая война. Большевики прекрасно усвоили ее уроки. Они были также прилежными учениками немцев. После захвата власти они внедрили у себя немецкие методы: сталинские пятилетки, шумно рекламировавшиеся как "шаги к социализму", были в действительности столь же милитаристски направлены, как гитлеровские "четырёхлетки". А их эффективность была еще выше, поскольку в СССР была ликвидирована частная собственность и введена всеобщая обязательная служба интересам государства.

Ни детант, ни соглашения об ограничении вооружений не изменили этой основной советской тенденции. За последние 10 лет доля советских военных расходов возросла с 12–13% до 18% (при одновременном увеличении общего валового производства). Стоит отметить, что для США в эти же годы была характерна противоположная тенденция — снижения доли военных расходов с 7,5% до 4,6% (с 85 до 65 миллиардов долларов за 10 лет).

Особое внимание уделяется в советской глобальной стратегии ядерному оружию. Можно с большой степенью вероятности утверждать, опираясь на высказывания советских военных стратегов, что советская военная доктрина предусматривает — в случае войны — нанесение превентивного ядерного удара по Соединенным Штатам, и отказ американских военных специалистов принимать всерьез эту доктрину превентивного удара можно расценить только как проявление интеллектуальной и политической безответственности. А пока что растущий ядерный арсенал используется советскими руководителями как сильнейшее средство политического и психологического давления, поскольку мысль о советских ядерных ракетах наполняет влиятельных западных политиков страхом и толкает их на компромиссы, даже за счет принципиальных политических целей. Этот страх нашел самое четкое выражение в недавнем заявлении одного из конгрессменов от штата Нью-Йорк, Бингэма: "Прежде всего мы должны понимать, что СССР является единственной другой сверхдержавой, то есть единственной державой в мире, которая может нас уничтожить. Поэтому сохранение хороших отношений с СССР является нашей первостепенной задачей".

Это заявление, по существу, призывает нас подчинить все наши

национальные интересы, равно как и наши идеалы свободы и прав человека, то есть всего, что действительно можно назвать "первостепенным", совершенно иной цели — самосохранению. (Интересно, что оно призывает к этому только нас, совершенно не упоминая, что и СССР должен был бы стремиться к компромиссу с США, поскольку это единственная держава, которая может уничтожить его.) Когда такой образ мысли становится господствующим, страна рискует потерять свою свободу ради самосохранения; психологически она уже капитулировала и недвусмысленно намекает на это противнику. Нетрудно представить, как реагируют на это советские руководители; подобные заявления только побуждают их и дальше наращивать свою ядерную мощь, рассчитывая, что чем сильнее она станет, тем громче будут звучать в США голоса Бингэмов.

Экономическая зависимость и ядерный шантаж — только некоторые из средств советской глобальной стратегии. В целом она реализуется посредством многочисленных и непрерывных нажимов, осуществляемых в самых разных точках планеты и притом в такой запутанной последовательности, которая затрудняет выявление единого плана и заставляет некоторых обозревателей толковать ее как простое использование случайно подвораживающихся возможностей. В действительности, однако, такой единый план существует и состоит в **последовательном вытеснении Соединенных Штатов**, этой "цитадели мирового империализма". Мир, в котором не будет США, автоматически становится миром советской гегемонии. Поэтому вытеснение США с мировой арены столь же необходимо для СССР, как разрушение Карфагена — для Рима.

В отличие от Рима СССР не может достичь этой своей основной цели с помощью новых "пунических войн". Прямой военный конфликт с США — наименее привлекательная из альтернатив, имеющихся у советского руководства, поскольку оно не может рассчитывать полностью избежать ответного ядерного удара. Поэтому во всех областях, кроме идеологической (которой США не придают особого значения и в которой поэтому Советский Союз может безнаказанно вести самые яростные антиамериканские кампании), Москве приходится прибегать к непрямым методам вытеснения и окружения Соединенных Штатов.

Первой целью единого плана является отрыв от США их главных союзников — Западной Европы и Японии. Валовое производство стран Варшавского пакта в 1977—78 гг. составляло 1999

миллиардов долларов ; столько же составляло валовое производство Японии; вдвое больше было производство США и Западной Европы (по отдельности). Таким образом, нынешнее соотношение экономических сил составляет 5:1 в пользу Запада; но оно немедленно изменилось бы на 4:2 в пользу советского блока, если бы ему удалось разорвать союз США с Японией и Западной Европой.

Но и здесь прямой конфликт исключен, и потому Советскому Союзу и тут приходится прибегать к непрямым действиям, которые напоминают осаду средневековых замков в эпоху до изобретения пороха. Он стремится отрезать Японию и Западную Европу от источников припасов и подкреплений, в данном случае — подкреплений из США и припасов (сырья и горючего) из Африки и Ближнего Востока. С целью контроля над воздушными и морскими путями (в основном североатлантическими), по которым США могли бы в случае конфликта помогать своим европейским союзникам, СССР создал громадный военный (главным образом подводный) флот, базирующийся на Кольском полуострове. Возможности этого флота усиливаются благодаря советскому политическому нажиму на скандинавские страны; под его воздействием Норвегия и Дания отказались от размещения ядерных ракет НАТО на своих территориях, и СССР зорко следит за тем, чтобы эта их политическая линия не менялась. СССР строит на финской территории автострады, нацеленные в сторону Норвегии, демонстрируя этим свое намерение в случае конфликта атаковать норвежские порты и авиабазы, как это сделал Гитлер в 1940 г. Непрерывный политический нажим осуществляется также на Швецию (которая в результате построила для СССР гигантский сухой док для обслуживания громадных авианосцев). Эта советская активность в Скандинавии почти не привлекает внимания мировой печати, хотя в случае войны ее последствия для Европы могут оказаться не менее опасными, чем перехват нефтяных путей: ведь 9/10 американской военной помощи Европе должно проходить по североатлантическим воздушным и морским трассам.

Другое советское щупальце протянулось к Ближнему Востоку, чтобы в случае войны немедленно порехватить то сырье и горючее, без которого Европа и Япония не могут существовать. В последние годы СССР удалось закрепиться здесь в трех важнейших пунктах: Баб-эль-Мандебском проливе, ведущем к Красному морю и Суэцкому каналу (благодаря базам в Южном Йемене и Эфи-

опии); вблизи Хормузского пролива, ведущего к Персидскому заливу (благодаря захвату Афганистана, сократившему расстояние от пролива до советских авиабаз с 1100 до 550 километров); наконец в районе Молуккского пролива, по которому идет основной поток нефти и сырья в Японию (благодаря базам в дружественном Вьетнаме). Следует отметить, что зависимость Западной Европы и Японии от африканского сырья (родезийского и южноафриканского хрома, платины, ванадия и марганца) почти столь же существенна, как их зависимость от ближневосточной нефти; повышенная советская активность в Африке к югу от экватора, где СССР поддерживает все так называемые "национально-освободительные движения", указывает на явное намерение в случае конфликта отрезать Запад от этих сырьевых источников.

Советское наступление на Запад через Африку и Ближний Восток приводит СССР в соприкосновение со странами третьего мира и требует формулировки политической стратегии в отношении этих стран. Вначале эта стратегия предусматривала ставку на "национальную буржуазию", враждебную к "западному империализму и колониализму", и на ее харизматических национальных лидеров. Однако национальная база этих лидеров оказалась слишком слабой, а их смерть или свержение приводили к потере очередного союзника и всей предоставленной ему военной помощи (как случилось в Индонезии с Сукарно, в Гане — с Нкрума и в Египте с Садатом, который сам переориентировался на США). После измены Садата Москва явно изменила стратегию и перешла к опоре на местных политических лидеров меньшего калибра, все значение которых целиком зависит от советской поддержки (типа недавно умершего ангольского Нето, эфиопского Менгисту или афганских Тараки и Кармалы). Эти люди — уже не национальные герои, располагающие хоть какой-то опорой в народе, а чисто временные политические марионетки, опирающиеся на прямую поддержку Москвы и ее сателлитов Кубы и Восточной Германии. При этом СССР не брезгует самыми грубыми, гангстерскими методами, вплоть до "ликвидации", чтобы поставить этих людей у власти или сместить, если они оказываются неудовлетворительными. Для их поддержки в эти страны направляется огромный персонал русских "советников", кубинских наемников и восточногерманских офицеров безопасности и создается такая инфраструктура, которая гарантирует от внезапных нежелательных изменений в местном руководстве. Вдобавок эти марионетки связываются

“кровавой порукой”, поскольку их толкают на массовое уничтожение всякой политической оппозиции (как это было в Эфиопии и Афганистане).

Новая советская стратегия не лишена своих недостатков: она вынуждает СССР брать на себя все более тяжелые обязательства и делает все более трудным отказ от доставшихся такой кровью приобретений, как показывают его нынешние действия в Афганистане (где не помогли все обычные методы и пришлось идти на прямую оккупацию страны).

В двух других районах — в западном полушарии и на Дальнем Востоке — СССР действует более осторожно. Инфильтрацию в страны Центральной и Латинской Америки он реализует с помощью кубинского магаломаньяка, который в своем стремлении осуществить “революционную миссию Кубы” может полагаться только на помощь СССР; на китайской границе советские руководители, после долгих колебаний, примирились с оборонительной стратегией, поскольку перспектива затяжной войны с другим тоталитарным режимом оказалась малопривлекательной для элиты, которой необходимы быстрые и впечатляющие победы.

Такова, в общих чертах, советская глобальная стратегия сегодня. Чтобы противостоять ей, нужно прежде всего признать, что она существует, то есть отказаться от иллюзии, будто СССР действует случайным образом, как некий международный карманный воришка.

Во-вторых, необходимо освободиться от того отношения к ядерному оружию, которое делает нас столь чувствительными к психологическому и политическому шантажу; в противном случае растущее советское ядерное превосходство может вынудить нас все чаще уступать любому советскому требованию, подкрепленному угрозой ядерной войны.

В-третьих, необходимо трезво пересмотреть всю систему наших оборонительных союзов, которые из реальных превратились, скорее, в психологические. НАТО напоминает сегодня улицу с односторонним движением: в то время как США обязались обеспечивать безопасность Западной Европы, наши западноевропейские союзники не чувствуют себя обязанными поддерживать США в их конфронтации с СССР в любой другой части земного шара, даже на Ближнем Востоке, где у Европы есть прямые собственные интересы. Это поощряет советских лидеров на агрессивные действия в третьем мире, поскольку они знают, что там Соединенным Шта-

там придется противостоять им в одиночку, да еще с риском ухудшить отношения со своими союзниками.

В-четвертых, необходимо как можно быстрее выравнять изменившееся соотношение вооруженных сил, в особенности ядерных и военно-морских. Если бы такие усилия были поддержаны Западной Европой и Японией, то экспансия в Африке и на Ближнем Востоке обходилась бы СССР гораздо дороже и потому была бы не такой соблазнительно легкой.

Главная же стратегическая цель Запада должна состоять в том, чтобы заставить СССР обратиться **внутри** — от завоеваний к **реформам**. Только остановив его экспансию, можно понудить советский режим предстать перед своими гражданами и дать им отчет в своих действиях. Новейшая русская история учит, что после всех крупных военных поражений — в Крымской войне, в русско-японской войне, в Первой мировой — русское правительство оказывалось вынужденным, под давлением внутренних сил, расширять политические права граждан. И теперь мы снова должны помочь гражданам СССР призвать к ответу свое правительство. Более демократическая Россия будет менее экспансионистской, а тогда и вся наша планета станет более приятным местом для жизни.

Р. Пайпс — один из крупнейших американских специалистов по русской истории, автор книги "Россия при царском режиме" и ряда статей в ведущих западных изданиях, член группы советников президента Ригана по русским делам. Статья любезно предоставлена журналу автором.

НОВАЯ КНИГА

ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС

"ДИССИДЕНТЫ И ЕВРЕИ: КТО ПОРВАЛ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС?"

200 стр. (с фотографиями)

Цена — 11 долларов

Первый документальный и в то же время полемичный рассказ о еврейском национальном движении в СССР, о его героях и его массе, его истории и его противоречиях. Автор — активный участник движения, глубоко знающий его изнутри.

Заказы принимаются по адресу: изд-во "Эффект", Тель-Авив 61230, ул. Мапу, 18-а, п.я 23052.

“Неуважение к своим предкам есть первый признак дикости и невежества”, — цитирует Пушкина Станислав Куняев.

В состоянии “дикости и невежества” попадают порой люди, привыкшие себя считать обычно вполне культурными. Происходит это в различные **революционные** эпохи. Примером, для нас наиболее близким, может служить революционный пятичасовой перелет, превращающий советского гражданина еврейской национальности в нового гражданина Еврейского государства.

В этой революционной ситуации отношение к предкам — советским евреям поколения наших отцов и дедов, в том числе и к “советско-еврейским” знаменитостям, — строится, как правило, по одной из двух полярных схем.

Те, кто менее подвержен “романтической эйфории” и питает естественную склонность к сохранению уважения, пытаются приписать любому из бывших еврейских придворных “светил” (будь то Павел Антокольский, Илья Эренбург, Давид Ойстрах и т. п.) некое глубинное националистическое диссидентство. Те же, кто более склонен к эффектам “мессиански-театрального действия”, предпочитают из своего ура-патриотического нутра

Виктор Богуславский

В ЗАЩИТУ КУНЯЕВА

выделить полный рот слюны и тщательно плевать все тех же “предков”, проклиная Троцкого и Багрицкого, Когана и Дунавского.

Наглядными иллюстрациями этих схем служат две, появившиеся почти одновременно статьи на одну и ту же тему: “Отныне я другой...” (Иллюзии и прозрение Эдуарда Багрицкого) М. Вайнштейна в “Сионе” № 32 и “Наши общие уроки (Ответ Станиславу Куняеву)” М. Хейфеца в “22” № 14.

Рассуждения М. Вайнштейна о якобы имевшем место “прозрении” Багрицкого (эта главка у Вайнштейна многозначительно названа “Возвращение” и опирается на одноименное стихотворение поэта, с прозрением ничего общего не имеющее) звучат малоубедительно и явно притянуты за уши, так что по прочтении остается одно лишь чувство тягостного недоумения: зачем все это доказывать? Да неужто ж нам для сохранения уважения к предку непременно надо открыть в нем солидарность с нашими **сегодняшними** устремлениями? А если вдруг обнаружится солидарность только с нашими позавчерашними взглядами, — так он уж и уважения недостоин?

Уважение к предкам начинается с самоуважения. Предки — это то, частью чего изначально был ты сам. Да ведь каждый из нас (или, во всяком случае, подавляющее большинство) до того, как стать “несоветским” или даже (беру “выше”) “антисоветским”, все-таки изначально был “советским”. Это — наша общая начальная точка отсчета, от которой начиналась индивидуальная эволюция личности в самоосознанное еврейство, в израильское гражданство. И рассматривая этот путь (а то ведь подчас и гордясь им), нельзя обращать внимание лишь на Конец его, забыв и отринув Начало. Истоки нашего пути — не пустая и ненужная сморщенность, кою можно легко и просто, “бесплатно и с соблюдением тайны” удалить к чертовой матери “под общим наркотом”.

Революционный, большевистский, советский период русского еврейства есть реальность, на сегодня (к нашему счастью) уже **историческая** реальность, и именно в силу своей историчности, то есть завершенности (пока еще только духовной, не физической), эта реальность может и должна стать предметом строгого и тщательного анализа. (Тщательность этого анализа для нас тем более важна, что почти те же самые революционные тенденции сопровож-

дали построение нашей новой, национальной реальности — Израиля.)

В начале века основной характеристикой еврейской активности было нечто, что можно назвать **очарованием**. То было очарование идеей построения нового справедливого общества, в котором еврей, отбросив опостылевшие атрибуты галута, станет **равным** — либо равным, как личность в социалистической стране (России), либо равным, как нация в окружении социалистических народов (в Палестине).

Когда в своем ответе Куняеву М. Хейфец пишет о начале эпохи такими фразами: “Часть еврейского поколения идет путем Герцля и Жаботинского. Другая часть не выдержала искушения и пополняет банду Ленина—Троцкого—Сталина...” — то ни в тоне, ни в содержании этих фраз нет ни грана исторической достоверности. Ибо первая упомянутая “часть” (часть, надо признать, весьма малая в удельном отношении) шла в Палестину не путем “Герцля и Жаботинского”, а в известной мере вопреки упомянутым авторитетам, шла путем Гесса, Борохова и Каценельсона, шла создавать новую социальную реальность, используя национальное движение всего лишь как инструмент для **социального** преобразования. Другая же названная Хейфецом “часть”, состоявшая из таких же социал-демократов (с различной долей “национальных” эмоций — от социалистов-сионистов и социалистов-территориалистов до автономистов, бундовцев и большевиков), осталась на территории развалившейся империи с той же целью создания новой социальной структуры. Из них лишь еврей-большевики (составлявшие малую долю российских евреев-социалистов) действительно “поддались искушению” — создать такую новую реальность, в которой человек будет **освобожден** (!) от национальных атрибутов вообще. И посему фраза Хейфеца: “Еврейское участие в большевизме явилось формой национального движения...” — сомнительна: с такой же вероятностью можно утверждать, что это была форма **антинационального** движения.

Вряд ли соответствует исторической реальности сентенция Хейфеца, что “в обществе, где социальное происхождение определяло любой статус, еврей, человек заведомо не из дворян, не из попов, не из чиновников, сразу попадал в перспективную прослойку нового класса”. Сентенция эта сомнительна, ибо социальное происхождение 90% еврейского населения было официально определено как “мелкобуржуазное”, а буржуазность была куда боль-

шим препятствием к “попаданию в перспективную прослойку”, чем происхождение из дворян (как у Ф. Дзержинского), из попов (как у И. Сталина) или из чиновников (как у В. Ульянова).

Становление большевистского режима, превратившего большую часть евреев в “деклассированный элемент”, разорившего, сославшего в ссылку, разрушившего семьи, было для большинства еврейского населения не меньшей бытовой катастрофой, чем для населения других национальностей. И доказательство этому — что отнюдь не на **две части**, не на два пути раскололось еврейство России в те годы. Большая часть вообще “укрылась от века” в обывательской глуши, став мелкими кустарями, снабженцами и толкачами, тихо выжидая возможности устроить детей в новом, странном и чуждом им обществе. Была и еще одна, весьма значительная часть, продолжившая специфически еврейскую форму “национального движения” — поиски и построение очередного галута — на новом, американском континенте.

Таким образом, когда Хейфец, спохватываясь, делает “необходимую поправку”: “Я не думаю, что евреи играли **главную** роль в большевизме”, к этому следовало бы прибавить еще, что **большевизм не играл главной роли в еврействе** в те годы революционного бурления.

Согласно официальной советской статистике, приводимой И. Маором (“Сионистское движение в России”, стр. 423, изд-во “Библиотека Алия”, Иерусалим, 1977), на выборах в Учредительное собрание летом 1917 года более 80% еврейского населения России проголосовало за представителей разного рода сионистских партий. “Ко времени Октябрьского переворота, — пишет Маор, — сионистская организация имела по всей России 1200 отделений и насчитывала 300 тысяч человек... Под руководством Йосефа Трумпельдора было организовано разветвленное движение Хе-Халуц, охватившее тысячи участников и множество центров подготовки к сельскохозяйственной работе и другим формам физического труда для тех, кто собирался ехать в Страну”.

Трумпельдор готовил создание сотысячной еврейской армии, которая, пройдя Кавказ, должна была соединиться в Палестине с Еврейским Легионом Жаботинского и завершить полное освобождение Страны. Предполагалось, что 200 тысяч (!) еврейских беженцев, изгнанных военной администрацией из прифронтовых районов и влачивших нищенское существование, станут колонистами в своем новом отечестве.

Увы!.. Все мы помним советский фильм, с наглой откровенностью показавший разгон этого самого Учредительного собрания: “Караул устал...” А позднее этот караул — как и вся большевистская система — усовершенствовался, набрался опыта и стал без устали гнать на север и восток этапы как избирателей, так и членов Учредилки...

Большевистский переворот в нашей, еврейской истории явился **трагедией**, лишившей нас уникального исторического шанса, который мог бы в корне изменить весь катастрофический ход последующих этапов нашего национального существования.

И после всего этого М. Хейфец призывает нас “очищать себя на огне национального покаяния” (?!), и хотя, по его словам, мы “уже изжили грехи и вину поколения наших дедов”, но все-таки — опять же по его мнению — у Ст. Куняева “есть реальные исторические основания для обвинения против евреев—русских революционеров”.

Ссылка на Куняева в данном случае и вовсе неуместна. Куняев вовсе не винит евреев в совершении **русской** революции. В данном случае Хейфец просто подсовывает под Куняева свою собственную излюбленную тему “еврейской вины” и “еврейского покаяния”.

Куняев не винит ни еврейских, ни русских, ни латышских революционеров. Он приемлет революцию в России со всеми ее жестокостями, со всеми ее последствиями, как приемлет всю жестокость русской истории вообще. Ибо “все эти кровопускания не помешали народу создать великое государство, не помешали медленному, но неуклонному росту мощи нации, ее становлению, развитию ее духа и тела”. Российскую жестокость же он трактует снисходительно, “как оброк, который собирали с русского человека необъятные просторы России, величина которой становилась частью души, а не просто географией”.

Куняев бесспорно русский националист. И именно поэтому он приемлет власть, столь решительно пекущуюся о “неуклонном росте мощи нации” и о ее величине, ставшей частью его, Куняева, души. Но отдав кесарю—кесарево, то есть отдав советской власти заботу о “теле нации”, свою заботу он посвящает развитию ее “духа”.

Позиция националиста, приемлющего режим, но озабоченного духовными путями нации, весьма характерна, мне кажется, для большинства представителей националистического движения се-

годняшной России. И эта позиция, эта повышенная озабоченность проблемами "духа" объяснима в свете истории.

Если бросить беглый взгляд на послереволюционную Россию с узкосociологической точки зрения, то можно обнаружить, что главарями Октябрьской революции были авантюристы-полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и "экстерны", духовный багаж которых состоял по большей части из набора пропагандистских брошюрок марксистского толка. Их армией — "солдатами революции" — стало откровенное быдло, уголовники и подонки, все те, "кто был никем". Само по себе "революционное действие" заключалось в основном в изгнании и уничтожении просвещенного слоя нации. После становления режима это революционное быдло решило реализовать свой лозунг и "стать всем", добив и собственных вождей, поскольку те, в известной мере, тоже были носителями "буржуазной культуры". Так установилось царство быдла — неограниченный тоталитаризм. Механизм "чистки" работал безотказно: никакие "революционные заслуги" не спасали, если жертва была из "бывших". То же происходило и в сфере "духа", где быдло партийное натравливало быдло "творческое" (из всяких РАППов и АХХРов) на уничтожение всех, хотя бы и весьма "революционных" (лефовских, новолефовских и прочих) их коллег.

Так в течение четырех десятков лет правящее быдло старательно "вычищало" вокруг себя все, пока в "середине пятидесятых годов" (момент, неоднократно поминаемый Куняевым) не спохватилось, что "бывших" вроде бы за давностью лет быть больше не должно и машину чистки можно выключить ради собственного спокойствия.

С этого момента ситуация стала стабильной. И в этой стабильности стало возможным разглядеть возникновение "нового класса". Этот новый класс — это его, правящего быдла, дети, выросшие на добротных продуктах из закрытых распределителей, воспитанные на застольных разговорах, а не на официальной пропаганде, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры, получившие синекуры под партийными крылышками своих отцов.

Впрочем, джиласовский термин "новый класс" не совсем им подходит. В воистину бесклассовом советском обществе их куда точнее обозначить термином "новая аристократия". Они весьма ему соответствуют — по всем статьям. Они безусловно сторонники и защитники существующего режима, ибо они дети его и прекрасно понимают, что, не будь революции и последующей "чист-

ки”, никогда бы им не занять своего завидного положения. Они отчетливо понимают, что живут в бедной стране и потому как должное принимают материальные привилегии закрытых распределителей (ну, не распределить же в самом деле один итальянский плащ на 250 миллионов кусочков ради всеобщего равенства!) Но при всем этом они выгодно отличаются от своих отцов — последних, престарелых монстров правящего быдла. Если те свято верят в недопустимость всякого инакомыслия, то новые аристократы убеждены, что инакомыслие вредит только простому народу — но не им. В своих домашних библиотеках, рядом с “Плейбоем” и книгами Ксаверии Холландер, они хранят и Бердяева, и “Грани”, и “Континент”. Они устраивают “междусобойчики” с неофициальными философами и бардами. Они вводят новую практику — покупки Самиздата (неведомую прежде диссидентствующему плебсу), чем дают поистине аристократическую возможность существования неподцензурным поэтам и писателям. Они покупают картины художников — “формалистов” и даже добиваются для них в столицах полуофициального статуса “графиков”. Они убедили отцов не сажать неприемлемых для режима авторов, а переправлять в заграницы, желательно вместе с архивами, — чтоб могли и печатать, и гонорар получать. Им по большей части чужд животный антисемитизм отцов (происходящий у тех просто от жлобского комплекса неполноценности), но их весьма и весьма волнуют вполне аристократические проблемы национально-практического характера. Их уже не удовлетворяет только национальная хоккейная команда, — им хотелось бы видеть и национальную сборную по шахматам, по музыке, по литературе, по нейрохирургии, по математике и физике. Новая аристократия ищет традиции и корни, — ведь аристократии положено быть хранительницей национальных традиций. А отыскать их сквозь полувековую толщу поголовного беспамятства, лжи, страха и пьяни — непросто. И этим поискам нельзя отказать в определенном благородстве...

В статье Куняева есть много недостатков. Как статья литературоведческая она очень слаба, полна стилистических пошлостей и литературных недостоверностей. Но она очень характерна и интересна как мировоззренческий манифест, она ценна и бесспорно положительна с точки зрения метода поиска, оценки и переоценки путей развития национальной литературы.

В статье этой есть странный, на первый взгляд, момент — уди-

вительное применение Куняевым термина “сионистский” к эмоциям Э. Багрицкого. Оно заставляет теряться в догадках: что Куняев имеет в виду? Что он сказать хочет? Какое отношение к сионистам все это имеет?

Можно, конечно, возводить сложные эмоционально-ассоциативные построения, но не проще ли тут дело? Нельзя ли объяснить это близостью автора к официально-аристократическим кругам, зараженным рефлексией официозной пропаганды? Помните, как 30 лет назад, когда надо было сказать (а нельзя же все-таки) “жидовский” (“еврейский” можно было, но не выражало всей суммы эмоций), говорили — “космополитический”. И термин этот не имел тогда никакого отношения ни к паспорту Дэвиса, ни к той, реально существующей категории людей, что именуют себя “гражданами мира”. Так же и термин “сионистский” в сегодняшнем советском употреблении никакого отношения ни к Израилю, ни к сионизму, ни к Багрицкому не имеет. Впрочем, в конце статьи и сам Куняев со свойственной ему откровенностью признает, что термин этот не имеет “ничего общего с нынешним практическим сионизмом”.

Не о сионизме Багрицкого его заботы. Основной, программный тезис его выступления — в другом: “Результаты великой революции становятся явными через десятилетия”. Да, сегодня стало явно, для кого делалась революция и кому сегодня принадлежит Россия. Им, новой аристократии, принадлежит. И это их, “партийная (!) точка зрения на великие вехи (...) литературы углубляется, объективизируется, становится все более масштабной и точной”. И с этой точки зрения теперь становится случайным и ненужным камнем преткновения на “пути, оставшемся за плечами”, наивный интернационалистский пафос восторженного еврея Эдуарда Багрицкого. Куняев даже делает в его сторону аристократический реверанс: “Тот, кто будет разбираться в сплетении движущих сил, идей и взглядов того времени, должен быть благодарен ему за художественную силу, искренность и точность формулировок”. Сам Куняев не намерен особо разбираться в “Сплетении”, его задача скромнее: отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, “заместив” вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным. И в этом с ним нельзя не согласиться.

Разбираться же в “сплетении” жидовских (“сионистских”) “движущих сил, идей и взглядов того времени” — не Куняева, а наша задача.

Страна Багрицкого и Софронова "... — роняет М. Хейфец. Но такой страны нет и никогда не было. Было еврейское очарование идеей, были еврейские иллюзии, что это "их" страна, были иллюзии Багрицкого, что это его страна. Но страны такой — не было.

Первый призыв "очарованных странников" еврейского происхождения отразился пристальным взглядом ЧК. Те, чье "очарование" не совпадало с большевистским, протрезвели в 20-х, те, чье совпадало, — в 30-х годах. Но к этому времени поспел новый еврейский призыв: дети деклассированных еврейских мелких буржуа успели закончить полуразвалившиеся технологические институты и столичные университеты и стать "командирами" в буднях "великих строек". И им, вкалывавшим по 16 часов в сутки, неделями и месяцами не вылезавшим из котлованов, болот, пустыни и тайги, получавшим ордена из рук "всесоюзного старосты" и восторженно встречавшим Папанина и Чкалова, им тоже показалось, что это "их" страна.

И тут мне хотелось бы отметить одну существенную деталь, имеющую прямое отношение к корням русских "еврейских очарований". Есть некая душевная черта, в равной мере присущая и евреям, и русским, черта, почти ненаблюдаемая у европейских, прошедших школу индивидуализма народов. Я бы сказал ее "неэмансипированностью личности от общества", или, проще говоря, — тягой к кагалу, к причастности и сопричастности. Потребностью ощущать себя частью "чего-то" — "земли", общины, нации или страны, но при этом непременно "избранной", лучшей, "самой".

Следует ли удивляться, что эта еврейская тяга к сопричастности в тех условиях толкала еврея ощутить себя на 100% советским, раствориться в "веселом гомоне" построения "первого в мире...". А ведь в мире наступал нацизм и шел тотальный еврейский погром, и сопричастность к советскому становилась единственной видимой альтернативой этому погрому...

Отрезвление и тут не замедлило прийти. Пакт с Гитлером разрушил иллюзии; начавшаяся война как будто на время их реанимировала, но поднимавшаяся с приходом гитлеровцев волна низового антисемитизма, сменившаяся после войны волной антисемитизма административного, нанесла иллюзиям окончательный, смертельный удар. И второй призыв "очарованных" евреев проглотил горькую пилюлю положенных ему по истории разочарований — и смолк, превратившись в "евреев молчания". Молчание это было тотальным — рот открывался только для глотания нитроглице-

рина. А разочарование было таким свежим и болезненным, что даже детям не было сил и мужества поведать о нем.

А дети? Дети шли по стопам своим молчавших отцов, кончали институты и читали Багрицкого и Достоевского, Уткина и Голя. Кончали аспирантуры и слушали "Свободу" и "Голос Израиля". И от года к году в них росла... Впрочем — стоп! Чувствую необходимость уточнений: у подавляющего большинства доминирующим желанием продолжало оставаться все то же — аспирантуры, карьеры и тому подобное. Лишь у меньшинства, обладающего более сентиментальным, что ли, складом души, от года к году росло желание разорвать свою **вынужденную сопричастность**. А поскольку этот сентиментальный строй сопричастности все же требовал, то душа избирала сопричастность к единственно возможной альтернативе — Израилю. Так, в 1970 году произошла "еврейская революция в СССР". И я подозреваю, что счастливым (относительно) исходом этой затеи мы в известной мере обязаны той самой "новой русской аристократии". Именно к этому времени она достигла, так сказать, половой зрелости и стала участвовать в выпивонах своих отцов, получив возможность, промежду рюмашек, оказать некоторое влияние и на их директивы. А увидев возможность столь простым (а при случае и неплохо оплачиваемым Америкой) способом открыть дорогу национальным кадрам, как было ею не воспользоваться? В России действительно выросла уже своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пardon — "сионистском") обслуживающем персонале. Катись! Игра окончена!

Окончена игра в лояльность. Легализация выезда позволила власти не признавать еврея лояльным режиму (не признавать лояльным — еще не значит, однако, признавать нелояльным, то есть сажать). Но это значит — не "продвигать по службе", не брать на определенные работы, не принимать на некоторые факультеты и т. п.)

И для еврейского большинства России наступила сумрачная эпоха заката. Оно, большинство, вовсе не хотело этого, оно хотело продолжать свои, казавшиеся такими надежными, "игры", оно проклинает сионистов, нарушивших статус-кво, но — делать нечего, и, воспользовавшись той же "сионистской" дверью, оно с тоской покидает такую привычную, такую притерпевшуюся Россию, где ни у них, ни у их детей нет больше будущего...

Заканчивается эпоха "советского" галута — короткая, но плотно наполненная и великими очарованиями, и страшными разочарованиями.

Что же мы, "внуки" и наследники этого жестокого эксперимента, мы, пробившие головой скорлупу и вылупившиеся здесь, в Израиле, — что можем мы сказать об отцах наших и дедах? Что не дали нам "еврейского воспитания"? А разве опыт путей их, их жизней, впитанный нами, пройденный — хоть и детскими шажками, но каждым из нас, от детских грез до зрелой озверелости, — это не еврейское воспитание? Ведь само наше ощущение **еврейства** в очень большой степени сложилось, как итог их (и наших собственных) неудач, катастроф, отчаяния. Так давайте же ценить это прошлое: этот еврейский багаж нам еще очень пригодится в предстоящем нам очень нелегком будущем.

И, скатываясь порой до резких суждений, давайте помнить, что в глазах четырех пятых нашего народа мы — живущие в Израиле — до отчаяния наивные романтики. Нам ли кидать камнями в разбитые черепа романтиков прошлого?!

Книготорарищество "Москва—Иерусалим"

выпускает в первом квартале 1981 г.

НОВУЮ КНИГУ:

ИГОРЬ ГАРИК. "ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО" (СБОРНИК ВТОРОЙ) — до упаду смешные, до слез язвительные и горькие четверостишия, в России уже ставшие фольклором, цитатой, неизменным спутником дружеского застолья. Кто из русских евреев (и не только евреев) не улыбнется понимающе, читая: "Царь-колокол не звонит, поломатый, царь-пушка не стреляет, мать ети, — и ясно, что евреи виноваты: осталось только летопись найти"?! В сборнике, иллюстрированном веселыми фотографиями, — свыше 150 новых жемчужин находящегося сейчас в советской ссылке автора.

Цена 6 долларов.

Книготорарищество предлагает также книгу **ИГОРЬ ГАРИК. "ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО" (СБОРНИК ПЕРВЫЙ)**. При заказе обоих сборников вместе цена 10 долларов.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.

В 1979 году франкфуртский журнал "Грани" напечатал сокращенный отчет о дискуссии на тему "Классика и мы", состоявшейся в Москве, в писательском клубе 21 декабря 1977 г. (Забавное, но и многозначительное совпадение: дело происходило в 98-ю годовщину со дня рождения Сталина.)

Русские националисты дали бой космополитам. Судя по отчету, космополитов в зале было намного больше, и резкость некоторых выступлений возмутила публику. Но националисты высказали то, что хотели, и высказали достаточно определенно. Мне, еврею и националисту, интересно читать эти странички "Граней". Мне интересна позиция националистов, во всяком случае тех из них, которые не относятся к категории "философов на жалованье" (эту неумирающую категорию открыл и описал еще Лукиан), мне столь же интересна и позиция космополитов, то есть, говоря попросту, евреев по рождению, либералов и универсалистов по убеждениям, советских по национальной принадлежности (ибо я глубоко уверен, что советская нация существует, и отнюдь не склонен вкладывать в понятие "советский" только лишь мрак и пакость — в отличие от подавляющего большинства моих бывших соотечественников, ныне

Шимон Маркиш

**ЕЩЕ РАЗ
О НЕНАВИСТИ
К САМОМУ СЕБЕ**

обретающихся в эмиграции). Среди первых был поэт Станислав Куняев, "1932 года рождения, рус. сов. поэт. Чл. Коммунистич. партии с 1960. Окончил филологич. ф-т МГУ (1957)", как сообщает нам третий том "Краткой литературной энциклопедии", вышедший в 1966 г. Куняев, стало быть, мой ровесник, учился в том же университете (но только после меня), мы были в одном и том же московском отделении Союза писателей (хотя и в разных секциях). Правда, мы никогда не встречались, но мой близкий друг, человек удивительной, редкостной честности и чистоты, хорошо знал Куняева, дружил с ним и всегда говорил о нем одно хорошее. Все возможно, конечно; возможно, что Куняев переменялся, получил жалованье (если остаться при лукиановской категории), но вроде бы карьеры он не сделал, в начальники не пробился и не прополз. Значит, к его словам можно относиться серьезно: это не вызубренные зады казенной азбуки (как, скажем, у сталинских соколов от критики и литературоведения времен нашей с Куняевым юности) и не лозунги, окупающиеся и оплачиваемые без промедления (как у хитрейшего ловкача Ильи Глазунова). Да и слова-то до крайности любопытны по самой сути: классик советской литературы Эдуард Багрицкий сбрасывается с парохода современности за ненависть к чужому (русскому) и собственному (еврейскому) народу.

И вот теперь передо мной лежит статья Станислава Куняева "Легенда и время". В свет она не вышла, ушла в самиздат и в виде самиздатовской бледной копии дошла до Израиля. Даты нет; статья ли предшествовала выступлению, выступление ли статье — неизвестно, но тема та же — Багрицкий. И интерес тот же, даже больше: аргументация развернута, мысли сформулированы четко и резко — не то что в сокращенном отчете. Благодаря журналу "22"* сочинение Куняева из перепечатанного слова становится словом печатным. Не знаю, будет ли автор благодарен за это журналу, но это уж его забота, не наша.

Наше дело и наша забота — попробовать разобраться в тех чувствах и соображениях, которые вызывает статья Станислава Куняева. Я хотел бы с самого начала оговориться: речь не идет об ответе, споре, возражениях. Спорить можно с врагом или единомышленником, Куняев мне — никто, чужой человек. В статьях 20-х годов, печатавшихся в парижском "Рассвете", Жаботинский

* "22", № 14, 1980 г.

несколько раз (по разным поводам) замечал: Россия — чужая страна, наш интерес к ней — отстраненный, прохладный, хотя и сочувственный, ее тревоги, огорчения и радости — не наши, так же как наши — не ее. Именно так отношусь к русским (в том числе куняевским) тревогам и я. Соглашаться или спорить с Куняевым могут русские, в их числе, понятно, все, кто **считает себя русским**, независимо от “пятого пункта”, раввинского свидетельства или негодования блюстителей чистоты русской крови; я могу только комментировать.

Начну с того, что не очень хочется комментировать, — с банальностей, не вызывающих у неподцензурного человека ни возмущения, ни сочувствия. Например: национальные традиции драгоценны, их надо хранить. Или: мещанство оболгано тупицами-леваками, мещанин, “человек предместья” — хранитель жизни не только физической, но и нравственной. Или: коммунистическая мораль в ее подлинном, не подслащенном в посттоталитарную пору виде есть отрицание какой бы то ни было морали (благо — это если я украл корову у соседа, зло — если сосед у меня). Или пинок, хотя и очень осторожный, Павлику Морозову, поставленному, не совсем справедливо, в одну строку со “Смертью пионерки” (которую я, впрочем, никак не защищаю: поэма достаточно неприятная, чтобы не выразиться грубее). Все это доступно уже и советским писателю с читателем, хотя бы в так называемой деревенской прозе, и не это загнало статью Куняева в самиздат.

Не очень хочется говорить и об антисемитских общих местах — именно потому, что они общие места, все те же банальности. “...Стремление выкорчевать всю прошлую жизнь с корнями может идти только от человека, который не сажал эту смородину,.. которому не нужно на этой земле ничего, что напоминает о его не бесславной истории...”. Знаем: евреи лишены корней и почвы, принципиальные перекаати-поле, разрушители всякой подлинной культуры. “Так и хочется спросить — а продукты откуда? Да, наверно, оттуда же, откуда они у комиссара из “Думы про Опанаса” Иосифа Когана, который ужинает в хате “житняком и медом”, отобранном у мужиков...”. И это знаем, читали; помним шедевр антикосмополитской поэзии, завершавшийся афористическим откровением: “А сало русское едят”.

Не слишком оригинальны и литературные подковырки антисемитского свойства. Глухота одесской школы к “вопросам совести, всегда лежавшим в основе русской литературной тради-

ции". Принципиальная чуждость евреев и полукровок русской изящной словесности, независимо от степени их ассимилированности, ухода от еврейства, несвязанности с ним; русская культура навсегда чужая для них: "Путь музейного сохранения чужой культуры в то время казался единственно возможным для самых разных умов от Гершензона до Ходасевича". Забавно, что особенно раздражает расиста-коммуниста наглый полукровка Ходасевич; единственное подобие извинения ему находится в том, что он, как представляется Куняеву, отказывается от матери-жидовки в пользу русской крестьянки, вскормившей его. Жаль только, что Куняеву не достаёт храбрости назвать вещи своими именами. Впрочем, и свободные, западные русские в этом деликатном пункте храбростью не блещут, как прекрасно показала Майя Каганская в статье о полемике между Парамоновым и Яновым в двенадцатом номере журнала "22": хоть и в Париже, хоть и в "Континенте", а все ж боязно Парамонову. Говорю "жаль" без малейших потуг на иронию. Я предпочитаю иметь дело с врагами. Думаю, что и тем, кто остался в Советском Союзе, полезнее прислушиваться к недвусмысленным угрозам, чем к уклончивым обещаниям: меньше иллюзий, меньше самообмана и разочарований поменьше. "Мандельштам — жидовский нарыв на чистом теле тютчевской поэзии", — эти слова приписываются Петру Палиевскому, нынешнему заместителю директора Института мировой литературы в Москве (его выступление открывало дискуссию, о которой говорилось в начале). Эта отчаянная ненависть, по моему, менее оскорбительна для Мандельштама, чем снисходительное похлопывание по плечу, которого удостаивает его Куняев.

Есть в статье вещи, которые, вероятно, привлекут внимание всякого, кто следит за советской литературой и советской жизнью в целом. Я не стану заниматься перечислениями, все по той же причине: никому не возбраняется заниматься русскими делами, но никому не возбраняется и не заниматься ими по преимуществу, даже если человек родился в СССР и родной язык его русский, и немало "корней и нитей" связывало его в свое время с русской "почвой", столь ревниво оберегаемой целой радугой хранителей ее чистоты. Мне все равно, помнят меня там или не помнят, читают или не читают, сохранилось мое имя в библиотечных каталогах или нет. Не только Палиевский с Куняевым, но и Парамонов с княгиней Шаховской (недавно известившей читателей парижской "Русской мысли", что, если память ей не изме-

няет, русские погромы к человеческим жертвам никогда не приводили) могут быть спокойны: с моей стороны благородной русской словесности больше ничто не угрожает, я больше никогда не оскверню ее — ни на советских, ни на эмигрантских страницах — своими жидовскими переводами или, еще того страшнее, собственной писаниной. Поэтому из всех вопросов, затронутых Станиславом Куняевым, я выбираю один, касающийся меня непосредственно, а именно: отвращение Багрицкого к народу, к которому он принадлежал по рождению, демонстративный, крикливый и скандальный отказ его от еврейского наследия.

Ненависть еврея к самому себе рассматривалась философами и публицистами много раз и в различных аспектах. Я назову лишь два имени — Теодор Лессинг и Робер Мизрахи. Теодор Лессинг (1872–1933) в годы своего студенчества vykрестился, а после Первой мировой войны вернулся к еврейскому самосознанию в его светском, сионистском варианте. Он покинул Германию еще до прихода Гитлера к власти — бежал от политических врагов, прежде всего — от антисемитов, которые, однако, не оставили его в покое и в изгнании: он был убит в Марианских Лазнях (Чехословакия) нацистами, специально для этого посланными. За три года до смерти он напечатал книгу *“Judischer Selbsthass”*, в которой, мне кажется, первым попытался установить причины и формы этой ненависти, а также дал шесть портретов “самоненавистников”, в том числе — портрет Отто Вейнингера, автора знаменитой в свое время книги *“Пол и характер”*, уничтожившего в себе ненавистное еврейское начало самым радикальным способом — посредством самоубийства. По Лессингу, ненависть еврея к еврейству есть в первую очередь приятие и проявление комплекса вины, вколачиваемого в нас на протяжении всей нашей истории, а в новейшее время — еще и реакция на невозможность ассимиляции. Робер Мизрахи — современный французский историк философии; главная сфера его интересов — культура еврейства и пути ее развития. В ранней (1963 г.) работе с трудно переводимым названием *“La condition reflexive de l’homme”* (“Еврейская ситуация отражения”; смысл: сознание и соответственно поведение еврея не автономно, не первично, но отражает ситуацию окружающего большинства) он посвящает несколько глав евреям-антисемитам. Мизрахи пишет: “Еврей-антисемит — это человек, который принимает всерьез антисемитскую критику, но не имеет ни силы, ни подлинной возможности объявить во

всеуслышание об этой своей вере в изначальную злокозненность и испорченность евреев, поскольку для этого пришлось бы осудить самого себя... Еврейский антисемитизм есть просто-напросто ослабленная копия и... отражение антисемитизма нееврейского,... сдвоенный психоз, в котором нееврей рождает фантастический образ еврея, а еврей принимает этот традиционный образ на свой счет, повторяет и "отражает" его... Но если христианский антисемитизм есть ненависть к **Другому**, то еврейский — отраженный — ненависть к самому себе. И в то время как первый принимает себя именно за то, чем он на самом деле является, второй не признает в себе того, что он есть, а именно — жажды смерти, но объявляет себя жадой жизни..." Источником еврейского антисемитизма Мизрахи считает "стремление отождествиться с большинством, стремление настолько решительное, что оно доходит до обращения к антисемитизму как к образцу и модели; по сути своей оно является страхом остаться — непоправимо и безнадежно! — евреем среди евреев..." И действительно, все старания еврейского антисемита безнадежны: в глазах подлинного антисемита он "виновен вдвойне — тем, что он еврей, и тем, что он предатель евреев. В первом случае он виновен метафизически, в силу самого своего существования, во втором же — в силу своего поведения: он становится достоин наказания или презрения эмпирически".

За всем тем, как бы много и как бы верно ни было написано на интересующую нас тему, будь то общие рассуждения или анализ конкретных случаев, все написанное приложимо **полностью** — и это вполне естественно — лишь к тому материалу, на котором оно строится. Даже нападки отступников (апостатов, мешумедов) невозможно, по-моему, свести к одному психологическому шаблону, к одной схеме. Едва ли можно поставить рядом ученнейшего и умнейшего Паоло де Санта-Мариа (до крещения — Шломо Леви из Бургоса), бывшего раввина, ставшего архиепископом Картагенским (XIV век); грязную скотину, вора и стопроцентного невежду Иоганна ("в девичестве" Йосефа) Пфэфферкорна, чье имя сохранилось в истории европейской культуры благодаря "делу Рейхлина" (христианский гебраист и каббалист Иоганн Рейхлин выступил против Пфэфферкорна, чем навлек на себя гнев и гонения церкви) и "Письмам темных людей"; и уроженца Минской губернии Якова Александровича Брафмана, который и после крещения состоял в тесной и душевной дружбе с одним из первых наших русскоязычных писателей Львом Осиповичем

Левандой, а в 1869 году напечатал в Вильне “Книгу Кагала” — своего рода “Протоколы Сионских мудрецов” прошлого века. Корысть, честолюбие, жажда мести, а с другой стороны — бескорыстная жажда истины, ревность прозелита, глубокая и искренняя вера вступали всякий раз в иные сочетания в зависимости от страны и эпохи, от характера и личных обстоятельств.

Так же вот и наши “самоненавистники”, российские евреи от дореволюционных до нынешних, самых близких к нам дней.

То, что их объединяет, — это, мне кажется, в первую очередь, темный, мистический страх, ужас перед чужим и непонятным, которое почему-то навязывает себя в качестве своего, родного. Такое чувство очень типично для **второго** поколения эмансипирующегося (или, если угодно, ассимилирующегося) еврейства, для детей, которые — **впервые** в своем роду — выросли вне атмосферы гетто (местечка, черты - назовите это, как хотите), не знали ни идиш, ни меламеда, ни субботнего покоя, ни пятничной бани, ни тысячи других, важных и маловажных, но всегда органичных, функциональных деталей еврейского бытия. Бытие это появлялось перед ними чаще всего в виде дедов и бабок (иногда других родичей), приезжавших откуда-то извне, из мрака “хаоса иудейского”, по знаменитому слову Осипа Мандельштама. Куняев великодушно полупрощает Мандельштаму его происхождение. Обвинять, избобличать и прощать — не наше дело, но совершенно необходимо отдавать себе отчет в том, что мандельштамовское отвращение к еврейству ничуть не менее интенсивно, чем у Багрицкого. Напомню только одну фразу из “Шума времени” — о 6-й симфонии Чайковского, исполняемой “на земле иудейской”, в Дуббельне (Дубултах, на Рижском взморье): “Как убедительно звучали эти размягченные итальянским безвольем, но все же русские скрипичные голоса в грязной еврейской клоаке!” Прочтите или перечтите эту главку, “Хаос иудейский”, из “Шума времени”. Слова иные, но суть та же, что в “Происхождении” Багрицкого, хотя и на уровне лексики “грязная еврейская клоака”, пожалуй, не уступает формуле “совершенно физиологической злобы по отношению к своим близким” (“Любовь? Но съеденные вшами косы...” и т. д.), которая “удручила” Куняева. К тому же “Происхождение” — какие-никакие, а стихи, поэзия, с присущей поэзии “лицентиа поэтика”, правом на поэтическую вольность, а у Мандельштама — проза, да еще и автобиографическая. В стихах, однако, Осип Мандельштам, великий (в отличие от Багрицкого)

поэт, оставил нам формулу, возможно, и не удручающую Куняева, но не менее однозначную, чем “Уйти? Уйду! Тем лучше! Наплевать!”:

“Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны”.

Эти строки написаны за одиннадцать лет до “Шума времени” и за шестнадцать до шумных и жовиальных проклятий “Происхождения”.

Меньше всего, я думаю, мы вправе обижаться и удручаться. Тот, кто уходит, даже хлопая дверью, — счастливого ему пути, насильно мил не будешь. Худо только, если, уйдя, лгут и клеветают, — как отступники в прошлом, как какой-нибудь Севела сегодня. И уж совсем глупо обижаться на поэтов, великих и не очень. Так же, как здравомыслящий русский человек не может и не должен обижаться на Владимира Печерина даже за такие отчаянные стихи:

“Как сладостно отчизну ненавидеть, —
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную денницу возрожденья”.

К сожалению, немало русских людей обижаются не только на Печерина, но даже на Салтыкова-Щедрина. И мы — в своих обидах — слишком часто слишком чувствительны, непомерно требовательны.

Но минимум того, чем мы обязаны самим себе, — это знать “кто есть кто”. И не из праздного любопытства, но — если воспользоваться словами Писания — “чтобы отличать” (Левит, 11:47). Отличать своих от чужих и отчуждившихся, ушедших бесповоротно и безвозвратно.

Мне представляется, что с этой точки зрения все выглядит не совсем так, как видится Куняеву.

Ненависть к самому себе в прямом и подлинном смысле всегда активна; она ведет к борьбе с еврейством, как, например, у еврейских леваков, обнимающихся с палестинскими террористами, или — в крайних своих проявлениях — к самоубийству. Что ненавистно как Багрицкому, так и Мандельштаму? Не еврейское бытие (его они просто не знают), а еврейский быт. И далее: ненавистно когда и как? В детстве, в отрочестве, как краткий пароксизм отвращения или яростный бунт, принимающий форму скандала. Потом ребенок и подросток взрослеют, и их реакции

на еврейство как в бытовом, так и в бытийном варианте расходятся: Мандельштам отворачивается и удаляется, Багрицкий остается.

Удалившийся рассеянно оглядывается иногда, что-то смутно напоминает, настолько, впрочем, смутно, что путает если и не правое с левым, то белое с желтым: знаменитая черно-желтая цветовая гамма "хаоса иудейского" ("Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накиннул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова...") истоком имеет мандельштамовскую поэтику, или культурологию, "или еще что-нибудь", говоря словами самого поэта, но только не еврейский таллит. Скорее, наоборот: "желтый сумрак" иудейства — отражение "желтизны правительственных зданий", и связывать его нужно со строфой из еще более знаменитого (и по праву!) стихотворения 1930 года:

"Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток".

Еврейские, а точнее библейские или даже библейско-евангельские мотивы у Мандельштама скудны количественно, случайны, они не "дышат почвой и судьбой". Совсем не то у Багрицкого.

В самом "Происхождении" проходит рефреном "еврейское неверие мое", да еще в контекстах, провокационно противопоставляемых и не менее провокационно прижатых один к другому (их разделяют всего шесть строк) :

"— Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие мое?"

и

"...Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие мое?"

Еврейское неверие, еврейский скепсис и еврейская въедливость — суть явления одного порядка и все вместе противостоят как пламенной ненависти к самому себе, так и ледяному безразличию. Еврейский скепсис подвергает сомнению и устойчивость привычного (и яростно отвергаемого!) мира, и его способность к переменам, особенно — к лучшему. Это тот самый скепсис, который всего совершеннее выразил себя в Гейне.

Теперь посмотрим, что именно из наследия отвергает бунтующий наследник. Если освободить тирады "Происхождения" от романтических излишеств, от риторики и восклицательных знаков, останется удушающая местечковая затхлость, прибитость,

покорность — вот что отвергает Багрицкий. Но это же самое отвергали, против этого бунтовали и сионисты, и бундовцы. Да и Шолом-Алейхем, на которого сдуру ссылается Куняев, никогда не умилялся убожеством и кривобокостью местечка.

Восхищаясь собственным прошлым и поклоняясь ему точно иконе, неопочвенники в России и консерваторы всех цветов и оттенков в эмиграции полагают, видимо, что и прочие народы Российской империи обязаны следовать их примеру. Один приятель говорил мне: “А все-таки согласись, не так уж плохо вам жилось до революции: вы могли молиться сколько угодно и как угодно”. Вероятно, это и верно, — если принять за истину, что Возрождение было роковой ошибкой Европы и началом всеобщей порчи. Но идеи контрреформации, неожиданно ожившие в историософии Солженицына, не очень характерны для еврейской мысли нового и новейшего времени.

Бунтарство “Происхождения”, его ярость (романтически раздутая и потому не совсем убедительная), его грубость (опять-таки преувеличенная и оттого не совсем искренняя) никак, по моему разумению, не суть симптомы ненависти к своему народу и к самому себе. Они с легкостью истолковываются в контексте духовной жизни и духовного развития того поколения, к которому принадлежал Багрицкий. Скажу более: с соблюдением всех необходимых пропорций, *mutatis mutandis*, их можно поставить где-то в конце того ряда, который открывается не сравнимой ни с чем в еврейских литературах XX века поэмой Бялика “Во граде избиения” (известной в русском переводе Жаботинского под названием “Сказание о погроме”).*

Я сказал выше: Багрицкий остается. Это не значит, что он принадлежит еврейской литературе в ее русскоязычном выражении, как, допустим, Айзман, или Бабель, или (в значительной мере) Алексей Иванович Свирский. Но, будучи русским поэтом, он не забывает о своем особом, еврейском прошлом, о своем особом происхождении, от которого с таким пафосом, с пеной на губах отказывался. Я приведу отрывок из стихотворения “Разговор с сыном”, написанном всего через год после “Происхождения”:

* Хочу обратить внимание на одну очень любопытную, как мне кажется, деталь: мир детской фантазии Багрицкого, его мир “навыворот” удивительно напоминает фантазию Шагала — самый оригинальный еврейский вклад в мировое изобразительное искусство. Иначе говоря, связь с еврейством обнаруживается и на уровне того небольшого “положительного”, не агрессивного, что есть в “Происхождении”.

Вспомним о прошлом...

Слегка склоняясь,

В красных рубашках, в чуйках суконных,

Ражие лабазники, утапывая грязь,

На чистом полотенце несут икону...

И матерый купчина с размаху — хлоп

В грязь и жадно протягивает руки,

Обезьяна из чиновников крестит лоб,

Лезут приложиться свирепые старухи.

Пух из перин, как стая голубей...

Улица настезь распахнута... И дикий

Вой над вселенной качается: "Бей!

Праз!" И подвал захлебнулся в крике.

В ту пору, в начале тридцатых, не взывали к "мужественным образам наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова" (И. В. Сталин в речи 7 ноября 1941), в ту пору воспоминания о прошлом означали либо Разина с Пугачевым, либо проклятия самодержавию, помещикам и капиталистам. И все же выбор был достаточно широк; однако среди "мерзостей прошлого" Багрицкий выбирает только одну — еврейский погром. Возможно, это покажется черной неблагодарностью тем, кто считает, что в черте оседлости нам жилось совсем нехудо; мне это кажется вполне естественным. Моя бабушка, да будет благословенна ее память, всегда вспоминала то же самое — и мне напоминала, когда я, бывало, разойдусь, изобличая советскую власть во всех смертных грехах. Вполне естественным (хотя это отнюдь не значит — похвальным) кажется мне и выбор героя в неоконченной поэме "Февраль", с которым поэт отождествляет себя полностью (Ich—Erzählung), и косвенное самоотожествление с комиссаром Коганом в "Думе про Опанаса":

Так пускай и я погибну

У Попова лога,

Той же славною кончиной,

Что Иосиф Коган!..

Меня мало трогают антисемитские упражнения, будь упражняющийся Куняев или кто-либо поважнее. Конечно, надо уметь на них отвечать, хотя, по совести, средневековый миф о гнусной еврейской сперме, угрожающей чистым христианским (в данном случае — славянским) влагилицам и маткам, или фантастиче-

ская концепция “идеального сионизма первых лет революции” (не стыдливый ли вариант гораздо менее “идеального” политического лозунга “революция в России — дело рук иностранцев и инородцев”?) едва ли заслуживают ответа. Чуть перефразируя Бен-Гуриона: важно не то, что говорят антисемиты, а то, как поступаем и как осмысливаем свои поступки мы сами. Участие евреев в революционном движении, гражданской войне и “социалистическом строительстве” было предметом бесконечных споров в еврейских же кругах до войны, понятно, там, где можно было спорить, т. е. за пределами Советского Союза. Тема не отошла в небытие и поныне: кто откликается на солженицынские призывы к раскаянию и самоограничению (не требуя соответствующего раскаяния от рода и потомства тех, кто забивал гвозди в еврейские глазницы), кто просто пользуется случаем и поводом харкнуть в собственные глаза по известным рецептам самоненавистничества. В помощь как тем, так и, в особенности, другим ИМКА-Пресс воспроизвел фототипическим способом сборник “Россия и евреи”, выпущенный в Берлине в 1923 году группой еврейских участников и приверженцев белого движения. Но, сколько мне известно, никто не решается нынче взять под защиту горбоносых и картавых комиссаров: страшно прослыть советчиком, чекистом, Бог знает кем еще.

Страшно и мне. И все-таки скажу без всяких оговорок: поведение еврейских юношей и девушек, уходивших к красным, в тысячу раз понятнее, чем резоны авторов названного выше сборника*. Оно так же понятно, как организация еврейской самообороны против погромщиков, и не в большей мере противоречило нашим национальным интересам, чем эта самооборона. Тот, кто в этом сомневается, пусть сравнит — пользуясь **любыми** источниками, кроме, конечно, слабеющей памяти княгини Шаховской, — число евреев, истребленных новорожденной советской властью, с одной стороны, и всеми ее врагами, в том числе белыми армиями, с другой.** Прежде чем вместе с Куняевым сокрушаться над

* Говоря о еврейских юношах и девушках, я имею в виду **еврейскую массу**”, а не ассимилированных вожаков, вроде Зиновьева или Троцкого, которые решительно отреклись от своего происхождения и слышать о нем не хотели ни при каких обстоятельствах. Впрочем, как мы видели, и Сосо Джугашвили без обиняков записал себя в потомки Александра Невского и Александра Суворова.

** Авторы сборника “Россия и евреи” (и не только они) напоминают о погубленных большевиками еврейских купцах, промышленниках и про-

судьбою Опанаса и отрещиваться от Когана, вспомним-ка, сколько жидивок та жиденят передавил Опанас в хмельничину, перестрелял и порубал в петлюровщину и махновщину, уничтожил современными методами в гитлеровщину, усердно трудясь в зондеркомандах не только на ридной Украине, но чуть ли не повсюду в оккупированной Европе.

Повторяю: я не хвалю Когана — я предпочел бы видеть его не с большевиками, а с сионистами. И не радуюсь бедам Опанаса (как, впрочем, не радовался и Багрицкий) — я предпочел бы видеть его свободным от власти русских вообще и русских большевиков в частности и в особенности. Но я не хочу и не могу, и никто не убедит и не принудит меня, отказаться от своей, еврейской точки зрения, пожертвовать своими, еврейскими интересами ради универсальной идеи — будь то “пролетарский интернационализм”, “великая Россия”, “торжество христианства”, “благо всего человечества” и тому подобное. И если нет другого выбора, кроме как: погромщик-антикоммунист или коммунист, спасающий еврейские жизни, — я (вместе с Багрицким) выбираю второго.

На этом я могу закончить разговор о том, ненавидел ли Багрицкий свой народ. Но я прибавлю еще несколько слов на другую, хотя и близкую тему — о любви к своему народу. Любви этой, привязанности, не говоря уже о сыновней нежности, у него не было начисто. Это не упрек, а огорчение, сожаление.

Не о том я сожалею, что еврейской культуре, еврейской литературе он предпочел русскую. Я могу только повторить: каждый свободен в своем выборе. Но и среди русских писателей, сохранявших, как Багрицкий, связь с еврейством на уровне биографии, иные — пусть походя, мельком — вспоминали не одни лишь уродства и ужасы, но и трогательную, при всем ее убожестве и духоте, теплоту отчего дома. Назову одно имя, не менее советское и не менее русское, чем Багрицкий, — довоенный Василий Гроссман. (Я подчеркиваю “довоенный”, потому что Гроссман “Жизни и судьбы” и “Все течет...” вернулся к истокам, “помешался на еврейской теме”, как пишет Наталия Роскина в своих недавно опубликованных воспоминаниях.) Я имею в виду рассказ “В городе Бердичеве” (1934), где еврейский провинциальный быт времен чих “эксплуататорах”. Напоминание совершенно неправомерное: красный террор брал в заложники и расстреливал не еврея, а “классового врага”. Я совершенно согласен: “классовый враг” — так же гнусно, как “расовый враг”. Но на этом тождество и заканчивается. Гнусность — категория не историческая, не социальная и не функциональная.

гражданской войны выступает как фон, как “задник” для чисто революционного сюжета.

И раз уж произнесено слово “Бердичев”, позволю себе одно злободневное читательское замечание — об одноименной пьесе Фридриха Горенштейна, напечатанной в №№ 50—51 “Время и мы”. После превосходной повести “Искупление”, опубликованной тем же журналом, пьеса произвела на меня удручающее впечатление, прежде всего — провокационной безвкусицей преобладающего стиливого ключа, слогом “рассказов из еврейского быта”, потешавших толпу на российских ярмарках в девяностые и девяностые годы. Скажут, возможно, что я ничего не смыслю в современной прозе, что это новаторский поиск, обнажение приема, остранение, смелый вызов литературным мещанам (вроде меня). По моему крайнему разумению, таким возражениям та же цена, что глубокомысленному выводу рецензента парижской “Русской мысли”, поставившего Горенштейна на одну доску с Бабелем. Но “Бердичев” — это как раз диаметрально противоположность бабелевскому “Закату”, где еврейские (а точнее — южнорусские) интонации и словечки вплетены в текст с необыкновенным тактом и безукоризненным чувством меры. Образующийся сплав так же тверд, однороден и пронзителен, как авторская речь в “Конармии” и “Одесских рассказах”, и не имеет ничего общего с эстетикой уродства и убожества у Горенштейна:

“Товарищ Делева, что ваш муж говорит насчет венгерские события? Все-таки он большой человек... хотя у него нет один глаз” (“Время и мы”, № 50, стр. 83).

“Так он там жил в одной комнате с несколькими гоем. Так ночью, чтобы не выходить на холод, он себе имел бутылочку, и он туда писал” (там же, стр. 87).

И так — в каждой реплике.

Но и просвещенный, просветленный национальным самосознанием и, по-видимому, близкий автору герой, столичный еврей, вещает, как заводная обезьяна:

“Одним из главных признаков всякой несамостоятельности, в том числе и национальной несамостоятельности, является придание чрезмерного веса чужому мнению. Отсюда панический страх перед тем, что о нас подумают в связи с тем или иным событием, что о нас скажут... Отсюда чисто мифологический страх перед детско-обезьяньей кличкой “жид”... Этот страх — результат придания чрезмерного веса чужому мнению... Научиться пренебре-

гать чужим мнением — вот одна из основных национальных задач...” (“Время и мы”, № 51, стр. 72).

Я думаю, что оба стилистических уродства — вульгарно-ярмарочное и советско-гелертерское, в духе “Блокнота агитатора”, — едины по сути: оба идут от нелюбви, от равнодушия к тому, что Василий Гроссман определил как “тело народа” в самых страшных и самых высоких главах “Жизни и судьбы”. Место действия — “предбанник” газовой камеры:

“...Софью Осиповну поразило странное чувство. В обнажении молодых и старых тел: и носатенького худенького мальчика, о котором старуха, покачивая головой, сказала: “Ой, несчастный хусид”, и четырнадцатилетней девочки, на которую даже здесь, любясь, смотрели сотни глаз, в уродстве и немощи вызывавших молитвенную почтительность старух и стариков, в силе волосатых мужских спин, жилистых женских ног и больших грудей обнаружилось скрытое под тряпьем тело народа. Софье Осиповне показалось, что она ощутила это, относящееся не к ней одной, а к народу: “вот я”. Это было голое тело народа, одновременно молодое и старое, живое, растущее, сильное и вянущее, с кудрявой и седой головой, прекрасное и безобразное, сильное и немощное” (Часть вторая, глава 48).

Ничего не поделаешь: оплакивать убитых и ненавидеть убийц (как Багрицкий, как тот же Горенштейн в “Искуплении”) куда проще, чем любить чужих и далеко не всегда симпатичных живых, — будь то гешефт-махеры и энты-двоси на бердичевских Ятках или киевском Подоле, будь то черные кафтаны Бруклина или Бней-Брака, будь то “прямики” на римском рынке Меркато Американо или на базаре в Остии.

И за всем тем нелюбовь и ненависть — совсем разные вещи. Ассимилированные “безлюбые” способны обрести любовь, иные — на пороге газовой камеры, иные — в менее трагических обстоятельствах, как видно на самом близком к нам примере — на советских евреях, и не только уехавших, но и остающихся. Но они же, ассимилированные “безлюбые”, — и резервуар потенциального самоненавистничества. И опять-таки примером могут служить советские евреи как уехавшие, так и остающиеся.

Импульс: хочу выразить впечатление (весьма впечатленное) от пьесы Горенштейна "Бердичев". Контрипульс: остерегаюсь сразу впасть под влиянием эстетического принципа писателя (а есть у него таковой? посмотрим, выясним) в банальность (то есть ложь). То есть прокручиваю мысленно цитату-другую и... и что-то не то, не звучат, вырванные из контекста, хотя пьеса-то как будто на бытовизмах построена, то есть колоритах, да? — а они должны потворствовать ведь цитированию. И опять же, прокручиваю одну-другую идеи — и с ними то же самое.

Кланяюсь тут тяжелой работе критика: ведь вон какая задача перед ним! Выбросили силы природы на сушу гулливерово тело, и начинает критик кружить вокруг пораженным лилипутиком, хочет связать-приручить явление к своим понятиям, забрасывает лилипутские канатики с лилипутскими крючками, авось зацепятся за самую плоть-кровь, а то, глядишь, повезет, и до кости-сути дела доберутся... но нет, возвращаются крючки, в лучшем случае приносят фиговые листки, на которых значит-ся что-нибудь вроде: "А здесь автор ярко выявил жизненную значительность сил добра", "А там сумел убедительно показать несостоятельность сил зла" — или,

Александр Суконик

НА РАССВЕТЕ

переходя к обобщениям: "Да, автор — это художник, обладающий истинным мастерством", "Да, автор — это творец, способный создать свой собственный мир"...

Должен признаться, я не совсем из головы выдумал эти фразы, что-то подобное было где-то когда-то сказано-написано о Горенштейне — как могло бы быть написано о каждом писателе, которого критики почитают настоящим, впрочем. Но тут я решаю махнуть рукой на общие правила и говорю: а что если все наоборот повернуть? Ну да, чтобы избавиться от берущей в окружении пошлости, что если другим ключиком попытаться открыть Горенштейна, взять да и заявить, что как раз применительно к его творчеству н е х а р а к т е р н ы такие, вообще говоря, верные формулы насчет мастерства и "своего мира"? Звучит нарочитым парадоксом, а? — и потому, набрав поглубже воздуха в легкие, ныряю дальше в том же направлении: и не только для горенштейновского творчества, но и вообще вокруг нас, в нашем времени бацлла этого самого "наоборот" витает и... и потому-то так интересно писать о "Бердичеве", что в нем особенно сконцентрировались характерные качества, а если о тех самых крючках вспомнить, то ведь они настолько наголо-голо пьесы соскальзывают, что начинаешь соображать, а не наоборот ли здесь в смысле кости, то есть не кость ли сплошная с н а р у ж и, а мясо и кровь (если существуют таковые) — где-то в середине кости?

Ура, да здравствует образ. Образ-перевертыш особенно уместен, поскольку в том-то и штука, что произведению, описывающему еврейский быт, как-то не хватает (мягко выражаясь) образности, и, право же, неловко за автора, мнется, краснеет честный еврей перед христианским миром за такой вопиющий недостаток (это я свои чувства описываю, а как вы, уважаемый читатель, не знаю), и, чтобы восполнить пробел, спешу объявить образ окостенелости: мол, ощущаю в пьесе окостенелость сюжета, окостенелость повторения одних и тех же выражений и слов, косных, неправильно между собой сросшихся, окостенелость запаха, что должен стоять в комнате, в которой происходит почти все действие, окостенелость отсутствия развития характеров, окостенелость человеческих взаимоотношений, предрассудков, ненависти, невежества и страхов. Окостенелость эта выступает несомненным художественным приемом и должна быть изображена на театральном занавесе то ли обглоданной куриной п у л ь к о й (нож-

кой), то ли выставленным вперед в характерном малоприличном жесте костлявом локте "той еще" Рахили.

Но мы отвлеклись. Пока хватает воздуха, я продолжаю в том же направлении "наоборот" и предлагаю читателю вообще отвлечься от пьесы Горенштейна "Бердичев" и обсудить пьесу Бабеля "Закат".

Почему Бабель решил обратиться к форме пьесы, чего ему недоставало в форме рассказа, с таким блеском использованной при создании "Одесского цикла"? Важно задать вопрос, и ответ приходит как очевидное: хоть в рассказах и пьесе одни и те же герои и мотивы, использованы они как маски для выражения совершенно разных идей и настроений. В одесских рассказах бандиты-биндюжники выступают яркой романтической силой, через них осуществляется идея, которую Бабель сформулировал в "Ди Грассо": "...В иступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира". В "Закате" же таится признание того, что в сочетании слов "иступление благородной страсти" прилагательное "благородной" вовсе не обязательно. Один только выбор другой формы выражения дает возможность писателю освободить-оголить своих героев от авторского комментария-отношения и обнажить непритязательность, грубость, жестокость борьбы необузданных "правилами мира" страстей. Еще поставлен в пьесе под сомнение факт присутствия в этих самых страстях "справедливости и надежды". Примечательно, что нота симпатии в пьесе возникает всегда по отношению к с л а б о й стороне — сначала в монологе Нехамы оплакивается судьба задавленных волей деспота-отца сыновей, а затем, когда отец повержен, к нему — нота трогательной человечности, а в качестве изощренного деспота оборачивается Бенья, тот самый Бенчик, который, действуя совершенно схоже психологически в рассказе "Как это делалось в Одессе", заслуживает там романтическое звание "короля". Прерогатива становится на сторону слабого принадлежит моральным писателям, внеморальный же Бабель нигде, кроме как в "Закате", этого не делал.

Бабель говорил "мало, но смачно", то есть писал с упором на максимальное обобщение, концентрировал образы и ситуации до символа. "Закат" может быть трактован как произведение о разложении еврейской семьи и падении еврейства. То, что действие происходит в среде бандитов, — усугубляет символ. То, что кантор во время службы в синагоге вынимает револьвер и стреляет в

крысу, работает на то же. То, что раввин, якобы мудрый человек, Божий человек, в конце пьесы паясничает, послушно произносит запрограммированную бандитским насилием речь, работает на то же. И самый конец пьесы, в котором пародируется библейский текст и в котором заключены двусмысленность и ирония, работает все на то же. Кроме того, "Закат" можно трактовать как предсказание судьбы радикальной бунтарской субстанции против "безрадостных правил мира" и результат этого бунта: воцарение новых "безрадостных правил", устанавливаемых молодой мафией. Мы знаем, что в этом направлении протекали духовные поиски самого Бабеля, но нигде в своих произведениях он не подошел так близко к осознанию собственной судьбы, как в "Закате", (а заодно судьбы поколения, единственным художественным выразителем которого он оказался). В данном случае я говорю о поколении евреев, радикально порвавших с прошлым и ушедших в революцию. Среди них было несколько так называемых первоклассных поэтов и писателей, но только Бабель был единственным и достоверным, потому что только в нем и через него произошло слияние содержания и формы времени в чистейшем виде, и родилась радуга бабелевского стиля, одним концом упирающаяся в жар варварства и другим — в холод эстетизма: две по самой своей сути вещи, противоположные всякой морально-этической системе отсчета вообще, а иудаизму в частности и особенно. (И потому не нужны оказались никакие наносные тематические построения о классовой борьбе, буржуях и пролетариях, эксплуататорах и эксплуатируемых.)

Но именно потому, что Бабель носил в себе микрокосм революции, и потому, что выражал его в художественной форме рассказа, он должен был вещь, в которой скептически этот микрокосм переосмысливал, создать в иной форме и вот находил эту форму в пьесе.

Ошибочно принято считать примером "упрощения" или чуть ли не отказа от эстетизма у Бабеля рассказ "Нефть": не в словесной орнаментовке заключается эстетизм, но в выражаемом мироощущении. Проспер Мериме (из которого, кстати, Бабель почти весь выходит — вовсе не из нравственного Мопассана) тоже просто писал. Если где Бабель действительно не был эстетом, то это в своих ранних, не слишком удачных рассказах, в которых еще только искал свое лицо, а в "Нефти" — все тот же свежешьющий ключом плотский объективизм и тот же радостный до юмора

взгляд на людей со стороны, без участия: сами разберутся.

Но иное дело — пьеса.

В “Закате” при помощи выбранной формы Бабель как бы спускается на ступеньку ближе (ниже) к реальной жизни. Его персонажи уже не могут только изрекать знаменитые афоризмы, они по ходу действия еще и обыденным языком объясняются. И здесь кроется решающее, качественное отличие: мы, то есть читатель, зритель, приходим с произведением в иное соотношение. Я потому употребил слово “ниже”, что Бабель в его сияющем писательском великолепии, то есть в его “уникальном мастерстве” (помните?) творит в “Одесских рассказах” истинно и законченно “свой собственный мир” (и это помните?). Он ошеломляет, поражает образностью, своеобразностью до такой степени, что даже житель Одессы видит эти рассказы отдельно от себя, осознает как вещь самостоятельного существования, и именно в слове. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из старшего поколения, то есть поколения Бабеля, сказал: “Мендель Крик (или Левка Бык, или Фроим Грач) как две капли воды похож на такого-то и такого-то”, хотя одесская действительность поставляла достаточно яркий жизненный материал. Но наоборот — говорили и будут говорить, сравнивать (пока еще жива Одесса). Совершенство бабелевских рассказов заключается в том, что вы ничего не должны “додумывать”, “подставлять”, напротив, материал, который обрушивается на вас, зафиксирован настолько, что — только успевай, схватывай, и распространяй на жизнь. Недаром, когда хотели похвалить Бабеля, говорили о сказочности его героев и о их масштабности, что значит — о их обобщенной преувеличенности и мифологической остраниности.

Иное дело пьеса. “Закат” уже не так совершенен, как “Одесские рассказы”, — как бы слишком натуралистичен, неуклюж для постановки. Ставить его как серьезную драму? Или делать упор на юмористическую (гротескную) сторону? Видите, в чем штука: форма пьесы сама по себе требует интерпретации, то есть домысливания, и на это давно должны были обратить внимание исследователи творчества Бабеля: через форму, то есть скрыто, писатель шлет нам сигнал о качественном изменении художественного подхода и идейного содержания, поскольку, повторяю, отличительное качество бабелевских рассказов, это их совершенство, завершенность, явность, как вещи в

себе, и демонстрируемый таким образом через них принцип эпически-объективистской отстраненности автора от изображаемого им мира (что совершенно и завершено, не требует участия и соучастия).

Но если вы меняете точку зрения и начинаете подозревать, что мир ни завершен, ни совершенен, то соответственно меняется ваш художественный метод, и Беня Крик, выразитель идеи Главного Героя, тоже перестает быть Завершенным Совершенством. До сих пор (в рассказах) он изрекал великолепные победительные афоризмы, но в пьесе не может скрыться от нас в моменты некрасивой обыденности, когда бьет отца рукояткой револьвера по голове или даже просто разливает в бокалы вино (в сцене сватовства Боярского) и пошло произносит: "Исполнение обоюдных желаний". Фи! Каждый молдавский жлоб, разливая вино, может сказать "исполнение обоюдных желаний!", где тут х о х м а, я вас спрашиваю? Ага, хохмы в "Закате" на градус меньше, чем в одесских рассказах, но одновременно – странным образом – на градус больше человеческой серьезности, и это в результате ослабления совершенства "уникального мастерства", потери в какой-то степени "своего собственного мира".

Вот он парадокс, то самое "наоборот", с которого я начинал статью. Тот пункт, к которому хотел прийти, прежде чем говорить о Горенштейне и его "Бердичеве". Ничего нового здесь нет, ларчик просто раскрывается по той простой причине, что открыт давным-давно. Давным-давно известно соотношение между древнееврейской и древнегреческой словесностями: первая рождала анонимных авторов, растворявшихся в едином стиле библейских книг, а вторая базировалась на авторской самоосознанной индивидуализации. Русская литература в начале двадцатого века начала склоняться к тому, что очень условно назову "эллинизмом", и достигла пика в этом направлении сразу после революции, создав таких гигантов, как Платонов, Бабель или Зощенко. Но не все так безбрежно розово было, поскольку была заплачена цена: культура, достигнув зрелости расцвета, скоропостижно скончалась, разбившись об этот самый 17-й год. Всякая культура в период своего зенита развивает понятие индивидуальности, уникальности человеческой личности – то есть осознание и самоосознание этих качеств, а что есть писатель, с его "уникальным мастерством" и "собственным миром", как не апофеоз этой уникальности?

Вот и достигнуто было на фоне словесности истинное, неви-

данное еще совершенство (перенасыщенность словесным богатством прозы Платонова, например, так велика, что у него уже не произведение "вещь в себе", но отдельная фраза, и оттого читаешь, как перебираешь тяжелые драгоценные четки — и еще глядишь, как бы не рассыпались, порвав нитку-связь) .

Но достигнуто-то достигнуто, а затем и з а к а т наступает, а за ним и ночь... О том, что происходит ночью, трудно судить: тьма всех одной краской мажет. Ночью все кошки серы, и потому наступает долгий перерыв после финального, под занавес, заявления Бен Зхарьи: "Все в порядке, евреи", долгий, на полстолетия перерыв, и... и приходит время появиться "Бердичеву" Горенштейна.

А теперь, уважаемые земляки не только бердичевского, но и вообще всякого происхождения, дамы и господа, сидящие в зале и с некоторым любопытством взирающие, как занавес с изображением квартиры Криков идет вверх и за ним оказывается занавес с куриной костью, я желаю заявить со всей вескостью, что нельзя уже просто говорить о финальной реплике в "Закате", о том, что "Закат" заканчивается там, где поставил последнюю точку Бабель. Потому что там, где кончается "Закат", начинается "Бердичев", а там, где начинается "Бердичев", кончается "Закат".

Но сказав "а", следует произнести "б", как не замедлил бы заметить, например, обстоятельный мосье Боярский из "Заката", а я между тем застываю в смущении и нерешительности. Не то чтобы я засмутился от того, что ставлю "Закат" и "Бердичев" в ряд литературных явлений одного порядка и, даже более специфически, отношу под одну и ту же рубрику художественного приема, который назову "натуралистическим символизмом", — но почему, почему, почему, покончив, казалось бы, с "Закатом" и начиная о "Бердичеве", я вдруг вспыхнул ностальгически, будто спеша заведомо последний лакомый кусочек ухватить, заговорил, имитируя бабелевских, а не горенштейновских персонажей?

Неужели почувствовал нечто иное в структуре пьесы Горенштейна или даже противоположно иное? И что мне не поимитировать, не поподдельваться п о д литературных героев больше? Не ощутить силу искусства, поражающего "своим уникальным миром"?

Хм.

Но и вправду, если Бабель, создавая "Закат", делал шаг вниз к натуралистичности изображения по сравнению с рассказами, то Горенштейн как будто еще шагом ниже ступает. Посмотрите:

настолько он скрупулезно воспроизводит реальность, что персонажи то там, то здесь говорят на идиш. Правда, они тут же переводят сами себя на русский, но это не воспринимается, как аналитический прием самоотстранения, а как типично еврейское повторение-усиление, выработанное и вошедшее в кровь с давних времен (от интенсивности желания быть услышанным, что ли?).

Однако не в этом дело. А в том, что ступень натурализма, на которую ступает Горенштейн, не дает нам возможности отнестись к определенным вещам так, как до сих пор мы привыкли относиться (то есть по сравнению с "Закатом" нам приходится вступить с персонажами "Бердичева" в еще иное отношение). Мы привыкли, например, что коль скоро автор позволяет своему персонажу говорить ломаным русским языком, то за этим стоит образ, — нечто обобщенное, характерное, законченное, отстраненное, ценное эстетически само по себе. Мы привыкли смеяться над ломаным языком и привыкли убеждаться, что язык сломан во имя создания персонажем собственного образного языка, который необходим для выражения собственного образного восприятия мира.

Уважаемые господа и дамы, позвольте сделать замечание из жизни: образ — это уже признак индивидуальности. Ломаный, но образный язык бабелевских героев, (как еврейских, так и украинских), ломаный язык персонажей Платонова и Зощенко свидетельствуют о торжестве в тот момент "исступления страстей" над "безрадостными правилами мира", анархии над порядком, индивидуума над коллективом, личности над безликостью в масштабе массовом. А когда Беня Крик произносит пошлое: "Исполнение обоюдных желаний!" — является нам таким образом предвестие о грядущем новом порядке.

Вот как литература соотносится с жизнью.

У Горенштейна в "Бердичеве" на ломаном русском языке говорят почти все время (скрупулезное описание реальности?), но если кто станет утверждать, что при этом возникает желание смеяться или возникает ощущение образности, то...

Рахиль, персонаж по всем данным наиболее способный к точной и яркой оценке людей и событий, так изъясняется: "Мне нужна эта Былечка... Ходит и дует от себя. А Йойона в шляпе. Если бы не его шляпа, я бы давно уехала из Бердичева..." Или: "Сразу видно, что в молодости эта Верочка была глухая. Мужчины ей говорили садись, она ложилась". Шаблонная стертая речь, повто-

рение расхожих, известных нам пошлых выражений. И не только то, но Рахиль еще перевирает, о с к у ч н я е т эти выражения (в реальной жизни кто-нибудь сказал бы: его шляпа держит меня в Бердичеве). В конце пьесы Виля называет Сумера "бердичевским Вольтером", и вправду, что-то есть такое в Сумере, который все время посмеивается, ощущает, по-видимому, сильно юмористическую, ироническую стороны бытия, — но ни одного запомнившегося словца, замечания, комментария, уже не скажем — образа.

Вот оно, то самое "наоборот", с которого я начинал: кость снаружи, мясо и кровь — внутри. Жизнь, изображенная в "Бердичеве", пожалуй, скучней той, с которой мы сталкивались в реальной жизни. Парадоксальное, вывернутое наоборот взаимоотношение между читателем и миром пьесы: настолько последняя как бы незамкнута (несовершенна?), что хочется зачастую вторгнуться, улучшить, уточнить фразу, выражение, — завершить, острани-

Ах, но не подумайте, что это от обычных "недостатков натурализма", случайности, фотографичности и так далее. Когда Рахиль произносит: "Ничего... Умер, так на здоровье...", — ах, не подумайте, что здесь авторская промашка, нетребовательность к себе, небрежность и так далее, на том основании, что фраза у х у д ш е н н о, ускученно перевирает фразу из анекдота: "Умер-шумер, лишь бы был здоров". Рахиль совершенно машинально употребляет эту фразу, бездумно вытягивая из набора стереотипно вращающихся в быту выражений — и что же, не характерно ли это для нашей манеры вести беседу? Не характерно ли для длительного "послезакатного периода"? (Право, не поворачивается язык произнести четко-очерченное краткое слово "ночь", которым принято обозначать время суток от заката до рассвета: слишком ярко и определенно ассоциируется оно с черными делами под его покровом, с песнями соловья, с луной — ни в стилистику советской жизни, ни в стилистику пьесы "Бердичев" оно не вписывается.) Мы занимаемся периодом жизни, в котором имело место успешное осуществление установления новых "безрадостных правил мира", и таковое оказалось возможно на базе качественно иного, конечно же революционно переосмысленного понимания понятия личности (индивидуальности). И, следовательно, как-то это должно было отразиться на языке. И, следовательно, рано или поздно это должно было быть отраженным — художественно.

“Бердичев” — это не натурализм, это искусство со знаком минус, натурализм, возведенный в символ (в “Закате” же натурализм служил начальным звеном в цепочке: деталь—образ—символ). Совместное языковое утверждение Бабеля—Горенштейна: когда-то, в период “до”, еврейское стремление к осмыслению мира (и себя) выходило наружу полуграмотной яркостью (созданием личностного языка), теперь же хватается-цепляется покорно за расхожие стереотипы. Вот что произошло в ночное время. Утеряна личность, нет языка. Есть личность, как ячейка коллектива, есть коллективный, совместно употребляемый язык.

Но я что-то другое хотел сказать, уважаемый читатель. Чувствую, что хотел сказать что-то свое, оригинальное, поразить воображение, а пришел после всего к банальнейшему, всем известному факту. Кто же не знает насчет ущемления личности в Советском Союзе, насчет отсутствия свободы и так далее? Буквально несколько дней назад сидел я в поликлинической очереди, и рядом дамочка оказалась тоже из эмигранток. Поскольку она по-английский не кумекала, ей придали волонтершу-старушку, и слышали бы вы, как дамочка выдавала насчет свобод, прав личности и прочего! А потом, как волонтерша отошла, вынула она из ридикюльчика книгу и стала читать, а книга была “Далеко от Москвы” Ажаева. (А я, не выдавая себя, заглянул в книгу, проглядел страницу-другую: вот это да!) И тут же я сообразил и сейчас повторяю: ах, какой я молодец, как горжусь собой: ведь я не стану читать “Далеко от Москвы”! Честное слово! Даже в поликлинической очереди! Вот как я продвинулся вперед по сравнению с дамочкой — и этого мало, я вас спрашиваю? Еще оригинальности требовать от Господа Бога, — не слишком ли будет? С другой стороны, то же самое может быть сказано обо всех нас, о писателе Горенштейне, о пьесе “Бердичев” и вообще... С д р у г о й с т о р о н ы, понимаете? То есть иногда все дело в неудачном расположении слов, и — конечно же! — Горенштейн не в с л е д за Бабелем н и ж е ступает в подвал жизни: откуда ему? Наступила же тьма после заката культуры, оказались мы все впотьмах в подвале и стали серы, как кошки ночью, и если Горенштейну есть куда ступить, то только хоть на ступеньку в в е р х, из подвала — в попытке снова отделиться от серой безындивидуальности и безыскусственности!

Если кто помнит начало 9-й симфонии Бетховена, когда с нечеловеческим усилием и мукой рождается музыка, в кулак

собирается из хаотического сочетания звуков (будто оркестр настраивается) — то, да, там наша судьба: нам собираться, слепляться из развеянной по ветру пыли человеческих атомов и молекул (которые в разьединенном состоянии однообразны, взаимозаменяемы, немноги числом, совсем как слова в лексиконе пьесы "Бердичев", — это уж уникальные сочетания из них бесконечно множатся).

И таков же стиль созидания пьесы: деталь к детали, слово к слову, ситуация к ситуации, подобранные друг к другу, выбранные из хаоса жизни. И о том же сама пьеса: о рождении личности (Вили), о шаге на верхах.

По сравнению с тем временем, с писателями того времени, с пьесами писателей того времени здесь действительно все наоборот. Открытость "Бердичева", отсутствие дистанции между миром пьесы и читателем (зрителем) отражает мучительную проблему нашего времени, проблему безиндивидуальности. И в этом — серьезность пьесы, и потому она ощущается почти как коллективное произведение искусства — таким должно быть искусство рабов, выходящих из катакомб. Одновременно здесь заложена проблема творчества: мука на пути обретения индивидуального стиля, создания своего мира (ибо они еще не обреты и не созданы). Я говорил, что Бабель переходит от формы рассказа к форме пьесы, теряя на художественности, но избавляясь от чрезмерной индивидуальности (чрезмерной дистанции между его индивидуальностью и миром людей). Но с Горенштейном происходит как раз наоборот. Горенштейн пишет свою прозу "прекрасным русским языком", до того правильно прекрасным, что хоть ставь штамп ОТК академии языковых наук. Горенштейн пишет свою прозу до того послушно, до того несвободно и, следовательно, неточно "свободным и точным русским языком", что так и чудится, как натянул он фантомасью маску этого языка на свое собственное, пусть и недолицо. И вот, выбирая форму пьесы, он избавляется от необходимости пользоваться языком субъективно, личностно, индивидуально — и всходит на иную ступень точности и свободы. И создает истинную вещь.

Блажен, кто никогда не чувствовал себя марионеткой и кому не снится преследование. Что касается меня, то я часто во сне скачу верхом на зайце, а за мной по пятам — голубые бульдоги из страны Дураков, я — деревянный человечек с Коротенькими Мыслями.

Конечно, коротенькие мысли можно было бы назвать афоризмами, но от этого они не станут длиннее... Кроме того, я чту со школьной скамьи ясность, последовательность и доказательность и не хочу выдавать беду (заячьи скачки преследуемой мысли) за достоинство.

Чтобы не растерять и ту малость, что сложилась-таки в моей голове, я давно уже привык связывать коротенькие мысли в пучки — с помощью рифм.

По Земле, аккуратной, как
глобус,
Кругосветный катился
автобус.

В нем сидели различные люди:
Подсудимые рядом и судьи.
Раздавался в автобусе ропот:
“Не шофер за баранкой, а
робот!

И кондуктор — компьютер,
не баба!
Остановка скорее хотя бы..”

Но несло пассажиров
“Прогресса”
Мимо гор и озер, мимо леса.

М. Молоствов

**РИФМОВАННЫЕ МЫСЛИ
И
ЖИТЕЙСКИЕ КОММЕНТАРИИ**

Кто в тоске беспредметной,
кто в кейфе,

Как бумаги секретные
в сейфе.

Это что? Чепуха или притча?

Ни Вергилия, ни Беатриче.

Как судьба – автострада прямая.

И не надо ни ада, ни рая.

Мысли, собранные в этот пучок, претендуют на глобальность. Но как приходили они в голову? Ходьба по бездорожью и тряска на стареньких автобусах по маршруту вроде “Дно-Рвы” обусловили прямолинейную идеализацию глобальных проблем.

Я живу в церковной сторожке рядом со старым кладбищем. В церкви – по выражению моей дочки – “молят хлеб”. Как всякий сельский житель, принимаю всерьез иерархию природы. Да и как же иначе? Школа, где я сею “разумное, доброе, вечное”, – в двух шагах, а до железной дороги 12 км, леса, болота, под ногами не асфальт, а почва. Шесть месяцев в году без резиновых сапог – ни шагу. Идиллия? Идиотизм? И то и другое в равной мере.

Весна не высказалась вслух,
Вполголоса лепечет дождик,
И новорожденный лопух
Едва похож на подорожник.
Потом как чертыхнется гром,
Как будто грохнули ведром.
Потом польет, как из ведра
Эт цетера, эт цетера.
И распускается лопух,
Как глупость, сказанная вслух.

Аз есмь нигилист, но нигилист в базаровском смысле этого слова. Его не надо путать со смердяковщиной и современным нигилизмом ala Ж.-П. Сартр. Лопух, который вырастет после меня, – реальность, а не слово среди многих слов и тем более не аргумент в пользу аморализма. Истина и ложь, добро и зло различимы каждому при свете солнца и луны; пока я жив, при мне мой разум, мои чувства, моя совесть. Сколько просуществует мое “я” – день, год, бесконечность? Важно не сколько, а как.

Сосна — Ее Высочество,
Луна — Ее Сиятельство.
Просветы — как пророчество
И тени — как предательство.
Мороза электричество.
Влачит подобье божее
На карусель похожая
Земля — Ее Величество.

Иерархия природы... Известный герой Сартра, перевернув камень и увидев его мокрую сторону, почувствовал тошноту. Мне ближе и понятнее любовь к естественной подоплеке бытия, то "Erfurcht vor dem Leben", о которой писал дядя Сартра, врач лезпрозория.

На иле под стеклом воды
Бродячих раковин следы.
Не наступи, когда войдешь,
На створки, острые как нож,
На перламутровый доспех
Бродячих тех, незрячих тех.

Чтоб не сложилось впечатления, будто я "физик", то есть натуралист, а не "лирик", то есть тот, кому не чужды чисто человеческие проблемы, постараюсь впредь вязать пучки на социальные темы. Но нелегко, доложу вам, "воспарять", когда ноги по щиколотку в супеси, суглинке и подзоле... Прошу вас, помогите: вычитайте иронию там, где я, казалось бы, рисую картинки.

На ивах — высохшая тина,
К болотине лесок приник.
— Какая чудная картина! —
Выкрикиваю, как кулик.
Прореагировала чутко
Болотина на комплимент:
Выпархивает в небо утка,
Летающий аплодисмент.
Мои зрочки — моя двустволка,
Даю за хлопаньем во след
Не убивающий, а только
Запоминающий дуплет.

Помнить — значит быть. Желание забыть, забытьСЯ самоубийственно. Что же хранится на дне моей памяти? Какие еще ландшафты?

Учтено все, как в аптеке,
По углам — четыре вышки,
А на вышках — ребятишки,
Узкоглазые чичмеки.
Как патронам в автомате,
Все понятно желтолицым,
Пахнет дымом и зверинцем
В огороженном квадрате.
Вот идет забытый богом
И расправую кулачной
Тонкий, звонкий и прозрачный
“Шевели — земля — рогом”.
Эту божию коровку
Передать не в силах муза:
“Раб Советского Союза”
Во весь лоб татуировка.
Учтено все, как в аптеке.
Митькой звали, Щербаковым.
За щулюмом общаковым
Вспомните о человеке.

Биографический факт. Ни я его не могу забыть, ни мне его не забудут. Что-то вроде памятника при жизни. А за что? Особенно хвастать нечем: одна моя мысль оказалась длиннее, а другая короче установленного тогда стандарта. Вот и познакомился с тем, кого Митькой звали, там, куда Макар телят не гонял.

Мир будто бы вымер.
За все заплатив,
Уйдешь во Владимир,
Как те — в Тель-Авив.
Соборные своды.
Нацелен в висок
Фонарик свободы —
Тюремный глазок.
Широкоэкранно
Расцвеченный им,

Как Фата-Моргана
Иерусалим.
Преклонишь колена
И душу отдашь
За вписанный в стены,
Как фреска, МИРАЖ.

В грустную, должно быть, минуту связал я этот пучок. Где друзья молодости? "Иных уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал". А было время надежд — "оттепель". Гитара Окуджавы звучала, как труба. Евтушенко распахивал душу на эстраде. Мы мыслили ясно, последовательно и доказательно. "А что потом?"

Потом в огороженном квадрате... под лозунгами: "Отсутствие правильных политических убеждений — отсутствие души" (Мао) и "Нет людей неисправимых" (Хрущев) ревизионизм-58 родил инакомыслие-70. Потом... потом многих унес ветер.

Ну, а оставшиеся, те, у кого подошвы приросли к почве, имеют право выбора: или маршрут вроде "Рвы-Дно" или шоссе Энтузиастов. (К сведению непосвященных: так теперь называется Владимирка.)

Кредо.

Поскольку Частный Интерес
Поставить все готов на карту,
Многопартийность Бонапарту —
 Единственный противовес.
Когда Технический Прогресс
В Спасители себе мы прочим,
Не Кибернетика ли Кормчим —
 Единственный противовес?
Когда ты сам попал под Пресс,
В "объятья дружеские" то есть,
Давленью дьявольскому Совесь —
 Единственный противовес!

Кредо, естественно, требует подробного комментария.

Жительствуя во Рвах (станция Дно, где остановился царский поезд, — мой райцентр и исходный пункт рассуждений), я мыслю. Мыслю не только глобально, но и исторически. Первые четыре строчки относятся, следовательно, к тем далеким временам, когда

боевому генералу, а не полицейскому Фуше дано было превратить республику в частную лавочку “Наполеон и К^о”. Увы, фашизм долговечнее бонапартизма. (Вы успеваете следить за скачками моей мысли?)

В век техники и автоматики наследником и Бонапарта, и Фуше является Великий Кормчий. И как прежде найденная методом проб и ошибок система конкурирующих партий представляла собой единственную альтернативу монополии на власть, так теперь и в политике, и в экономике необратимой привязанности к одному единственному курсу и вождю наука об управлении противопоставила систему высокой степени сложности с обратной связью.

Но разве такая социальная система может функционировать, если общество состоит из личностей, неспособных к самостоятельной инициативе? Разве способна на самостоятельную инициативу личность, лишенная внутренней ориентировки, совести, проще говоря?

Кибернетике не важно, из чего ты: шматина глины не знатней орангутанга. Будь ты деревянный человек или железный робот, в социальной системе с обратной связью ты станешь необходимым ингредиентом, только если ты свободен.

Не случайно фушизм лелеял голубую мечту: объявить совесть “химерой”, а кибернетику “лженаукой”.

Мое кредо — не свобода от совести, а свобода совести. Отсюда и моя антипатия к Смердякову (симпатия к Базарову).

Что такое Смердяков? Лакей. К духовным ценностям он подходит с аршином в руках: “Если бога **бесконечного** нет, то нет никакой добродетели”. Ты — мне, я — тебе, больше чаевых, лучше обслуживание; нет наказания, стало быть, нет и преступления. Он согласен не убивать, не грабить, если ему гарантируют вечную жизнь. В противном случае — “все дозволено и шабаш!” В слове “дозволено” — все смердяковское лакейство. Ему нужна не свобода, а санкция, не возможность самостоятельно принимать решения, а разрешение поступить бессовестно.

Базаров — русский Фауст. Известное изречение “Am Anfang war die Tat” он переводит по-своему: “Природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник”. Отношение Базарова к науке, его столкновение с любовью и его смерть доказывают, что базаровский нигилизм и утилитаризм были лишь оболочкой, скрывающей крепнущее зерно гуманизма, совестливости (профессио-

Расти
из ПРОСТАКОВЫХ
Мыслителей
толковых.

Дабы услышал Митрофан:
"Алонзонфан! Алонзонфан!"
Дабы в наикрепчайшем лбу
Вскипело бы: "Дебу! Дебу!"

Что за блажь — рифмовать Митрофана и Марсельезу, связывать в один пучок теорию множеств и мечту об интернациональном братстве? Попытаюсь оправдаться.

Во времена Фонвизина говорили: недоросль, в наш век говорят: гражданин развивающейся страны. Будущее "отчизны милой" зависит от того, пойдут ли ее сыны "вперед" — путем развитых стран. Отсюда мотив Марсельезы.

Националисты и консерваторы из недорослей хотели бы кое-что позаимствовать у развитых стран: науку, технику, бытовые удобства, сохраняя неизменными способ мышления Скотининых и образ жизни Простаковых. Ну, а я убежден, что опыт старушки Европы и ее американского продолжения имеет общечеловеческую ценность. С Базаровых и мы приобретаем к фаустовской культуре, которая потому и вырвалась вперед в науке, технике и быту, что представляла собой оптимальный вариант развития личности, этического, эстетического, духовного вообще.

С легкой руки Шпенглера слово "европоцентризм" стало ругательством. Провозглашается "равноправие" культур, очерченных историческими границами, вместо прав человека, где бы он ни жил. Провозглашается "равноценность" гуманизма и каннибальства, просвещения и колдовства, демократии и деспотизма. Ну, а я убежден, что не "негритюд", не "маледжуи", не "чучхе", не славянофильство и почвенничество, а европеизация стран Азии и Африки позволят человеку — независимо от его расы — встать в полный рост. Отсюда мотив Интернационала.

Может быть, в моей голове ералаш, но я не могу отделить знания от сознания, весть, передаваемую от сердца к сердцу, от совети. Для меня мир — от незрячего моллюска до лопуха, который вырастет на моей могиле, — един. Это космос, правда, не в современном смысле этого слова (околоземное пространство, поглощающее львиную долю бюджета), а в том тройственном смысле,

который закладывали в него древние греки: вселенная, миро-
ПОРЯДОК, красота...

Последний пучок возвращает автора из космических далей, глобальных проблем, исторических параллелей на реальную почву, во Рвы. Но и во Рвах, как и всюду, живешь не только под богом, но и подтекстом — XX век, как-никак.

Уж этот айсберг пресловутый:
Текст деклараций, а под ним...
Цикутой бредишь наяву ты,
За разномыслие гоним...
Пейзаны вписаны в пейзаж,
Мещан вмещает не изобка, —
Многоэтажная коробка.
Но где же наш с тобой этаж?

Вопрос праздный... Во вкусе деревянного человечка, мечтавшего найти Золотой Ключик.

Лето 1978
Дно-Рвы

М. Молоствов (р. 1933) — в 1955 окончил философский факультет Ленинградского университета; преподавал в Сибири. В 1958 г. арестован и приговорен к 7 годам лагерей по ст. 58–10 ("антисоветская агитация и пропаганда"). После освобождения преподает в сельской школе с. Рвы Псковской области. Статья поступила по каналам Самиздата.

НОВАЯ КНИГА

ЮРЕК БЕККЕР. "ЯКОВ-ЛЖЕЦ"

Трагикомическое повествование о жизни на краю бездны, о мужестве и стойкости людей, помогавших друг другу даже перед лицом смерти, о еврее Якове, который творил ложь во спасение, и его друзьях из маленького польского гетто, которые верили этой лжи.

Перевод Е. Фрадкиной.

226 стр.

Цена: в Израиле — 37 шекелей, за рубежом — 9 долларов.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ E. FRADKIN, ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: P.O.B. 7962, JERUSALEM, ISRAEL

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Уже год, как Ханна Ровина умерла... В это трудно поверить, — мы так успели свыкнуться с легендой о ее бессмертии! В государстве, которому едва перевалило за тридцать, такие легенды слагаются легко: тот, кто старше его всего лишь вдвое, уже кажется вечным. Но время идет, и даже вечные начинают умирать, и даже в самом юном государстве кладбища становятся более населенными, чем города. Умер Бен-Гурион, умерла Голда, а Ханна Ровина все продолжала выходить на сцену, подавая повод к легкомысленным шуткам: воскрешенный после долгих тысячелетий египетский фараон, для которого что СССР, что США — всего лишь звук пустой, вдруг озаряется улыбкой при упоминании Израиля и спрашивает: "А как там Ровина? Все еще играет?" И все смеются — легко и бездумно, уверенные почему-то, что Ровина будет играть вечно.

А она умерла. И тогда вдруг оказалось, что умерла не просто старая актриса, которая сначала играла юных девушек, потом молодых женщин, потом женщин зрелых; играла сначала молодых матерей, затем матерей престарелых, а затем уже бабушек, а потом стало вообще неясно, кого ей играть, ибо на такую долгую актерскую жизнь и ролей-то написано не

Нина Воронель

**"КОГДА УМИРАЕТ
ЭПОХА..."**

(памяти Ханны Ровиной)

было. Нет, это не старая женщина умерла, — это перевернули страницу в культурной жизни народа, это умерла, завершилась, закончилась, скончалась эпоха.

Как объяснить это человеку, никогда не выдавшему Ровину на сцене? Как рассказать о той удивительной магической силе, которая превращала в праздник искусства любой спектакль с ее участием и которая сделала ее символом целой эпохи?

Что остается от актера после его смерти? Воспоминания стареющих современников да пачка поблекших от времени фотографий? Воистину, актерская слава — призрачная слава. Была и нет ее, растворилась во времени, просыпалась сквозь пальцы, как песок.

Как рассказать об эпохе актрисы Ханны Ровиной, скончавшейся 2 февраля 1980 года в городе Тель-Авиве, млеющем от жары на плоском берегу Средиземного моря где-то на стыке Азии и Африки? Для этого надо вернуться в 1918 год и в совсем другой город по имени Москва, где нет ни синего моря, ни синего неба, где снег лежит с октября по апрель, а солнце показывается народу в виде великой милости по особо праздничным дням, так что неясно, отчего на снегу этот розовый отсвет — от обилия алых флагов, от избыточно пролитой крови или от зарева революционных пожаров. Там, в холодной, промерзшей революционной Москве, на улице Нижняя Кисловка возле Арбатской площади, в октябре 1918 года состоялся первый спектакль первого театра на языке иврит. Произнес короткую речь художественный руководитель театра Евгений Вахтангов и взлетел вверх занавес: на сцене стояла высокая красивая женщина — это была Ханна Ровина. Так началась эпоха чудес, эпоха свершения невозможного.

Как могла прийти в голову Нахуму Цемаху безумная идея создать театр на мертвом языке, для которого не было не только пьес и актеров, но не было и публики? На иврите читали в ту пору лишь религиозные тексты, на иврите не говорил никто, если не считать небольшой кучки безумцев-идеалистов, готовых сложить головы ради своей бредовой мечты. И жили эти идеалисты в далекой выжженной солнцем Палестине, а не в заснеженной, выжженной огнем революции Москве. Но трезвые доводы здравого смысла немного значили для Цемаха, ему был свойствен язык и стиль пророков. Собрав свою продрогшую полуголодную трупку вокруг железной печурки в холодном фойе он говорил: "Я хочу приблизить будущее. Я вижу "Габиму" в Палестине. У нас будут

свои художники, свои декораторы, свои режиссеры. Пилигримы со всего мира будут стекаться в Палестину, чтобы увидеть наши спектакли". Он замолчал на миг, пальцы его трогали еле-еле теплую печурку: "Почему здесь так холодно? Где достать дров?" И тут же забывал о холоде и о дровах и возвращался к своим мечтам: "Мы перебросим мост через пропасть".

И случилось непредвиденное: великий Станиславский принял личное участие в судьбе этого фантастического театра. Он предложил труппе "Габимы" поставить переведенную специально для этого на иврит пьесу С. Ан-ского "Диббук". Спектакль этот принес "Габиме" мировую славу, он был сыгран более тысячи раз во всех странах Европы, он достиг берегов Нового Света, а имя театра навсегда неразрывно связалось с постановкой пьесы, центральной фигурой которой была Ханна Ровина. Героиню "Диббука" юную Лею преследует дух (диббук) умершего от несчастной любви к ней Ханаана, дух этот не дает Лее выйти замуж за другого. Несмотря на все попытки изгнать дух Ханаана, он побеждает и забирает несчастную девушку к себе в царство духов. С первых же репетиций пьесы Вахтангов — ее режиссер — увидел, насколько глубоко понимает актриса истинную сущность своей трагической героини, преследуемой потусторонними силами. Вот что пишет об этом один из участников: "Вахтангов, который обычно сидел на репетициях, полузакрыв глаза, вдруг широко раскрыл их: он выглядел совершенно счастливым. Ровина подарила плоть и кровь духовной легенде Ан-ского, она вдохнула жизнь в игру других персонажей, благодаря ей страдания Ханаана и все хитросплетение событий вокруг обрели особый значительный смысл. Режиссер, безжалостно сократив текст пьесы, ввел в него новые элементы, предназначенные для того, чтобы перенести зрителей в таинственный и пугающий мир духов. Весь второй акт Вахтангов заполнил гротескными фигурами оборванных нищих, пляшущих на свадебном пиру. Появление Леи-Ровиной в белом атласном платье, немедленно захваченном грязными руками нищих, словно готовило зрителя к трагическим событиям следующих картин. И многим виделась она в этот миг как символ глубоко спрятанной, подавленной красоты женщины из еврейского гетто, сбрасывающей со своих белых одежд уродливые руки нищеты и несправия". Исраэль Гур, автор книги об актерах ивритского театра, восклицает, вспоминая это зрелище: "Мы называем Ровину блистательной трагической актрисой, потому что красота ее полна трагизма, а

трагизм ее исполнения полон красоты. Ее удивительные достоинства были под стать тому славному периоду в истории нашего народа, когда слились воедино романтика и реализм, стремления и их практическое осуществление, глубоко спрятанный пафос и беспристрастная самооценка. Все эти противоречивые начала гармонично воплощались в ее сценической жизни. И если она плакала на сцене, слезы ее выражали лишь часть ее переживаний, но все узнавали за ее сдержанностью и за ее молчанием тень иного, неслышного, но не менее трагического рыдания”.

Прошло для Ровиной время девических ролей, и она вступила на новый путь – попрощавшись с Леей “Диббука”, Корделией “Короля Лира” и с Юдит “Уриэля Акосты”, она надела строгий наряд матери. Галерея материнских образов, созданных Ровиной, открывалась ролью Матери Мессии в пьесе Пинского “Вечный жид”. В поисках описания ее игры в этой роли я снова обращаюсь к книге Исраэля Гура:

“Когда она в изодранных погребальных одеждах шла впереди похоронной процессии, оплакивая гибель своего народа, она олицетворяла для нас легендарную еврейскую мать в трауре. Затаив дыхание мы слушали, как в погребальном плаче высоко взлетает над сценой ее звучный, глубокий голос. Мы не плакали вместе с ней. Но непролитые слезы трепетали в наших душах... Когда занавес упал – ах, слишком коротка была эта пьеса! – весь зал застыл, не шевелясь, не дыша”.

Созвездие ролей Ханны Ровиной сверкает многообразием материнских лиц, представленных актрисой за долгие годы ее сценической жизни. Столь разные, столь непохожие одна на другую, матери эти зачастую как бы мечены одной и той же печатью: не знаю, знак ли это эпохи или просто судьбы человеческой, но почти все они беспощадны к своим детям во имя любви, более высокой, чем любовь материнская. Эта беспощадность к самым любимым перед лицом беспощадной жизни и составляла главную силу Ровиной, великой мастерицы передавать невыносимое внутреннее напряжение через особую, электризованную нервным трепетом внешнюю сдержанность. Чем несносней, чем острее была ее мука, тем ровней звучал ее голос, тем спокойней были движения, и только высоковольтный нервный луч, направленный из глубины ее души в сердце каждого зрителя, мощным силовым полем охватывал замерший зал, учащая каждый пульс, перехватывая спазмой каждое горло. Недаром поэт Галкин назвал актрису “самой душой боли, белой све-

чай Дня Искупления". Один только перечень этих материнских ролей может дать представление о характере ее творчества: мать Раскольников в "Преступлении и наказании", Иокаста в "Царе Эдипе", Кручинина в "Без вины виноватые", миссис Тиверрет в "Священном пламени" Соммерсета Моэма (где мать дает яд своему калеке-сыну, чтобы избавить его от более жестоких мук, предлагаемых ему жизнью), фрау Альвинг в "Привидениях" Ибсена. И в каждой из этих ролей достигала она того удивительного сплава эмоций, который давал зрителям почувствовать столь характерное для ее исполнения гармоничное равновесие между взрывчатым накалом страстей и благородной сдержанностью их выражения.

Наивысшей точки в своей актерской биографии Ровина достигла, создав образы Матери в пьесе Чапека "Мать" и в пьесе Брехта "Матушка Кураж". В пьесе Чапека она настолько сливалась со своей героиней, переживающей гибель всех своих сыновей, что искренность ее исполнения до сих пор сохраняется в памяти очевидцев: "Когда ее последний — пятый—сын решает добровольно пойти на верную гибель, она пытается задержать его. Но через несколько минут, услышав по радио известие о гибели других сынов Родины, она преобразается из рыдающей, жалкой, убитой горем женщины в спокойную, не знающую жалости к себе и другим, суровую вершительницу судеб".

Жизнь Ровиной вне театра была всегда неразрывно связана с ее жизнью в театре. Ей пришлось быть актрисой в постоянно ведущей войну стране, и потому перед солдатами этой страны она выступала в той же роли, что и на сцене: в роли матери, проклинающей войну, но вынужденной отправлять на смерть своих сыновей. Она выступала перед солдатами Пальмаха, перед солдатами Еврейской Бригады в Италии во время Второй мировой войны, она выступала перед заключенными лидерами еврейского подполья в Палестине, в английских концлагерях в Латруне и Рафияхе — и всюду, проклиная жестокость войны, она призывала не бояться, не отступать перед врагом. В этом видела она свою главную миссию — и никакие опасности и неудобства не могли остановить ее. Недаром на самом почетном месте среди "галереи сувениров", украшавших стены ее дома, красовался букет из колючей проволоки, брошенный ей на сцену заключенными лагеря Рафиях.

Ханна Ровина умерла, оставив после себя громкое имя, театр,

чудом возникший на пустом месте, без языка, без традиции, — и страну, государство, возникшее против всех законов логики.

Ханна Ровина умерла. И похоже, вместе с ней завершилась эпоха чудес.

Театр, начинавшийся где-то в чужой холодной стране, теперь прочно поселился в центре Тель-Авива, он больше не кочует по свету прославленным полуголодным беспризорником. В нем есть все: большой и малый зал, роскошное фойе, актерский вход, профсоюз рабочих сцены и собственный оркестр, располагающийся в отличной оркестровой яме. И стал он обычным театром, у которого есть бюджет, репертуар и неудач больше, чем успехов.

И государство, возникшее чудом, уже вошло в обычную колею, — в нем тоже есть все, чему положено быть: коррупция и проституция, политика и полиция, левые и правые, забастовки и профсоюзное движение, неизвестно чьи интересы защищающее. Мы стали взрослыми и разумными конформистами, несмотря на свое чудесное возникновение из небытия. И кладбища у нас стали более населенными, чем города.

А.А.Милн

ДЕЛА КОРОЛЕВСКИЕ

СТИХИ

автора знаменитого Винни Пуха
в переводе Н. Воронель

рисунки М. Байера

Бегают за курицей
Уже четыре дня,
Бегают по улице,
Курицу клыня,
Бегают по улице,
Стучатся в ворота,
НО МАЛЕНЬКАЯ КУРИЦА
СТРАШНО ЗАНЯТА,
МАЛЕНЬКАЯ КУРИЦА
СТРАШНО ЗАНЯТА,
ДА, МАЛЕНЬКАЯ КУРИЦА
СТРАШНО ЗАНЯТА
Она несет на завтрак
яйца для МЕНЯ!



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"

Цена в Израиле — 16 шекелей, за рубежом — 6 долларов.

Заказы и чеки присылать по адресу книготоварищества
"Москва-Иерусалим": "Moscow-Jerusalem", P.O.B. 7045,
Ramat-Gan, Israel

ЛЮДИ И КНИГИ

ШАГ В СТОРОНУ СЧИТАЕТСЯ

(Ф. Кандель. "Зона отдыха",
Иерусалим, 1980)

*"Ты, начальник,
ключик-чайничек,
отпусти до дому..."*
(Из песен)

Книга Феликса Канделя заканчивается словами: "Зима 76-77 года".

"Холодно, холодно, тепло, еще теплей, горячо!" — детская забава или жизнь литератора? От первых строк-строчек, от слова к слову, через судьбы своих героев, через неясный поиск — и вот он уже не самовластен, а подвластен — логике творчества. "Ну, чего им, писателям, — спрашивали меня ученики, — если б те, кого не печатают, — понятно, а то ведь известные, устроенные...?" А они, писатели, и сами иногда не рады — разве Галич не отбивался от своих песен? Только — "горячо", и кто испугается, кого не забрало, кого не втянуло, кто увернется — от того останется обгоревшая кожица, змеиная шкурка в пыльном углу.

...Впрочем, за окном — осень, за окном — третий в этом году дождь. Я — из осенних мест, я — из дождливой республики... Сосны и брусника во мху, грибы на поляне, плеск воды у черных столбов пристани... Я любил свою Латвию, а, говорят, кого любят — не бросают, но шел некий неестественный отбор,

процесс выталкивания, и ни один из нас не свершил свой выбор добровольно, и, прежде, чем приходило решение жить тут, понималась невозможность жить там; невозможность, ибо так или иначе ты вышел из колонны, ты сделал шаг в сторону. Шаг в сторону считается побегом. Сделал шаг в сторону — наклонился за ягодой, прочитал Солженицына, не кричал ура Пражскому погрому, и — Верный Руслан летит пулей, смыкая челюсти на твоей гортани — вы хотите песен? их нет у меня... Разве что про начальнича...

Кто уследит, когда и как начинается этот процесс отслаивания, отпиливания, отдиранья, с чего приступают к обрыванию наших телефонных разговоров, к выживанию с работы, с очуждения? Когда, как и почему? Кого режут по пятому пункту, у кого рукопись выдирают из стола, а кто и просто под руку ежовую попал... Но в один прекрасный день вдруг понимаешь, что ты уже считаешься в побеге, что ты уже уезжаешь, и, как говорят в кино, обратной дороги нет.

Автору книги повезло: уже сделав шаг в сторону, уже будучи объявлен в побеге, он некоторое время жил в отказе, то есть ни здесь, ни там, и сумел еще раз оглядеться, еще раз посмотреть на жизнь, которую он оставляет, на зону отдыха. Другая жизнь — дурная жизнь, и обидная — до слез.

Дурная жизнь описана весело и даже радостно, веселые дурные поговорки наполняют ее — от скоморошьего придуривания до глубокой филосо-

фии дурного общества: "Раньше сядешь — раньше выйдешь". "А что? Ничаво". ...Водку выжирали, водку скушали, оглянись — где еще стоит, что еще пьется, что еще пропивается, главное успеть, чтобы не просохнуть, чтоб не знать, не видеть, а чтоб вас...

Дурная жизнь описана с болью, с сипотой в горле, с признанием победы. Кандель не празднует предстоящее освобождение из Зоны, не торжествует.

Маленькие события из жизни человека, получившего свои пятнадцать за то, что не отстал от друзей, когда они с желтыми звездами своей гордости шли по улицам Третьего Рима, документальны и точны в описаниях, близки к физиологическим очеркам. Напечатанные отдельно в "Континенте", они и производили впечатление показаний. Публиковались, хоть и неполностью, легенды о Полуторке и его верных собутыльниках. И только в книге, соединенные вместе, легенда и жизнь, соприкоснувшись, дали "искру".

Популярна, среди прочих, и другая поговорка из Зоны: "Вход — рубль, выход — два". (И в самом деле: получение гражданства — 50 копеек, отказ — 500 рублей.) Ее тайный философский смысл состоит в том, что раз попался — плати; родился в Зоне — попался. И мы платим, платим памятью, платим тем, что не можем писать, или, как заколдованные, пишем только о прошлой своей жизни... О чем будет следующая книга Канделя? О Зоне?... Пишем о прошлом, вопреки указаниям и подсказкам. Как в

Польше и Литве — все о войне, в России — о периоде коллективизации, в Армении — о резне...

А тут мне и карта в руки (охрана стреляет): Цезарь, который Солодарь, в своей новой, сногшибательной фантазии сообщает о Канделе некоторые занимательные подробности. Оказывается, Кандель и не литератор вовсе. И даже Волк из "Ну, погоди" (прототип Полуторки), российский супермен, к Канделю не имеет отношения. Что ж, подождем, приедет Цезарь Соломонович в Израиль и покажет нам, как надо писать, а пока вместо его "Стряпух" будем читать плохих Владимовых, Канделей, Соколовых...

А теперь о самой книге... Впрочем, там все написано; а за окном дождь кончился и на Иудейские горы ниспадает солнечный свет, из камней пробивается трава, я из солнечной земли, из — страны трудной, безрассудной и светлой, я — все еще плачу, два рублика за выход из Зоны. Зоны отдыха...

ИМЕЮЩИЙ В РУКАХ ЦВЕТЫ

(Саша Соколов. "Между собакой и волком". Ардис, Энн-Арбор, 1980)

*"День прошел —
и слава Богу!"
(Поговорка)*

Художнику, что решит писать портрет писателя Саши Соколова, рекомендуем изобразить его с большим букетом в руках и на фоне зеленого луга, бескрайнего, как и голубое небо. Пусть будет писатель русоволос, светлоглаз и высок. Пусть будут

на нем пиджак и широкие брюки. Желательно, чтоб художник был примитивист, точнее говоря — наивный.

Возможно, Саша Соколов на самом деле низенький и толстый, читает вонючие сигареллы из Индии, носит пестрый галстук и читает интеллектуалов прошлого века в подлинниках. Мы не видим его таким.

Новая книга и "Школа для дураков", хотя и написанные в одной и той же манере, совершенно разные, непохожие одна на другую, как два языка из одной языковой семьи. Читателю, не прошедшему ее до конца, не осилившему ее словес, бесконечных сбоев, перебоев и инверсий, сдавшемуся на сорок пятой странице, повезло лишь в том, что он избежал трудных раздумий о людях, чья жизнь проста и бессмысленна, кто проходит по жизни, никого не задевая, и уходит из нее, никем не замеченный.

Явление это характерно для России более, чем для любой другой страны. Чем это преимущество объяснить? Наверное или возможно — ее бескрайним простором, ее безграничным пространством, когда человек не в состоянии ощутить, объять свою землю. Только русский фольклор, только русская литература почти не знает счастливого пешехода, идущего по дорогам с задорной песней и без гроша в кармане. Россия не знает плутовского романа как литературного жанра, не знает беззаботных песен странствующих студентов. Печаль, тоска, надрыв сопровождают людей, сдвинутых на российские дороги.

Странные люди, странники, живущие полусобачьей-полувошьей жизнью, — беспутные женщины, пьяницы, браконьеры, бродячие точильщики и просто люди, потерявшие себя, — перепутались, перемешались и заговорили в голос у Саши Соколова. Поначалу мы почти и не различаем, кто из героев ведет повесть, а едва начинаем различать, как они опять сливаются в монолог. Потерянная Россия, русские отверженные — герои этой странной и трагической повести, в которой для нас ничего не происходит, ибо привыкли мы их не замечать. А там — любовь, рождение, смерть и бессилие мысли понять. И трагедия эта не сегодня родилась, и не вчера, и нет ей конца, как не было начала, иначе в России что-то изменится коренным образом. Так, оглядывая мир, восклицает герой книги: "Ау, не обрывается здесь у нас поколений-то этих цепь, гремит, побрякивает, и не скроется с глаз наших чайная, стоящая на самом юру".

Так почему же не сплясать, почему не топнуть? Шапку об землю, зубы нараспашку, князя грязь! Где наша не пропадала? Что нам сделается?

Художник Соламаткин, русский Босх, изобразил вас на своих картинках.

Писатель Соколов описал.

Так топай-топай, нога! Топай-топай чаще. И не приведи Господь вам опомниться, остановиться, оглянуться. Ибо от жалости к себе пропадете совсем.

(А мы потихоньку обрадуемся — что нас миновало.)

И. Малер

АЛЬМАНАХ "ЧАСТЬ РЕЧИ" — МОРФОЛОГИЯ И СИНТАКСИС

*("Часть речи", Энн-Арбор,
"Ардис", 1980)*

Искусство составления альманахов в России насчитывает приблизительно двести лет. Первым русским альманашником считается Николай Михайлович Карамзин, выпустивший альманах "Аглая" — еще при императоре Павле, в 1790-х годах. К альманахам, напомним, относятся и "Полярная Звезда" Рылеева и Бестужева, и кюхельбекеровская "Мнемозина", и некрасовская "Физиология Петербурга". Несомненный альманах — "Вехи". Историческим альманахом должны быть названы книги "Памяти", философско-публицистическим альманахом — "Изпод глыб".

Эта краткая справка дана не для хвастовства "малым джентльменским набором эрудита", но — от необходимости выделить жанр альманаха, отделить его от бесчисленных сборников, точнее — от самого понятия "сборник".

Альманах — не сборник. То есть не просто некоторое количество стихов, прозы, воспоминаний и публицистики с критикой, объединенное обложкой и составом издателей и редакторов. Мне представляется, что жанр альманаха удобнее всего определить, исходя из самого слова "альманах" — по-арабски: календарь. Тогда-то и появляется необходимый временной признак — однако не бытийно-временной, а литературно-худож-

ественный. И еще одно. В буквальном переводе "альманах" (календарь) означает что-то вроде "привала в пустыне" — отдыха каравана в тени оазиса, у колодца. Отдыха перед дальнейшей дорогой. Таким образом, "альманах" — это подведение предварительных итогов, пересмотр наличности, так сказать, литературный бивуак, когда представляется возможность приостановиться и осмотреться. Отсюда и непериодичность выхода альманахов: не каждый месяц, не каждые полгода, а когда есть, где остановиться, и есть, кому осмотреться...

Альманах "Часть речи", выпущенный в Нью-Йорке российским издательством "Серебряный Век", свой жанр соблюл в совершенстве: издан не сборник, не антология, не очередной журнал, которому отсутствие средств не позволяет появляться в свет периодически, а скрепленный литературным временем альманах. Под списком редакционной коллегии читаем: "Своей целью альманах "Часть речи" ставит воссоздание литературно-художественного процесса последнего столетия в России как единого целого".

Можно сколько угодно сомневаться в самой возможности — да и правомерности! — такого воссоздания: потому что не был литературно-художественный процесс в России последнего столетия единым целым ни с какой точки зрения, ни в какой системе художественных координат. Но сам альманах "Часть речи" выглядит цельно и едино — не конгломератом, а

органической структурой; не сборником, но альманахом.

Начинается альманах с того, что Иосифу Бродскому — сорок лет. Я не случайно так говорю: с этого начинается альманах, с этого мы его и читаем...

В самом начале 1964 года в так называемом Интернациональном клубе одного из крупнейших советских политехнических институтов состоялся последний в городе вечер поэзии времен "оттепели". Новоназначенный руководитель клуба — из молодых полулиберальных получекистов — все рассчитал: позвал самостоятельную поп-группу, которой до той поры разрешалось играть только в специально отведенном подвале, собрал несколько поэтов "левого направления". Разместил в зале, оборудованном под "молодежное кафе", несколько десятков поляков, венгров, чехов — студентов того института, — зная, что насильно выученный русский язык никак не способствует любви к русской литературе...

И вышел на эстраду-приступочек русский поэт Владимир Мотрич, и по сей день не впечатавший ни единого слова. Вышел — и говорит: "Я почитаю вам стихи поэта, арестованного за то, что он поэт. Имя поэта — Иосиф Бродский..."

Полулиберальный получекист стал цветом в незаполненный протокол предварительного следствия. Его "интернациональная задумка" грозила самыми жуткими последствиями — даже по самым что ни на есть либерально-чекистским меркам. Лишь профессиональная выучка

спасла его от гибели. Он одним прыжком оказался на эстраде, обнял Владимира Мотрича за плечи — и оптимистическим, хотя и несколько истерическим голоском заблажил: "Ну что ж, дорогие друзья, благодарим поэтов за их творчество, — а сейчас перед нами выступит..." Счастливая "поп-группа" заиграла во все свои самодельные усилители...

Двадцатичетырехлетний Иосиф Бродский был тогда, кажется, под Норильском.

Но это все — воспоминания. А сегодня...

Как давно я топчу, видно по каблукку. Паутинку тоже пальцем не снять с чела. То и приятно в громком кукареку, что звучит, как вчера.

Но и черной мысли толком не закрепить, как на лоб упавшую косо прядь. И уже ничего не снится, — чтоб меньше быть, реже сбываться, не засорять времени. Так рядовой Кашей, сплеховавший насчет бессмертья, с пустой мощной, загодя избавившись от вещей, заполняет подвалы будущей тишиной.

Далее помещены несколько статей о Бродском — российских и иностранных. Но того факта, что поэту — сорок, что вечеров поэзии в шестидесятых больше не предвидится, статьи не отмечают...

И все равно — нам не двадцатилетним

Нам нынешним а не вчерашним
И все равно нам невзирая на!
Спокойно повествующим о
страшном

Это, впрочем, не из Бродского, а из Генриха Сапгира, чей цикл “Элегии” следует за юбилейными статьями альманаха.

Повествуют о страшном все пятеро живых участников поэтического раздела “Части речи”, и очень хорошо бы всех их как-то объединить и упомянуть, — но они не объединяются. Алексей Посев, только год назад опубликовавший в парижском “Эхо” первую большую сплотку стихов; Владимир Уфлянд — в 1979 году американское издательство “Ардис” выпустило его сборник, первый за 22 года поэтического дела; едва затронутые мною Бродский и Сапгир; участник альманаха “Метрополь” Евгений Рейн. Разве что попытаться свести их по принципу “переклички городов”? Нью-Йорк—Петербург—Москва? Но так помечаются флаконы с дорогой косметикой... Словом, как говорит Евгений Рейн —

Великих городов
Тем и велик разброд,
Что терний от плодов
Никто не отберет.

И еще: из этих пяти трое — Сапгир, Рейн и Уфлянд — находятся в России. Но в Нью-Йорке Иосиф Бродский цитирует Томаса Манна, некогда тоже перебравшегося в Америку: “Немецкая изящная словесность там, где я нахожусь...”

Если я правильно понимаю замысел составителей, в “нестихотворческой” части альманаха

главное — не художественная проза, но критика и мемуары.

Литературно-критический раздел “Части речи” занят эссе Петра Вайля и Александра Гениса “Литературные мечтания” — не правда ли, знакомо? Подзаголовков же таких: “Очерк русской прозы с картинками”. Волею судеб Генис и Вайль оказались практически единственными литературными критиками новейшей русской литературы — оттого и в свое эссе им пришлось вогнать “всю вселенную”. Тут тебе и иронические рассуждения — чем отличается поэзия от прозы, тут тебе и лирика, и филология, и история литературы, и этюды о писателях.

Пишут Вайль и Генис умело, весело — и популярно. Иногда, правда, они чересчур популярны: “...В тени первых несмелых опытов проглядывает то, что пришло сменить великую литературу идей на литературу игры. ...Теперь литература наконец сможет вздохнуть полной грудью... и заявить: “Нет, господа хорошие, Фет — хороший поэт, а какой он там крепостник — не мое дело...” После такого наглого заявления от литературы отвалится добрая половина ее поклонников, а главное — демократическая... критика...” Я не стану напоминать подобные заявления в прошлом, скажу одно: при таком угле зрения на литературу от нее отвалится не только добрая половина поклонников и критиков, с чем еще можно смириться, но и добрая половина литературы, в том числе — вся новейшая русская проза.

В мемуарном отделе: выдержка из дневников Ольги Ваксель — адресата едва ли не лучших любовных стихотворений Мандельштама — и фрагмент из новой книги воспоминаний старейшей русской поэтессы Нины Берберовой, автора лучших, пожалуй, литературных воспоминаний в русской мемуаристике XX века (“Курсив мой”). Судя по отрывку из второй книги — будет, по крайней мере, столь же интересно.

Напоследок я возвращаюсь к провозглашенной альманахом

“Часть речи” цели: воссозданию литературно-художественного процесса в России последнего столетия как единого целого. Вообще, работа по восстановлению будто бы прервавшейся связи времен сегодня необыкновенно важна в российской культуре. Скажем, “Память” занята этим в истории. А “Часть речи” как будто хотела бы принять на себя подобную же работу в словесности. Не потому ли — “Часть речи”, часть единой речи?

М. Юрьев

“РУССКАЯ МЫСЛЬ”

Еженедельная газета “Русская Мысль” публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза “Русская Мысль” открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, “Русская Мысль” откликается и на самые яркие и интересные события в “городе-светочке”.

“Русская Мысль” прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 15 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

Адрес редакции и конторы: 217, г. du Fbg St-Honore, 75008-Paris France.



Photo Joe